ВРЕМЕНА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1(17)2021

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выпуск 1 (17) 2021

Бостон
2021

ВРЕМЕНА

Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Главный редактор: Давид Гай

VREMENA

International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Editor-in-Chief: David Guy

Published by **M·Graphics | Boston, MA**

ISSN: 2575-9558

Copyright © 2021 by M·Graphics

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, email or call to the publisher (mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778) or editor-in-chief (guydavid094@gmail.com / 646-270-9615).

Printed in the U.S.A.

Редакционный совет:

Ирина Басова-Заборова	(Франция)
Владимир Батшев	(Германия)
Марк Вейцман	(Израиль)
Геннадий Кацов	(США)
Гари Лайт	(США)
Андрей Остальский	(Англия)
Ларс Поульсен-Хансен	(Дания)
Семен Резник	(США)
Эллайда Трубецкая	(США)
Марина Тюрина-Оберландер	(США)
Евсей Цейтлин	(США)

Члены Редсовета весьма признательны читателям за финансовую поддержку нашего журнала.
Вот имена благотворителей:

Ян Лупьян
Анна Ибатуллина
Роман Солодов
Марина Тюрина-Оберландер
Юрий Солодкин
Генриета Суворовская
Семен Резник

Всем огромное спасибо!

КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ

Дорогой читатель!

Продолжается подписка на журнал на 2021 год (4 номера).
Для получения всех номеров выпишите чек или money-order на сумму **60 долларов** (почтовые расходы включены) на имя компании-издателя: **M•Graphics.**
Вложите чек/money-order в конверт и отправьте по адресу:

Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt.11H, Rego Park, NY 11374

Телефон для справок: **646-270-9615.** Спасибо!

СОДЕРЖАНИЕ

ЧТО ЖДЕТ АМЕРИКУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ— ОБ ЭТОМ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПРОЗА

Алексей НИКИТИН
***БАТ-АМИ** (глава из нового романа)* **6**

Анна АГНИЧ
ТРИ РАССКАЗА **44**

Нина КОСМАН
НОВЕЛЛЫ **68**

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ
НАКОНЕЦ-ТО СЕГОДНЯ ПЯТНИЦА! **88**

Полина ЖЕРЕБЦОВА
ЗАЙНА И ДРУГАЯ ИСТОРИЯ **101**

Роман СОЛОДОВ
***КСЕНИЯ** (глава из романа)* **113**

Лариса СЕГИДА
ОДИН ДЕНЬ С МАСТРОЯННИ **131**

Александр МАТЛИН
ВОЙНА МЕСТОИМЕНИЙ **153**

ПОЭЗИЯ

Гари ЛАЙТ **36**
Ольга КУЧКИНА **60**

Лия ЧЕРНЯКОВА 80
Александр СПАРБЕР. 126
Вита ШТИВЕЛЬМАН 273

IN MEMORIAM

Игорь КУРАС
ПАМЯТИ АННЫ АГНИЧ 56

ПОЛЕМИКА

Владимир ФРУМКИН
ТРИ ПИСЬМА ИГОРЮ ЕФИМОВУ 160

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Дмитрий БОБЫШЕВ
ИЗ КНИГИ «ЗЫ, ИЛИ POST SCRIPTUM» 179

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Юрий ВЛОДОВ
МЯТЕЖНЫЙ ОСЛУШНИК 213

ПЕВЦЫ И ВОЖДИ

Владимир КОВНЕР
ЗОЛОТОЙ ВЕК МАГНИТИЗДАТА 225

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Жорж ВЕЛЛЕР
ОТ ДРАНСИ ДО АУШВИЦА 279

АЛЕКСЕЙ НИКИТИН

БАТ-АМИ

Глава из нового романа

ОТ АВТОРА:

Два года назад во «Временах» уже выходила глава из моего нового романа «Бат-Ами». Тогда я сомневался, правильно ли поступаю, публикуя фрагмент ещё неоконченной книги. Не просто неоконченной, на тот момент было написано чуть меньше половины романа. Теперь он завершён и готовится к публикации в киевском издательстве «Лаурус». Роман получился большим — больше миллиона знаков, — и это нелёгкое чтение. Долгий и подробный рассказ об оккупации Украины нацистами не может быть лёгким.

О годах Холокоста в Украине написано немало. Чтобы взяться за эту тему автору, который не является ни очевидцем, ни даже современником тех событий, нужны особые причины и особая уверенность. Фундамент моей уверенности был заложен во время работы с агентурным делом из архива Службы Безопасности Украины, рассекреченным в 2011 году. Часть документов из этого дела использована как материал для романа, часть включена именно в виде документов. Ни один из них никогда прежде не публиковался.

P. S. Возможно, у многих читателей возникнет вопрос относительно названия романа. Поясню. В переводе с иврита это означает «Дочь моего народа». В данном случае имеется в виду дочь главного героя повествования. Помимо буквального значения, в романе должно появиться более широкое толкование названия — во всяком случае, я на это надеюсь.

Киев, июль 2020

1

Фёдор Борковский видел разные концлагеря, и немецкие, и советские. В нескольких сидел сам, так сложилась жизнь. Борковский не хотел их сравнивать, потому что и те, и другие считал химически чистым злом. Если бы лагеря несли только смерть, он мысленно вынес бы их за черту жизни, все мы смертны, в конце концов, но они опирались на страх смерти, внезапной и неизменно мучительной. Этот страх уродовал людей; не имея сил противостоять тюремщикам на равных, заключённые обращали ненависть друг против друга, а следом и против всего мира, против всех, кто не знал, не мог представить пережитого ими. Лагеря прививали опыт зла, а любое зло обесценивает жизнь.

Его взяли в двадцать девятом по делу СВУ* и осудили на десять лет, как Ефремова. Этим сроком он даже гордился; никакой Спилки не существовало, во всяком случае, Борковский о ней ничего не знал, а приговор ему вынесли как организатору. Так ГПУ оценило его старые заслуги, в этом тоже сомнений не было — в 1918 он воевал с большевиками, воевал бы и дальше, но был тяжело ранен. От своих взглядов он не отказывался, не менял их никогда, но давно держал при себе. Уже в 20-х круг его единомышленников поредел и истончился, почти все старые друзья и командиры погибли. Одних убили в эмиграции, как Петлюру и Коновальца, других расстреляли красные. О судьбах многих он ничего не слышал и не знал.

Отбывать приговор Борковского отправили сперва на Соловки, «к Кальнишевскому», как писал он жене, а позже, незадолго до закрытия СЛОНа, этапировали в Карелию. Борковский выжил, вышел, как считал, не уронив себя, и вычеркнул бы красные лагеря из памяти, но они его не отпускали, временами возвращались во снах, и сделать с этим он ничего не мог.

---

* Процесс *Спілки визволення України* — дело, сфабрикованное ОГПУ УССР в 1929–30 гг. Было привлечено 474 представителя украинской интеллигенции, из них 15 человек приговорены к расстрелу, 245 к различным срокам заключения и ссылки. В создании организации и руководстве ею был обвинён учёный Сергей Ефремов. В 1989 г. дело прекращено из-за отсутствия состава преступления в действиях осуждённых. С. Ефремов и остальные полностью реабилитированы.

Снилась дорога на Секирную, крутой подъём по обмёрзшим льдом деревянным ступеням лестницы. Почему на них зимой всегда намерзал лёд? Может, из-за климата? Был бы он естественником, наверное, нашёл бы ответ. Но Борковский был военным, объяснения он не знал, и ему год за годом, сперва в лагерях, а потом и здесь, в Полтаве, снился стеклянный, отполированный ногами заключённых, лёд на ступенях лестницы, поднимавшейся на Секирную гору.

В конце сентября, когда Полтава жила под немцами вторую неделю, к нему домой явился ефрейтор из городской комендатуры. Это были мрачные дни — горели промышленные окраины Полтавы, и погасить пожары не могли. Немцы искали поджигателей, в городе говорили о ежедневных расстрелах.

Борковский не знал, кому он понадобился и для чего, не понимал, откуда в комендатуре вообще знают о его существовании. Здравый смысл подсказывал, что вызывать могли лишь для разговора, ни для чего другого, но давно и хорошо знакомое ощущение близкой опасности не оставляло Борковского всю дорогу.

Ефрейтор привёл его в комнату на втором этаже комендатуры, вся обстановка которой состояла из стола и двух стульев. Стены в пятнах осыпавшейся штукатурки напоминали огромные контурные карты. Его оставили одного посреди гулкой тишины этой комнаты с маленькими запылёнными окнами, и Борковский почувствовал себя школьником, ожидающим вызова на экзамен.

Минуту спустя в комнату вошёл офицер, бегло кивнул ему и, не подав руки, прошёл к столу.

— Вы говорите по-немецки? — спросил офицер, не представившись.

— Да, — не слишком уверенно ответил Борковский. Когда-то он неплохо знал язык и говорил свободно, но с тех прошло больше двадцати лет.

— Тем лучше, — быстро сказал офицер. Был он невысок, худощав, с поредевшими светлыми волосами, и хотя в заострённых чертах лица немца не было ничего угрожающего или отталкивающего, этот человек казался очень опасным. — Обойдёмся без переводчика. Можете сесть.

Борковский поблагодарил и придвинул свободный стул. Офицер какое-то время молча разглядывал его бесстрастным, но тяжёлым взглядом. Он не принёс никаких документов, бумаг, ничего. Крышка старого канцелярского стола, стоявшего перед ним, оставалась пустой.

— Вы работали бухгалтером на хлебозаводе? — наконец спросил немец, не отрывая взгляда от Борковского. — Как долго?

— Больше года. С тех пор, как вернулся из заключения.

— За что вас арестовали?

— За участие в антисоветской организации. Выдуманной ГПУ, — добавил Борковский, криво улыбнувшись.

— Значит, вы не участвовали в антисоветской организации, — уточнил офицер, не меняя бесстрастного тона.

— Нет.

— И вас осудили по ошибке?

— Это была не ошибка, а умысел следователей. Один из громких показательных процессов, о которых вы наверняка слышали.

— Не по ошибке, но и не случайно, — резюмировал немец. — На чьей стороне вы воевали после большевистского переворота?

Борковский не понимал, с кем он говорит, и что это за разговор. Допрос? Знакомство? Кто этот офицер с двумя звёздами на погонах?

— Я воевал за Украину.

— В армии Петлюры?

— Да.

— Вас долго не было в Полтаве. Вы знаете город?

— Разумеется. Пока меня здесь не было, Полтава изменилась мало.

— А вас в городе знают?

— Конечно, у меня есть знакомые, но, откровенно говоря, немного. В моём положении новых друзей не заводишь, а к старым относишься осторожно.

— Хорошо, — заключил офицер, хотя никакого «хорошо» ни в его взгляде, ни в выражении лица Борковский не увидел. — Сейчас в Киеве находится ваш старый знакомый, он выразил желание с вами встретиться. Мы подготовили пропуск. В октябре, когда вернётесь, вызовем вас ещё раз и поговорим о дальнейшем. Документ сейчас доставят.

Прощаясь, офицер наскоро кивнул ему, как в начале разговора, и вышел.

Несколько минут спустя тот же ефрейтор принёс короткую записку и двухнедельный пропуск, подписанный военным комендантом Полтавы. Пропуск позволял Фёдору Борковскому посетить Киев и с этой целью передвигаться в тылу группы армий «Юг». Положив документ в карман пиджака, Борковский развернул записку. Она начиналась словами «Мой старый друг!» и была написана по-немецки. «С 21 сен-

тября я в Киеве по делу, которое, надеюсь, станет нашим общим. Жду тебя не позже 5 октября. Андрей Мельник».

Где именно они встретятся, Мельник не написал, но ефрейтор протянул ещё один лист с отпечатанным на машинке киевским адресом.

Мельник не был ему другом в обычном смысле, но был когда-то командиром. Это старшинство и память о времени, когда они воевали вместе, позволяли ему называть Борковского другом, натяжки тут не было. Но почему Мельник передал записку через немцев, и кто он теперь? Вопросы оставались без ответов и вызывали новые. Борковский мало знал о событиях в эмиграции, совсем недавно это знание было опасным, да и проверить новости из-за границы, больше походившие на слухи, не мог никак. Немедленно, как только сумел, он отправился в Киев и провёл в городе почти неделю.

В последние дни сентября Киев дышал гарью. Прилегающие к центру кварталы стояли серыми от пепла и сажи. А весь центр, Крещатик, Прорезная, Институтская были взорваны, обращены в руины и горели уже несколько дней. Такого Киева Борковский не видел никогда и ничего похожего не мог вообразить. Отступая, красные уничтожали не только мосты через Днепр, казалось, они решили разрушить всё, и первые взрывы не станут последними. Немцы не сумели потушить огонь, пожарные системы уничтожили диверсанты. Они только оцепили пылающие улицы и выгнали из домов обитателей прилегающих кварталов. Жилья для погорельцев не было, люди спали в скверах; те, кто успел вынести матрацы — на матрацах, те, кто не успел — постелив одежду на землю. Киев вдруг вывернулся наизнанку подушками, самодельными кроватями, постельным и совсем не постельным тряпьём. Тысячи бездомных сидели на вещах в центре города, не знали, где им жить, что их ждёт зимой.

Виновными в поджогах немцы объявили евреев и попытались натравить на них растерянных и обозлённых людей. Но Киев хорошо знал своих евреев, и в то, что те сумели взорвать десятки домов, не поверил никто. Поднять город на погром не удалось, только с Подола пришёл глухой слух, что семерых евреев забили лопатами и закопали не то в сквере возле Александровской улицы, не то в другом садике, неподалёку. К тому же, многие вспомнили, как ещё в середине июля из тентованных армейских грузовиков выгружали громоздкие ящики и заносили их в подвалы домов. Значит, тогда уже готовились к отступлению, тогда уже знали, что оставят город нем-

цам, а газеты до последнего дня писали: «город-крепость никогда не сдастся врагу».

Довольно скоро немецкая разведка добыла советский план подрыва Киева. В нём значилось шестьдесят объектов и около сорока из них ещё оставались целыми. Сапёры, отправленные на проверку, подтвердили — здания заминированы, в подвалах обнаружены мины с дистанционным управлением. Взрывчатку заложили профессионально, никаких сомнений в том, что это работа военных подрывников, не оставалось. Впрочем, для немецкого военного командования новые факты ничего не меняли — кто-то должен был немедленно ответить за гибель немецких солдат и разрушенные улицы.

Военный комендант Киева генерал-майор Курт Эберхард отдал приказ публично повесить шестьдесят евреев и потребовал от руководства зондеркоманды 4а, передовой отряд которой уже прибыл в Киев, как можно скорее расстрелять всех евреев в городе. Это решение поддержал командующий 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау. Сколько именно людей предстоит уничтожить — на совещаниях офицеры предпочитали говорить не о расстреле, а об «эвакуации» — не знал никто, но было ясно, что речь идёт о десятках тысяч, поэтому акцию готовили несколько дней. Расстрельные группы сформировали из состава зондеркоманды 4а, 3-го батальона войск СС, 45-го и 303-го батальонов полицейского полка «Юг»; боеприпасы и технику выделила 6-я армия. Объявление «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться…» двухтысячным тиражом отпечатали в типографии армейской газеты «Ost-Front».

Утром 29 сентября семьи киевских евреев покорно вышли на улицы и, как требовал приказ, двинулись в сторону Сырца. В центре Киева немецких солдат было немного, оцепление появилось только на подходе к Лукьяновскому кладбищу. Большую часть пути люди шли, казалось, по своей воле, так, словно действительно поверили, что их сперва отправят в какой-то польский лагерь, а оттуда — в Палестину. Немцы пустили по городу и такой слух.

Шли медленно, часто и надолго останавливались, ждали, пока где-то впереди рассосётся зато и можно будет двинуться дальше. Эти заторы возникали, когда очередная группа входила на оцепленную территорию рядом с кладбищем. Там они оставляли вещи, сдавали документы и раздевались. Потом, уже под конвоем, их отводили в Бабий Яр к месту расстрела, приказывали лечь лицом на землю, или на

трупы расстрелянных прежде, тоже лицом вниз, или на слой извёстки, которым время от времени пересыпали мёртвые тела, и тоже лицом вниз.

Евреи шли по Киеву три дня, и всё это время ни город, ни его улицы не оставались безлюдными. Киевляне спешили по делам — как бы круто ни менялась жизнь, дела у людей находятся всегда. На тротуарах, у подворотен сбивались в кучки зеваки. Среди них были такие, кто верил, что евреев отправляют в Палестину, и завидовали им, но большинство, хоть и не могли знать наверняка, всё же понимали, что именно происходит в эти дни.

Таких разрушений город не знал, наверное, уже пять веков. Столько людей, как в первые дни немецкой оккупации, не гибло здесь никогда, но остававшиеся в Киеве думали не о масштабах случившегося и не об истории. Им самим нужно было как-то выжить в этом новом Киеве с его новым порядком, когда в отместку за два десятка зданий, взорванных диверсионными группами НКВД, могли немедленно и показательно расстрелять десятки тысяч человек, не имевших никакого отношения к уничтожению города. Киевляне думали не о евреях, судьба которых была решена, они думали о себе.

Глядя на людей, обречённых на скорую смерть и медленно тащившихся навстречу ей по киевской брусчатке, Борковский понимал, почему они подчиняются и готовы умереть, не сопротивляясь. Развернувшись и сделав первый шаг наперекор власти, любой из них возьмёт на себя ответственность за всё, что случится после, а что его ждёт, известно — в каждом из двух тысяч объявлений, расклеенных на стенах киевских домов, жирной типографской краской напечатано «расстрел». Многие шли с детьми, значит, рисковать они должны были не только собой. А выполнение приказа демонстрировало лояльность. Кто станет убивать покорных и безропотных, кому это нужно? К тому же, в последний момент может случиться чудо. Всякое может случиться в последний момент. Главное — никого не злить и поступать как велено. У Борковского был свой опыт, и он даже не подсказывал, но диктовал, что такая логика кажется правильной жертвам, но у палачей логика совсем другая. И ещё Борковский поймал себя на мысли, что не думает об идущих на Сырец как о евреях, лишь как о людях, среди которых сам он не оказался бы ни за что.

Борковский не любил евреев. Когда он воевал с красными, привык считать их врагами, явными или скрытыми, исключения казались

несущественными. Но с тех пор прошло двадцать лет, и изменилось многое. Он сидел с евреями в одних лагерях, в карельских бараках их было не меньше, чем когда-то у красных, а смерть не заглядывала в списки ЗК, умирали все: украинцы, евреи, русские. Это не заставило Борковского полюбить евреев, но сейчас, глядя, как они идут навстречу своей смерти, он не испытывал ни торжества, ни злорадства, только бесконечную печаль и бессилие от зрелища уходящей жизни.

И сам он, и все, с кем встречался Борковский в эти дни, помнили немцев по восемнадцатому году. Тогда они принесли мир. Тот мир не стал ни долгим, ни спокойным, его называли грабительским, так оно и было, но пока немецкие войска занимали Украину, гражданская война, заливавшая кровью земли бывшей Российской империи, обходила её стороной. В восемнадцатом немцы были силой, противостоять которой не мог никто. С тех пор они сделались ещё сильнее и опаснее. Достаточно было увидеть Киев в конце сентября сорок первого, чтобы понять: немцы изменились. В Киев пришли совсем другие немцы и другая война.

Говорил об этом Борковскому и Мельник, но мимоходом, отвлечённые рассуждения его всегда интересовали мало. Он был человеком практических решений и быстрых действий. Смысла сравнивать тех немцев и нынешних он не видел, зато точно знал, что нужно делать.

— Красные не вернутся, — Мельник произнёс эти слова без тени сомнения, но и без торжества, сказал как о факте, который просто следовало включить в картину мира и в дальнейшем из него исходить. — Ты видел их технику вдоль дорог? И так по всей Украине, от Львова до Полтавы! Ты понимаешь, что они разбиты? Полный разгром! Немцы скоро будут в Харькове, они уже идут на Москву. Сталин потерял миллионы человек, у него нет больше армии. История войн такого не знала. Зимой он сдаст Москву, потом Кавказ, на этом война закончится.

— А что станет с Украиной? — спросил Борковский. Хотя ответить на этот вопрос сейчас не мог никто, риторическим он не был. Возможно, ОУН подписала какие-то соглашения с немецким командованием, может, она получила хотя бы устные обещания. Мельник вёл себя так, словно необходимые гарантии уже получены, но из его ответа, прозвучавшего спокойно и уверенно, Борковский понял, что не существовало ничего.

— Красные понимают только силу. Англичане понимают только силу. Немцы тоже. У нас есть организация, опыт и поддержка людей.

Наша задача обратить эту поддержку в силу. Боевые отряды — вот, что нам нужно. Постоянно имея перед собой большевиков, которые не смирятся с поражением, немцы пойдут на многое, чтобы иметь в тылу мирную и дружественную Украину.

— Мирная, дружественная и вооружённая? Гетману они этого не позволили.

— А мы не дети, мы не спросим позволения. Мы всё сделаем сами и быстро. Лагеря полны заключённых. Из миллионов пленных, преданных Сталиным и его комиссарами, треть украинцы. Для красных они изменники, для немцев даже не люди. Те, кому мы спасём жизнь, кого вытащим, должны стать нашими, основой нашей будущей армии. Но Сталин предал не только пленных, беззащитны все, кто остался под немцами. Сейчас для украинцев один закон — приказ немецкого солдата, другого нет, и никто, кроме нас, не может их защитить. Старостами сёл и городов не должны становиться случайные люди, только наши, а с теми, кого уже успели назначить, мы будем работать.

Меня спросили, кого поставить городским головой в Полтаве, и я назвал тебя. Мы не знаем восток Украины, а он не знает нас. Нужно срочно, сейчас, создавать организации ОУН. Везде — в Полтаве, в районах, в сёлах. На востоке наша сеть должна быть такой же густой, как и на западе Украины. Твоя главная задача привлекать людей и искать бойцов, создавать боевые группы, на которые мы потом сможем опереться. Вернёшься в Полтаву, примешь назначение и отправляйся в лагеря. Один ты всё равно многих не вытащишь, поэтому поговори со старостами районов, пусть едут все. Позже будем действовать через Красный крест, я уже договариваюсь с ними.

Те, кого вы заберёте из лагерей, от вас уже никуда не денутся. Ты — городской голова, бургомистр, они придут к тебе регистрироваться, им понадобится документ, а без тебя они его не получат. Для них — замкнутый круг, для нас — идеальная ситуация. Я не спрашиваю тебя о согласии, — закончил свою речь Мельник. — У тебя нет права отказываться. Считай, что тебе приказала Украина.

В восемнадцатом им обоим не было тридцати. Тогда Мельник смотрел на мир пронзительно-синими глазами, и русая борода прикрывала совсем ещё юношеский румянец. Она должна была делать его старше, но справлялась с этим плохо. С годами синева в глазах Мельника поблекла, зато цепкость во взгляде сохранилась. Он похудел и стал похож на того, кем прожил эту жизнь — на вечного солдата. Такими Бор-

ковский представлял легатов, командиров римских легионов — профиль Мельника можно было чеканить на золотых имперских монетах.

Здание, адрес которого Борковский получил в полтавской комендатуре, оказалось школой. В ней расквартировали полицию, набранную ОУН, и здесь же, на втором этаже, в бывшей учительской по-походному устроился Мельник. При первой встрече он спросил Борковского, где тот остановился, и услышав, что у сестры, не то пошутил, не то предложил всерьёз: А то, можешь тут, с хлопцами. Не забыл ещё казарменную жизнь?

— Если считать лагеря, то опыта только добавилось, — попытался отшутиться Борковский, но Мельник уже думал о другом.

— Знаю, знаю. Всё про тебя знаю, потому и написал, и вызвал к себе. Ты на допросах ни на кого не указал, прошёл всё, выжил, значит, бережёт тебя Господь для большого дела. Ещё послужишь Украине. На пятое октября назначили Учредительное заседание Национальной рады.* Мне говорят, что идёт наша жизнь по кругу — опять возвращаемся в семнадцатый и то, что тогда не закончили, продолжаем теперь. А я думаю, если всю правду говорить, то начинаем сначала. Сейчас срочно вызываем верных людей из областей, ищем тех, кто остался, кого большевики не расстреляли и не сгубили в лагерях. Вот ты приехал, будешь представлять Полтавщину…

Они договорились выбрать вечер и посидеть за пляшкой, вспомнить друзей, но у Мельника не было ни свободного вечера, ни даже свободного часа. Несколько раз Борковский мельком видел, как вождь ОУН проходил с секретарём по школьным коридорам, но накануне Учредительного заседания он неожиданно уехал, и сказать, когда вернётся и вернётся ли в Киев вообще, не мог никто. На открытии Мельник не присутствовал, зачитали только его приветствие Национальной раде так, словно и не появлялся он здесь в эти дни. Не заметил Борковский и немцев ни в здании школы, ни рядом. Несомненно, они знали об учреждении Национальной рады, но решили это знание не проявлять. Присутствие на собрании военных или гражданских чиновников немецкой администрации считалось бы поддержкой. Немцы не вмешивались и на активность ОУН смотрели со стороны. Одоб-

---

* Украинская Национальная Рада в Киеве — предпарламентское общественно-политическое образование. Учредительное собрание состоялось 5 октября 1941 г по инициативе ОУН(м).

рения в этом взгляде не было, только расчёт и готовность проявлять недолгое терпение.

Зато Борковский встретил многих из тех, кого уже не думал увидеть никогда. В школьном актовом зале в день открытия Рады словно слились воспоминания о его военной молодости и десятилетии, проведённом в лагерях. Иначе, наверное, и не могло быть, потому что никогда не существовали они по отдельности в его жизни, и одно было накрепко связано с другим.

Таких, как он, здесь собралось немало. На заседание приехали и те, кого Борковский помнил только по семнадцатому году, встречал в здании Педагогического музея, где заседал украинский парламент, и те, кто проходил с ним по делу СЗВ. Главой Национальной рады выбрали профессора Мыколу Величковского. Борковский не был знаком с профессором, видел его два, от силы три раза, ещё во времена Грушевского, а при Скоропадском они разошлись по враждующим лагерям. Но в двадцать девятом, на допросах в ОГПУ имя Величковского звучало постоянно. От Борковского требовали показаний против профессора, и о том, что они никогда не были представлены, не перебросились даже парой слов, следователи долго не желали ничего знать.

Время прошло, былые распри забылись, старики искали путей к примирению, но в ОУН пришло молодое поколение, жёсткое и бескомпромиссное. Молодёжь, избравшая своим вождём Бандеру, точно знала, что борьба за Украину может быть только вооружённой и только беспощадной ко всем, кто не поддерживает их целей и методов. Кровавая вражда между группами Бандеры и Мельника с началом войны драматически усилилась, и Борковский не мог думать о ней иначе как о чудовищном проклятье, лежавшем на всём движении, задачей которого было создание украинской державы. С первых дней борьбы за независимую Украину вожди ОУН не желали объединяться, враждовали и лелеяли свою вражду, решали противоречия кровью. Этот раскол был выгоден и большевикам и немцам, и те и другие поддерживали его, усиливали всеми средствами, считая при этом своим врагом любого, кто был готов поднять жёлто-синее знамя.

Борковский возвращался в Полтаву раздосадованным, но и вдохновлённым. Всё-таки разногласия казались ему разрешимыми, а цель стоила любого риска и любых усилий. Да, они начинали опять, но начинали не с нуля, и он знал, что делать.

Наскоро огороженные колючей проволокой, ещё не всюду оборудованные вышками для охраны, пересыльные лагеря пленных появились почти во всех городках Полтавщины. Иногда немцы устраивали их в колхозных коровниках, на территории МТС или просто выгораживали несколько гектаров поля, и в каждом без еды, без лекарств, без надежды выбраться находились тысячи, а то и десятки тысяч человек. Возможности Борковского были ничтожны, без «Красного креста» много людей не спасти, в этом Мельник был прав.

Борковский вспомнил, как они стояли у широкого, во всю стену, окна учительской комнаты, выходившего на школьный двор. Во время разговора с улицы к школе подъехали два «Оппеля», трёхтонки, оборудованные для перевозки людей. Из кузовов на засыпанный буро-жёлтой листвой тополей и клёнов давно не метёный асфальт двора посыпались люди.

— Вот, хлопцы наши вернулись, — думая о другом, отстранённо заметил Мельник.

В большинстве это были молодые парни, одетые не по форме, но всё же одинаково, в коричневых брюках и пиджаках, с кепками или фуражками на голове. Стоял последний день сентября, запущенная немцами машина уничтожения евреев в Бабьем Яре работала на полную мощность, и Борковский решил, что пришло время задать ещё один вопрос. Он обернулся и вопросительно посмотрел на Мельника.

— Откуда вернулись? С Сырца?

— Послушай, Фёдор, — ответный взгляд Мельника был жёстким и злым, он правильно понял Борковского. — О евреях есть кому заботиться, можешь поверить. Все говорят о евреях — Америка, Англия, весь мир. А об украинцах молчат. Кто будет думать об украинцах? Сталин с Кагановичем? Они уже подумали так, что лучше бы вообще о нас ничего не знали. Никому украинцы не нужны, никто не станет выступать с высоких трибун в их защиту. Могут все здесь сдохнуть от голода или под снарядами, всё равно какими, немецкими или советскими — никто слова не скажет. Вся их защита — это мы с тобой, а вся наша сила — эти хлопцы. Мало, правда? А другой силы у нас нет.

Мельник замолчал, но после паузы всё же ответил Борковскому.

— На Сырце немцы всё сделали сами, от начала до конца. Наша полиция работала на сортировке и погрузке вещей. Если тебе было важно, чтобы я это сказал, то вот говорю, но только тебе, а ты молчи.

2

У двери канцелярии Stalag 346 мёрзли трое пленных, ожидая встречи с полтавским старостой. Обычные дядьки с коричневыми лицами, все трое невысокие, в грязном обмундировании, без ремней и знаков различия, исхудавшие до последнего предела, но и в прежней довоенной жизни, похоже, не часто евшие досыта. Один из них — с шеей, обмотанной рукавом нательной рубахи, временами задыхался клокочущим кашлем и после каждого приступа подолгу отхаркивался. Никого из троих Илья не знал, они его тоже, и это было удачей. Заключённые в лагере слышали друг о друге многое, но Илья весь месяц провалялся в лазарете, — кроме Жоры, Туровцева и нескольких раненых, не разговаривал всё это время ни с кем.

Чтобы не привлекать внимание, он сел на корточки, опершись здоровым плечом о стену здания. Дядьки беседовали вполголоса, и Илья мог слышать их разговор. Они говорили о полтавском старосте, пытались вспомнить, где его видели, кто он и когда появился в городе. Эти трое познакомились не в армии, понял Илья, они знали друг друга давно. Полтава — город небольшой, у всех есть общие знакомые. Он должен был придумать себе правдоподобное прошлое, историю, которая не рассыпалась бы от нескольких проверочных вопросов. Старосту дядьки не знали, о нём вообще было известно мало, вроде бы отсидел «за политику» и жил замкнуто, работал не то счетоводом, не то бухгалтером. Илья решил, что назовётся спортсменом, но не боксёром, и о Киеве не скажет ничего. Подходящий для него город — Харьков. Допустим, сам он из Полтавы, но учится в Харькове, и на случай, если полтавский военкомат не успел вывезти документы, скажет, что в армию его тоже призвали из Харькова. В Полтаве у него семья и дети, например, двое, поэтому, вернувшись, он сразу же устроится работать, а родители умерли давно, да и вообще они жили в селе под Фастовом, так что рассказывать о них нечего.

Пока Илья дожидался очереди, подошли ещё несколько человек. Здесь каждый был сам по себе и сам за себя — охрана следила, чтобы пленные не собирались группами, не заводили разговоры, но выходивших из канцелярии, хотя те старались не задерживаться и спешили в свои бараки, всё равно забрасывали вопросами.

— Та шо вы спрашиваете, — спустившись с крыльца, коротко просипел дядька с перевязанной шеей. — Готовьте документы. Без документов дела не будет.

С этим Илья зашёл в канцелярию и первое, что увидел, был портрет Гитлера, висевший на стене. С крестом на нагрудном кармане френча, в распахнутом кожаном пальто и в фуражке, Гитлер демонстрировал профиль, смотрел вдаль, не желая замечать собравшихся в канцелярии. За этой дверью, в этом лагере, на этой земле теперь всё подчинялось ему.

Под портретом, придвинув к стене стул и откинув голову, дремал, забыв снять очки, немолодой унтер-офицер. Кроме него, в комнате находились ещё двое: рыжий пленный, работавший в канцелярии писарем, и худощавый человек в тёмном костюме с крупным бритым черепом. Человек не представился, но Илья понял, что это и есть полтавский староста. На столе перед писарем громоздились папки со списками заключённых, и его макушка была едва заметна за этой слоистой расползающейся кучей. Староста сидел посреди комнаты, забросив ногу на ногу, спокойно сложив руки, и внимательно разглядывал Илью. Он заметил, как вошедший младший лейтенант посмотрел на портрет Гитлера, не сказал ничего и продолжал наблюдать за ним так же спокойно.

— Терещенко Илья Григорьевич, из Полтавы, — назвался Илья и добавил свой лагерный номер. Писарь глянул на него поверх вороха бумаг и спросил: Документы есть?

— Документы лежали в планшете. С ним и пропали, — объяснил Илья и виновато улыбнулся. Он решил изображать растерянного простоватого парня, который хочет сейчас только одного, поскорее попасть домой.

Писарь, переспросив номер, зашуршал списками.

— Значит, хочешь выйти из лагеря? — спросил Борковский. — Кто у тебя в Полтаве?

— У меня там семья — жена и двое маленьких ребят. Меня вообще в армию брать не должны были — я единственный кормилец, но кто ж на это смотрел. Если поможете выйти, сразу устроюсь на работу, только рука вот должна зажить.

Староста не прервал разговор, хотя Илья сказал, что документов у него нет. Значит, он готов его расспросить и выслушать, только ответы должны быть уверенными и точными.

— На работу устроишься? На какую? Ты же младший лейтенант. Какое военное училище заканчивал?

— Мне звание дали за неделю до плена, уже в окружении. До этого сержантом воевал.

— Значит, хорошо воевал, раз дали лейтенанта.

— Воевал как мог, — кивнул Илья, прибедняться смысла не было. — Все командиры выбыли, кто погиб, кто по ранению. Мне дали взвод, в нём семь человек оставалось.

— Так какая же у тебя специальность?

— Если по военному времени смотреть, то никакой, — так же виновато развёл руками Илья. Я учился в Харькове, в институте физкультуры. Из Харькова и призвали.

— Так ты спортсмен? — его ответ так явно заинтересовал Борковского, что Илья насторожился: может, зря сказал?

— Да. Многоборец — бег, прыжки, метание диска и молота. Успел окончить три курса института. Была идея создать в Полтаве спортивное общество, мы с ребятами этим два года занимались.

— Хорошая идея, — неожиданно согласился староста. — А почему не сделали, если целых два года занимались?

— Да инстанции тянули, перебрасывали документы одна на другую, а время шло. Потом война началась. Не успели, в общем.

— Ну, а сейчас ты бы мог собрать людей и организовать спортивный клуб? При моей поддержке?

— Многих уже нет в городе, вы же понимаете — одни в армии, другие в эвакуации, но кто-то наверняка остался. А тренировочный процесс я организовать смогу, это как раз по моей специальности.

В затхлой комнате лагерной канцелярии с портретом Гитлера и сопящим под ним унтером Илья вдруг ощутил лёгкое и свежее дуновение удачи. Она не оставляла его все месяцы войны. Он мог погибнуть ещё в июле, как сотни бойцов из их партизанского полка, он и позже мог погибнуть в любую минуту, особенно здесь, в лагере, но они разошлись со смертью разными дорогами. А стоило ему окрепнуть достаточно, чтобы выйти на свободу, как приехал этот странный человек и предлагает организовать в Полтаве спортивный клуб.

— Хорошо. Поговорим об этом позже, — подвёл черту Борковский. И неожиданно спросил: так где, говоришь, ты живёшь? Адрес не забыл?

— Воскресенский переулок знаете? — Этот вопрос должен был прозвучать, и к нему Илья был готов. — За музеем. Дом почти на углу с Жовтневой.

В зелёном, едва различимом среди садов Воскресенском переулке жили его друзья, Клава Мишко с мужем Димой Кирилловым. Илья несколько раз у них останавливался, и в этой части города ориентировался неплохо.

— Жовтневую мы уже переименовали, — кивнул Борковский. — Она теперь, как раньше, называется Александровская. А место знакомое и непростое.

— Нашу церковь все знают, — улыбнулся Илья, его улыбка больше не казалась виноватой. — Она самая старая в Полтаве. Только колокольню снесли несколько лет назад.

Что колокольню снесли — неудивительно, чудо, что саму церковь оставили. Обязательно открою в ней богослужения, не всех же священников расстреляли большевики, кто-то должен был остаться, подумал Борковский. Когда-то и его крестили в Церкви Спаса Нерукотворного Образа.

— Ты, случайно, не в ней крещён? — спросил он Илью.

— Меня в Фастове крестили. Родители жили под Фастовом.

— А где сейчас твои родители? Живы?

— Нет, умерли в голод. У нас половина села вымерла, и мне одному уже нельзя было оставаться, пришлось уйти. Задержали, когда дошёл до Харькова, там уже сдали в детдом. Потом учился в спортшколе при институте физкультуры, а дальше я рассказывал.

Слушая этого младшего лейтенанта, Борковский думал о спортивном клубе. Удивительно, что эта мысль не пришла ему раньше. Он не сомневался, что открыть спортклуб ему разрешат, немцы — культурная нация. А ведь это — идеальная школа для будущих боевых групп, ничего лучше не придумать. С младшим лейтенантом или без него, он обязательно это сделает.

— Как вы собирались назвать своё спортивное общество? — Борковскому вдруг стало любопытно, что было в головах у этого молодняка, выросшего при красных. — Спартак? Коммунар?

— Запорожская Сечь, — ответил Илья, и это было правдой.

— Хороший ты парень, Терещенко. И название ваше подходит. Забрал бы я тебя в Полтаву, хоть и нет у тебя документов. Только кто может подтвердить всё, что ты мне сейчас рассказал? Есть такие?

— В Полтаве подтвердят, — твёрдо сказал Илья. — И здесь подтвердили бы, но Жору Вдовенко, с которым мы учились вместе, два дня назад отправили в другой лагерь. Можете проверить, — он назвал лагерный номер Жоры. — А ещё один наш товарищ умер в Хорольском дулаге, до Кременчуга не смог дойти. Если бы он знал, что его слово понадобится, может, и дошёл бы. Хороший был товарищ. Так что из троих я тут один остался, и подтвердить теперь уже некому.

— Ну, ладно, — потёр руки Борковский. — Решать всё равно не мне. В список я тебя внесу, и если лагерное начальство утвердит, то завтра тебе скажут. Можешь идти, зови там следующего.

Не было у Борковского уверенности, что этот пленный лейтенант придёт через пять дней на регистрацию в городскую управу. Всё, что он сейчас рассказал, могло быть правдой, и каждое слово при детальной проверке могло подтвердиться. Только никакая правда, никакие документы не помешают ему исчезнуть по пути в Полтаву, а потом оказаться у красных. Фронт ушёл на восток не так далеко, и удержать тех, кто не хотел оставаться в оккупации, Борковский не мог никак. Поэтому в список на освобождение он вносил всех, рассчитывая, что хотя бы половина из них появится в городской управе.

Борковский съездил уже в Хорольский лагерь, в Полтавский, а из Кременчуга собирался отправиться в Киев; сперва в Дарницу, оттуда на Сырец. Каждая его поездка — это семь, если повезёт — десять пленных, отпущенных на свободу. Ничтожная цифра, если говорить прямо. В лагерях оставались миллионы, и прав был Мельник, без Красного Креста им не справиться.

— Чем-то этот хлопец на жидёнка похож, — заметил писарь, когда за Ильёй закрылась дверь канцелярии. — Не знаю, чем, но нюхом чую, что-то есть.

— Что ж тогда немцы не почуяли? Решил с ними нюхом померяться?

— Шо нам с ними мериться? — брезгливо сморщился писарь и ухмыльнулся, глянув на унтера, спавшего под портретом Гитлера. — У нас свои мерки.

— Ты сам откуда? — Борковский удивлённо глянул на писаря.

— Я из-под Ростова. Скорее бы, что ли, туда немцы пришли, может, и меня кто-то заберёт.

— Ростов тоже скоро возьмут, недолго осталось. Видишь, как шагают? И во всей Европе нет против них силы, — уверенно сказал Борков-

ский. — А ты проверь номер его приятеля, которого будто бы отправили в другой лагерь. Был такой?

— Уже проверил. Был.

3

Утром, после общего построения и развода на работы, заместитель начальника Stalag 346 майор Рутлов лично привёл семерых заключённых к воротам. Сырой октябрьский рассвет медленно и тяжело ворочался под низкими косматыми тучами. Рутлов любил такую погоду, холодную, лишающую надежд. Жить нужно без надежд и без иллюзий, этот мир не для них. Рутлов знал жизнь достаточно, чтобы не ждать от неё лучшего. Лучшее — это то, что есть сейчас, пока мы живы: распорядок и приказы командиров. А раз командир в этом лагере он, то всякий, кто намерен выжить в Stalag 346, должен исполнять его волю и его распорядок.

Рутлов шагал по аппельплацу, не оглядываясь; пленные, выстроенные в колонну по два, двигались за ним. Этот щуплый балтийский немец сохранил к сорока годам фигуру подростка и выражение лица изгоя, презираемого сверстниками. И заключённые, и охрана называли Рутлова «кровавым карликом». Пленные ненавидели замначальника лагеря и смертельно боялись, подчинённые избегали. Майор это знал и не то что бы гордился, но таким отношением был удовлетворён. Это значило, что он хорошо делал свою работу.

Возле будки охраны их ждал Борковский. Майор провёл короткую перекличку, протянул полтавскому старосте акт передачи пленных, и тот его подписал. Всё произошло быстро, лагерное начальство старалось, чтобы процедура освобождения не привлекала внимания заключённых. За ограждением оставались тысячи человек, которых никто и никогда не выпустит, поэтому выход на свободу очередной группы ни в ком не должен пробудить ложных надежд. Если бы у майора Рутлова или у начальника лагеря майора Цолина была такая возможность, они немедленно прекратили бы эту практику. Возможно, в июле, когда ещё не существовало условий для содержания пленных, директива командования имела смысл, но сейчас всё изменилось. Stalag 346 — отличный лагерь, заключённые здесь трудятся и приносят пользу, они находятся под постоянным надзором и жёстким контролем. В штабах считают, что, возвратившись домой, пленные станут работать так же хорошо?

Тыловые бюрократы в форме не представляют реальной картины, но приказ остаётся приказом, Цолин и Рутлов его выполнят.

Освобождение полтавчан было проведено так, что в лагере никто не знал наверняка, куда их отправляют. Возможно, переводят в другой лагерь, а может быть, несколько минут спустя, отведут ко рву, уже заваленному трупами, и расстреляют. Полтавским пленным ничего не сказали, ни о чём не предупредили, и только увидев у ворот Борковского, полтавчане догадались, что речь, возможно, идёт об освобождении.

Возвратив Рутлову подписанный акт, староста выдал пленным пропуска — грязно-розовые квадраты жёсткого картона. Вверху, под самым обрезом, на каждом расправлял крылья орёл со свастикой в когтях, ниже шёл текст на немецком языке с пропущенной строкой для имени и фамилии. Имена освобождённых были вписаны по-украински. Рутлов аккуратно сложил листок с актом и ещё раз пробежал взглядом по их лицам. Когда имеешь дело с бывшими солдатами противника, нельзя быть уверенным ни в чём. У Рутлова имелся опыт организации лагерей в Польше и во Франции, он хорошо знал пленных. Опыт подсказывал ему, что четверо из этой семёрки — уже надёжно переработанный материал. Он привык видеть выражение тупой покорности на лицах людей, для которых жизнь и смерть сравнялись в цене. Эти не уйдут в партизаны, они никуда не уйдут дальше своих домов, если их дома сохранились. Но с тремя следовало бы поработать ещё. Рутлов привык выполнять задания начальства качественно, и на этот раз остался недоволен своей работой. Да и старосте из Полтавы он бы не спешил доверять. Кто поручится за его надёжность? Кто его допрашивал?

— Пропустите, — хмуро скомандовал майор охране лагеря, но даже после этого не развернулся и не ушёл к себе в кабинет, а пошагал следом за пленными. Уже за территорией лагеря он потребовал от Борковского, чтобы тот опять выстроил людей.

Теперь, когда его не слышали другие заключённые, Рутлов мог говорить громко, как он и привык. Майор ещё раз пристально осмотрел всех семерых, давая им почувствовать, что и здесь их судьбы по-прежнему зависят от его воли.

— Гефтлинги,* — сказал он и косо глянул на Борковского. Тот понял, что значит этот взгляд, и фразу за фразой точно перевёл слова Рутлова. — Немецкое военное командование оказывает доверие новой

* Заключённые концлагеря.

гражданской власти и проявляет добрую волю, отпуская вас домой, к вашим семьям. От вас ждут добросовестного труда на благо Германии. Мы не враги честным украинским крестьянам и рабочим, мы понимаем, что большевистские комиссары и жиды заставили вас взять оружие, чтобы поднять его против нас. Идите и трудитесь честно. Каждый из вас получил пропуск, который позволит дойти до Полтавы. Пропуск действителен только четыре дня и только на пути в Полтаву. Ещё один день вам даётся для регистрации в городской управе. Всякий, кто обманет наше доверие и через пять дней не встанет на учёт в управе, будет арестован и сурово наказан. Ответственность за вас лежит на бургомистре Полтавы, — Рутлов ткнул пальцем в Борковского. — За каждого, кто не пройдёт регистрацию, отвечать будет он. Вам всё понятно?

— Всё понятно, господин майор, — привычно ответили пленные, но вместо унылого безразличия Рутлов расслышал в их голосах нетерпение. Дурацкий приказ, — ещё раз подумал майор, — гефтлинги отошли от ворот лагеря всего на десять метров, а прежнего почтения как ни бывало.

— Разрешите задать вопрос, господин майор, — вдруг подал голос один из пленных. Рутлов, изумившись, вскинул голову, а затем сжал зубы, пережидая, пока схлынет волна холодной ярости: вот они уже считают себя вправе задавать ему вопросы.

Немолодой пленный с какой-то грязной тряпкой на шее глядел на него, улыбаясь униженно и подобострастно.

— Говорите, гефтлинг.

— До нас тут разговоры доходили, что в других лагерях, когда освобождают, так дают с собой небольшой запас… Ну, вроде сухпайка. Может, и нам хоть что-то… А то три дня идти, а у нас собой ничего…

— А-а, немного еды в дорогу? — понял Рутлов. — Вас устроит хлеб из лагерного рациона? Или поискать для вас что-то получше?

— Меня очень устроит, — пленный подался вперёд, словно замер в поклоне. — Хлеб меня очень устроит.

— Если вам так нравится ваш лагерный хлеб и ваш лагерный суп, то почему же вы нас покидаете? — ехидно поинтересовался Рутлов. — Возвращайтесь в лагерь!

Предложение прозвучало как приказ. Пленный хотел что-то сказать, но не смог. Его коричневатое от крепкого, многолетнего загара лицо вдруг посерело, а в губах проступила безжизненная синева.

Ещё сдохнет здесь от ужаса, брезгливо поморщился Рутлов. Он не шутил, приказав гефтлингу вернуться в лагерь. Несколько минут назад этот наглец изображал покорность и послушание, и вот он уже смеет что-то требовать у немецкого офицера. Стоит чуть разжать кулак, и у каждого из них появятся требования, найдутся причины для недовольства.

Рутлов опустил руку в карман шинели. Там лежал акт передачи пленных, подписанный полтавским бургомистром. А в канцелярии, подшитый и пронумерованный, уже хранился приказ майора Цолина об освобождении этих гефтлингов. Если он вернёт наглеца в лагерь, все документы придётся переписывать. Переписывать документы! На это Рутлов пойти не мог. Теперь это бывший гефтлинг, его проще расстрелять на месте, чем водворить назад, в лагерь. Какая глупость! Парадоксы современной войны.

— Вижу, вы не цените наше гостеприимство, — заметил Рутлов, и по его губам скользнула злая, жалящая улыбка. — Жаль. В таком случае обеспечить продовольствием вас должно новое начальство, — он кивнул на Борковского. — А мы никому себя не навязываем, — майор Рутлов как будто даже слегка поклонился пленным и направился к воротам лагеря.

4

Ощетинившиеся досками гниющих заборов, нищие кременчугские окраины глубоко увязли в рыжей глине. После октябрьских дождей улицы раскисли и тянулись — безлюдные, едва проходимые. Только тоскливый лай цепных псов и редкие изорванные ветром дымы над тёмными крышами напоминали о присутствии в домах людей. А по мощёному шоссе, разбрызгивая коричневую жижу, разрывая тишину рёвом двигателей, проносились на Полтаву, на восток, «Опели» и «Маны» с солдатами, продуктами, боеприпасами.

Уступая им дорогу, Илья отходил на обочину, в скользящую, вспучивающуюся под ногами грязь, и шёл дальше, глотая бензиновые выхлопы. Этот жалкий, промокший, скованный неотступающим страхом мир всё же был восхитителен. Прекрасным казалось каждое искорёженное дерево, попадавшееся на пути, каждая лужа, отражавшая низкое, неряшливое небо.

Илья чувствовал себя так, словно точным ударом уложил на ринг противника, казавшегося несокрушимым. Он вышел из лагеря, и сам едва мог в это поверить. А ведь схватка не закончилась, выход из лагеря — ещё не победа. Он на свободе, у него в кармане немецкий пропуск, но от фронта, от своих, его отделяют сотни километров.

Нельзя расслабляться, всё может измениться мгновенно, и ты должен быть к этому готов, — говорил себе Илья, но свобода огромного мира, не спутанного колючей проволокой лагерного ограждения, была чудесна, и чудесен был этот несчастный растоптанный мир.

Бывшие пленные миновали город молча — разговаривать не хотели. Они не желали ничего знать друг о друге и даже не познакомились в начале пути, как следовало бы. Для каждого остальные были частицей ненавистного лагеря, где пленный пленному не друг по несчастью, а соперник в борьбе за миску баланды, пайку эрзац-хлеба, за жизнь. Они, пожалуй, разошлись бы в ту же минуту, когда расстались с Борковским, и двинулись поодиночке, лишь бы не видеть друг друга, но знали, что идти группой безопаснее. Только поэтому Илья шагал следом за сержантом-связистом, которого Борковский назначил старшим в их группе. Сержант был высоким и крепким парнем неполных тридцати лет с неизменно свирепым выражением лица. Казалось, он люто ненавидит всякого, попавшего ему на глаза, но ни в его словах, ни в поступках эта свирепость не проявлялась. Звали его Юрий Никитенко, и был он таким же пленным, неожиданно вырвавшимся из лагеря и ошалевшим от свалившейся на него свободы, как и остальные. Выбор Борковского объяснялся только тем, что после лагеря он работал на одном заводе со старшим братом сержанта Никитенко и был с ним шапочно знаком.

Илья ещё не решил, зайдёт ли он в Полтаву, рискнёт ли появиться у друзей или просто отстанет, не доходя до города и, обогнув предместья, двинется дальше на восток один. Куда он пойдёт, где сейчас проходит линия фронта, на каком участке он попытается её перейти, Илья пока не знал. Дорога ему предстояла долгая, значит, прежде чем отправляться в путь, он должен был хотя бы заново перебинтовать руку. На остальные ранения он уже не обращал внимания. Последний раз Туровцев осматривал и перевязывал его два дня назад, а этим утром они не виделись, не успели проститься, и, наверное, уже не встретятся никогда. Кто мог подумать, что всё решится так быстро?

Илья шёл на восток за войной, по её дорогам и следам. Сперва война пришла к нему, сломала привычную жизнь, не оставив от неё ничего, кроме воспоминаний, едва не уничтожила и самого Илью. Теперь он догонял её, чтобы потребовать расплаты. За месяцы на фронте и в плену он встретил множество надёжных, хороших людей. И потерял их всех. Одни погибли, другие пропали, и только он теперь помнит, как лежали на перепаханном минами поле Исаченко и Рудник, как оттаскивали тело мёртвого Мельникова, чтобы из-под него достать ещё живого Илью, как убили в Хороле Меланченко. Для тех, кто их знал, они даже не погибли, они просто исчезли. Только он и Жора Вдовенко могли рассказать о них, но жив ли Жора, а если жив, то и сам погибает сейчас в каком-нибудь немецком лагере.

На выезде из Кременчуга пленных остановил патруль полевой жандармерии. Илья заметил мотоцикл у обочины, двоих солдат и фельдфебеля с нашейной металлической бляхой на цепи шагов за восемьдесят. Эти трое стали бы отличной мишенью для его отряда. Илья привычно оглянулся, но не первый партизанский взвод восьмого батальона шёл за ним, а пятеро измученных концлагерем солдат. Ощущение бессилия, захлестнувшее его, тут же сменилось яростью: даже так, всемером и без оружия, они могли бы уничтожить этот патруль. Но не сделают этого, просто покажут свои розовые картонки — билеты в новую жизнь, а потом пленный с обмотанным горлом, которого он уже мысленно называл Замотанным, опять понесёт какую-то льстивую чушь. Илья знал эту породу, они и ненавидят тех, от кого зависят, и заискивают перед ними.

Патрульные оставили отметки на оборотной стороне каждого пропуска.

— Предупреждаю, вы обязаны идти только по шоссе, — возвращая пропуска, фельдфебель проткнул пальцем в кожаной перчатке воздух перед лицом Никитенко, а потом погрозил всем. — Нигде не сворачивать. Самый быстрый путь до Полтавы — по шоссе.

Конечно, они знали, что по шоссе идти быстрее, и Илья не сразу понял, почему им нельзя сворачивать.

Метров через пятьсот полтавское шоссе круто повернуло налево, на Решетиловку, а прямо пошла обычная грунтовая, туго проходимая после дождей дорога. Замотанный и двое его приятелей остановились у съезда на просёлок.

— Грунтовкой по сёлам — тяжелее, но дорога спокойнее, и переночевать пустят.

— Разве на шоссе не пустят? — удивился Никитенко.

— На шоссе полно немцев, и люди перепуганы. Засядут по хатам, и хоть в окно стучи, хоть дверь зубами грызи — никто не выйдет.

— А патруль?

— Жандарма испугался? Думаешь, он на своей трехколесной таратайке станет за тобой по этой багнюке гоняться? Десять метров проедет и завязнет, — просипел Замотанный. — Та, как хотите, можете по шоссе дальше топать. А мы сюда.

Илья подумал, что эти трое, пожалуй, правы — просёлок безопаснее шоссе, и немцам в этих непроходимых чернозёмах сейчас делать нечего.

Пока они обсуждали маршрут, из кустарника, росшего по обочине просёлка и тянувшегося до дальней лесополосы, вышел человек. Запинаясь и увязая в грязи, он спешил в сторону шоссе, и семерых пленных увидел не сразу, но едва заметив, снова скрылся в придорожных кустах. Илья успел разглядеть выгоревшее пальто горохового цвета, серый картуз на голове прохожего и резиновые сапоги на ногах. Так мог выглядеть горожанин, которого случайно занесло в поля. Что он тут делает этим сырым и холодным утром?

Минуту или две спустя человек в гороховом пальто снова вышел на дорогу. Он не был немцем и не был бывшим пленным, он глядел на них с тревогой и отчаяньем.

Добравшись до шоссе, прохожий сдёрнул с головы картуз, поздоровался и вытер лоб. Его красное лицо было в разводах грязного пота.

— Вы же из лагеря, правда? — спросил прохожий, осмотрев всех семерых. — Из Кременчуга идёте? Или наоборот?..

Внешность этого человека казалась самой заурядной. Он выглядел лет на тридцать, возможно, чуть старше, уже заметно облысел, и было видно, что проделанный путь отнял у него много сил. Но по его вопросу и по тому, как был он задан, по загнанному взгляду и ещё по каким-то неуловимым признакам Илья понял, что перед ним еврей.

— Это наше дело, кто мы и куда, — просипел Замотанный. — Про себя сначала скажи. Откуда сбежал?

— Я не сбежал, — ответил прохожий и смял в руках картуз. — Хотя, конечно… Да, пожалуй, можно сказать, сбежал. Из Песчаного…

— Только давай, не бреши, — оскалил осколки зубов Замотанный. — Песчаное по дороге на Градижск.

— Правильно, но на той дороге меня бы за десять минут взяли — там везде патрули, а в Песчаном была облава, хватали всех подряд. Я от них сначала лесополосой уходил, потом через Кохновку по этой грязи, и где-то заблудился. С ночи иду, а дорогу спросить не у кого. Когда увидел вас, подумал, что они меня обошли и ждут на шоссе, но, нет, повезло, ушёл-таки.

— Так ты ещё и немцев за собой тащишь? — догадался Замотанный.

— Не тащит, а предупреждает, — вступился Илья. — Ладно, всё ясно, пошли отсюда.

— Скажите же, — ещё раз спросил прохожий. — Если вы на Полтаву, может, я с вами пойду? А то одному неспокойно как-то.

— Ну, а документ у тебя есть? — прищурился Замотанный. — Ты ж понял, как у немцев — виноват один, а расстреливают всех.

— Есть документ, новый, — поспешно ответил тот и достал из внутреннего кармана пальто справку. — Вот, смотрите, подписал кременчугский бургомистр Синица-Верховский.

— А ну, — Замотанный протянул руку. — Покажь.

Справка на имя Трофима Васильевича Савченко, выданная кременчугской городской управой, пошла по рукам.

— Хороший документ, подходящий, — одобрил Никитенко. — Если остановят, можем сказать, что тебе велели отвести нас в Полтаву.

— Спасибо, — обрадовался Савченко. — Это вы прекрасно придумали.

Когда пленные чуть прошли вперёд, Илья вполголоса спросил: Так что там, в Песчаном, Трофим Васильевич?

— Облава, я же сказал, — вскинул голову тот и насторожённо покосился на Илью.

— Вы ведь еврей? — вопрос больше походил на утверждение. Заметив, как взгляд Савченко из насторожённого сделался испуганным и метнулся в сторону, Илья взял его за локоть. — Да не пугайтесь так сразу. Вы тут не один такой.

Савченко, который никаким Савченко, конечно, не был, в этом Илья не сомневался, наконец, посмотрел на него.

— Вы тоже? А остальные знают?

— Нет. Им не обязательно. Так что же произошло в Песчаном?

— Расстреливают там, — громко зашептал Савченко. — Гонят по сто человек в день из Кременчуга, из Новоивановки, и расстреливают за селом.

— За что расстреливают? — не сразу понял Илья.

— За что расстреливают евреев? — хмыкнул Савченко и продолжал тем же громким, отчаянным шёпотом. — За то, что они евреи. В Новоивановке немцы устроили гетто. Но гетто, это только название, им просто удобнее было собрать всех в одном месте и оттуда отправлять в Песчаное.

Про гетто на окраине Кременчуга Илья слышал ещё в лагере, от Туровцева, но где именно оно находится, не знал.

— А как вы с вашей справкой попали в гетто?

— Какая польза от справки там, где меня все в лицо знают, — отмахнулся Савченко. — Она мне где угодно может пригодиться, только не в Кременчуге. Город у нас маленький, каждый на виду. Когда пришли немцы, одни при встрече со мной продолжали здороваться, будто ничего не изменилось, другие перестали замечать, но так даже лучше и им и мне, а то, верите, заметишь взгляд знакомого и вздрагиваешь каждый раз — донесёт или промолчит? А тут встретился Петька Халецкий, мы с ним когда-то в Потребсоюзе работали, столы стояли рядом. Поздоровался, спросил, не собираюсь ли уезжать из города, а я уже с возчиком на следующее утро договорился, представляете, как совпало? Ему я этого не сказал, конечно, поговорили просто и разошлись, только он не по своим делам пошёл, а развернулся и начал меня выслеживать. Потом сдал первому же патрулю. Я, знаете, вспоминал, может чем-то его обидел, что-то сказал не то. Нет, ничего не вспомнил. Можно сказать, не повезло — человек такой попался.

Меня, как только взяли, сразу же отправили в Новоивановку. Там несколько бараков, огороженных колючей проволокой и забитых людьми — настоящий лагерь, одно название, что гетто. А уже на следующее утро погнали в Песчаное. Сказали, будто на работу, только в гетто уже знали, что с той работы никто не возвращается. Тогда я сразу решил, что убегу. А что тянуть? Пока силы есть, нужно бежать, правильно? Чем дольше откладываешь дело, тем потом сложнее за него взяться, я это давно понял. Мне повезло, что конвой был не немецкий, от тех бы не ушёл, наверное. Нас полицаи конвоировали, наши, кременчугские. Вот я и дал дёру.

Слушая фальшивого Савченко, настоящего имени которого он не знал и узнавать не собирался, Илья думал, что история этого человека совершенно обыкновенная, кроме, разве что, её финала — бегства из-под конвоя. И случилось таких историй в городах и городках Украины, наверное, уже сотни. Достаточно встретить человека, затаившего с каких-то давних лет обиду, достаточно одной несчастливой встречи, чтобы поддержка десятков людей обратилась в ничто. Один такой Петька Халецкий на пути, и всё сомнётся, развеется, останется только чистое зло.

Впрочем, и в этой истории кое-что казалось необычным и оставалось непонятным Илье. Почему староста Кременчуга выдал справку этому неСавченко, прикрыв хотя бы от тех, кто не знал того лично? Почему люди, назначенные немцами в новую власть, прошедшие, должно быть, какую-то проверку, с первых дней начинали действовать совсем не так, как от них ожидали?

Немецкая техника вязла в раскисших украинских чернозёмах, а лезвие железного немецкого порядка, погружаясь в украинский мир, покрывалось ржавчиной, корродировало и теряло прочность. Здесь у каждого обнаруживалось собственное представление о возможном и недопустимом. Его десятилетиями вытравливали большевики, ломая волю и принуждая к подчинению, а нацисты, не удовлетворившись результатами предшественников, продолжили их работу, только своими, новыми методами. Но стоило на мгновение возникнуть узкой щели между двумя силами, уничтожавшими личную свободу людей, как первыми этой свободой воспользовались те, кто, вроде бы, согласился служить врагу. Люди, которых, по всему, следовало считать предателями своего народа, осенью сорок первого оказались единственной его защитой.

Борковский вытащил из Кременчугского лагеря семерых полтавчан, о существовании которых прежде не слыхал. Илья готов был допустить, что Борковский составил на их счёт какой-то план, но он отлично знал, что планы на войне не стоят ничего. Любые планы пойдут прахом, ветры войны их развеют, наверняка и Борковскому это было известно, но семеро человек уже вышли на свободу и шагали по грязному шоссе, уходя всё дальше от жуткого Stalag 346. А что двигало Синицей-Верховским, когда, рискуя не одной лишь своей должностью, он выдавал фальшивые документы кременчугским евреям? Какой тут мог быть план?

Ледяные, не предполагающие сочувствия и сострадания к завоёванному народу оккупационные законы начинали подтаивать и подтекать, едва военное командование передавало местной власти хотя бы малую часть полномочий, но, установленные по всем правилам, вызывали дрожь смертельного ужаса у любого, кому приходилось наблюдать их в действии. За месяц оккупации немцы успели отработать порядок перемещения военнопленных. Вдоль шоссе появились огороженные колючей проволокой участки полей с буртами кормовой свёклы,— места ночёвки партий пленных, которых перегоняли из одних лагерей в другие. За первый день пути они трижды встречали колонны, идущие с востока, и всякий раз уходили подальше от дороги, прятались в канавах, чтобы их не приняли за сбежавших и не расстреляли на месте, не выясняя, кто такие и откуда идут.

Колонны пленных, шагавшие в октябре по полтавским дорогам, оставались огромными, но всё же стали меньше сентябрьских, на глаз — до тысячи человек. Передвигались они быстрее, а охрана действовала всё так же чётко и уверенно. Эта чёткость, отлаженность немецкой работы нагоняла на Илью мрачную тоску, отнимавшую силы, а он должен был идти, идти скорее и одолеть, наконец, это шоссе.

Заночевать надеялись под Хоришками, но не рассчитали силы, и хотя шли так быстро, как могли, к закату добрались только до Песков, большого, обросшего хуторами села на левом берегу реки Псёл. К Пескам подходили уже в сумерках, и потому Илья не сразу понял, что за конструкцию, похожую на футбольные ворота, только раза в два выше и в полтора шире, установили на невысоком пригорке, чуть в стороне от перекрёстка двух шоссейных дорог. На перекладине ворот болтались какие-то мешки.

— И тут виселицу поставили,— жестяным голосом сказал неСавченко.— В Кременчуге такая же, побольше даже, стоит с первой недели оккупации. По трое вешают, и ни дня, скажу вам, не пустует.

Виселица была отлично видна с обеих дорог. На таких местах прежде вкапывали дорожные кресты, и они стояли веками. Большевики порушили кресты и установили наглядную агитацию, послания власти народу: Привет участникам колхозного движения! У оккупационных властей имелось своё послание украинцам. Оно казалось предельно понятным и не требовало слов. Ветер раскачивал тела повешенных. От размеренного их движения деревянная конструкция едва слышно поскрипывала.

Пленные были людьми военными, привыкшими к зрелищу смерти. Они видели её в окопах и под обстрелами. В лагере немцы могли не считать их людьми, но признавали в них военнопленных, и смерть, неизменно маячившая где-то рядом, была смертью от пули. Для остальных же они не всегда находили даже пулю.

— Новая хозяйка пришла, — заметил один из приятелей Замотанного.

— Долго не простоит, — просипел Замотанный и сплюнул. — Хило сделана. Развалится.

Илья подумал, что произнёс он эти слова только чтобы как-то развеять жуть, исходившую от этого места. Вблизи виселица ещё сильнее напоминала ему ворота, через которые из каких-то давно прожитых и забытых времён беспрепятственно проникало и расползалось по Украине зло.

Сырое серое небо стремительно заполняла чернота наступающей ночи. Идти в село, искать ночлег было уже поздно. За селом, по левой стороне шоссе, тянулось убранное поле, окаймлённое чёрной полосой леса. Вдали, у самого леса, пленные разглядели четыре скирды соломы и, едва передвигая ноги по вязкому чернозёму, поплелись к ним.

Ночной воздух над полями наливался холодом. Недолгое потепление заканчивалось, Украину накрывала ранняя зима.

ОБ АВТОРЕ

***Алексей Никитин** — один из самых известных писателей Украины, пишущий по-русски. Член Украинского ПЕН-центра.*

Родился в Киеве в 1967 году. Служил в армии, окончил физический факультет Киевского университета, но по своей профессии никогда не работал. Занимался бизнесом и IT-журналистикой. Первый рассказ писал пять лет и опубликовал его в 1990 году. А через десять лет в Киеве была издана его книга прозы «Рука птицелова», получившая премию Союза писателей Украины им. Вл. Короленко за лучшую русскую прозу года.

В России вышли две книги писателя: «Маджонг» и «Истеми». Роман «Маджонг» (2010) на «Амазоне» выходил на первые места в нескольких категориях, потеснив англоязычные издания. Кроме того, «Маджонг» обогнал все электронные русские и украинские книги, выложенные на «Амазоне».

Его роман Victory Park («Парк Победы»), действие которого разворачивается в позднесоветском Киеве и заканчивается сценой антиправительственного бунта, получил Русскую премию в 2014 году.

Роман Никитина «Санитар с Институтской» в России был опубликован отдельной главой в журнале «Дружба народов», но печатать книгу российские издатели не захотели. Она появилась в киевском издательстве «Люта справа» и входила в список пяти лучших книг о современной истории по версии телеканала «Эспресо». Одним из главных героев романа является художник-нонконформист, потомок автора украинского манифеста независимости XIX века, который во времена Майдана становится санитаром-волонтёром.

Гари ЛАЙТ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Високосные строчки

«…Немного солнца и немного мёда,
Как нам велели пчелы Персефоны…»

О. Мандельштам (1920)

Всё из-за одного дня, холодного изначально,
дню не хватило огня, изысканно и печально.
Заброшенная зима кашлем зашлась на вздохе,
в небе плывёт бахрома — и шансы рассвета неплохи.
Обыденность новостей… Абсурд уже стал привычен,
дышит накалом страстей и пафосных безразличий.
Наставшие времена смешны и страшны, в перспективе
крадётся дворами война, проводит манёвры в эфире.
Ценностям — грош цена, совести, чести, отваге,
их захлестнула волна обмана и паточной влаги.
Казалось бы, как всегда — лжи ни больше ни меньше,
сказавший единожды — «да», слывёт високосно-вещим.
А лишний в месяце день бывает не так уж часто,
Немного ещё — и сирень, прочь негатив напрасный.
Всё так, но похоже, что, невыученным уроком,
упавшее в снег пальто Пушкина… Стало роком.
У ненависти всегда тактически больше смысла,
а из любви, в города — только поэзия вышла…
Она — нелепа, смешна, гонима с эмпатией вместе,
им нежным не совладать с потоком вражды и мести.
Но так будет не всегда — подробней об этом у Эко,
порой високосны года, но нет високосного века

Осознание внутреннего палиндрома

Високосная книга на втором языке
выдаётся к веригам, чтобы жить налегке,
чтобы верить прошедшим, ослепившим снегам,
ритм всегда сумасшедший, и во всём пополам.
Поколения бывших, из советских времён,
кроме жести одышки, водрузили на трон,
несуразно и рыхло, записного лжеца,
и боятся, что вспыхнув, не увидят конца.
Молниеносно и рвано, уходя из-под ног,
как зажившая рана, тормозит эпилог.
Будет новая проза в клочьях старых стихов,
прозвучала угроза не пришедших богов,
и к чему обстоятельств завитых канитель,
если сонм обязательств заглушает постель.
Гравитация станет понемногу другой —
сход лавин в Пакистане, и в Рейкьявике зной.
По традиции грянет тот решительный бой,
по какому предъявят, и отпустят домой.
Только дом переехал, изменился язык,
передвинута веха, улетел материк.
И становится ясно, что с возникшим плато
разговоры напрасны, и совсем не о том

* * *

Это было так давно,
что уже не важно,
кто-то выглянул в окно,
мельком и вальяжно.
На афишах всех кино,
образ её влажный.
И стучали в домино
во дворах пассажных.

Заседало гороно,
в парках — толпы граждан,
киевлянки с эскимо
утоляли жажду.
Словно в цирке шапито…
…С ним прощался каждый…
Через сорок лет… Восток…
«…Ведь был солдат бумажным»

* * *

«A sip of wine, a cigarette,
And then it's time to go…»
L. Cohen

Мессинг боялся замкнутых пространств.
Он ведал нечто надиктованное свыше.
В застрявшем лифте — узкий лаз на крыше,
надежда, не сулящая прикрас.
Из комнаты велел не выходить,
Нобелиант, всемирно повсеместный,
несоответствие морали неуместно,
в марте двадцатого, однако, с этом жить.
И Коэн, прежде чем покинуть китченет,
вина хлебнул, «Marlboro Lights» затяжку сделал,
и вышел исключительно по делу,
с тех пор не возвращаясь столько лет.
В ограничении присутствует посыл,
о том, что будущее видится иначе,
как с этим жить, и что всё это значит,
спросить бы Мессинга, но след его простыл.

Эклога

Однажды с греческой турчанкой мы говорили об эклогах,
в её прононсе англичанки я почерпнул довольно много.
И диалог имевший место в моей студенческой каморке,
где и вино было уместно, и мимо текста оговорки.
Она была брюнеткой жгучей, а я недавним иммигрантом,
не верившим в счастливый случай и репарации Антанты…
Ей столь не мил был Старший Плиний,
всё низводивший к пасторали,
что я её загарных линий коснулся вдруг, и мир едва ли
качнувшись вправо или влево, мимо Камоэнса с Рибейру,
отправил нас ещё несмело под облака благоговейно.
Всё это почему-то длилось, я становился киприотом,
она же русскому училась, и не было у нас заботы,
кроме одной — из де Миранды я знал, что будет Сумароков,
а ей советской пропаганды не доставало на уроках…
Она хотела убедиться, что всё уже не так в Союзе,
порой разыгрывая в лицах эклоги радужных иллюзий.
Ей мой настрой республиканский, в антисоветчине погрязший…
Однажды, в предпоследнем трансе, мы согласились, что увядшим…
Стал диалог… И слишком сложным. Она считала себя падшей,
Прокрустовым — скрипящим ложе, к тому же я был на год младше.
Мы с нею весело расстались, бывает так на третьем курсе,
при встречах жарко обнимались в стиле Антониу да Круза.
И как-то раз с другой подругой, что станет бывшею женою,
мы шли парижскою округой, вовсю увлечены собою.
Окликнув из кафе напротив, смеясь, турецкая гречанка
цитатой из Варрона бросив, накрыла нас словно из танка.
Тот вечер был незабываем, пусть даже слишком предсказуем
и нынче вспомнился за чаем, эклоги явно не минуя.

Неспешность-Неведение-Подлинность

С собакой не выйдешь на улицу,
в доме кошачий мир,
чего там — шагать, сутулиться,
как делал французский сатир.
Он прежде в Чехословакии
оттачивал ремесло,
и вывез словесную магию
на запад, юг и восток.
Предвижу вопрос о севере,
да только — не в этом суть.
Нынче не пишут перьями,
и с улицы не свернуть.
В этой начальной стадии
пока ещё нет патрулей,
но предсказать исчадие
не смог ни один книгочей.
И если налог на дыхание
одобрит избранный сброд,
все дерзкие начинания
рассыплются у ворот.
И станет не до бессонницы,
отменят выгул собак,
а там до карающей конницы
уже не миг и не шаг.
И потому зачитываясь
Кундерой допоздна,
и не теряя бдительность,
бокал осушив до дна,
кошку погладив размеренно,
в наставшие времена
выйти за дверь уверенно,
как из плохого сна.

Памяти Василя Дробота…

В городе становится безлюдно
в рифмах — отчуждение печали,
словно в горизонт уходит судно,
в путь, к известной, самой дальней дали.

Ясно помню вечер в прошлом веке,
я был в нашем городе случайно,
как он в незнакомом человеке
разглядел вселенское отчаяние,
и сказал, не сомневаясь вовсе —
а прочтите нам свои стихи со сцены…
Я мгновенно перестал быть гостем,
приглашение читать стало бесценным.

И потом, при каждом возвращенье,
набирая телефон поэта,
наставлял себя при обращении,
соответствовать, и быть во вне сюжета.
Он считал, что отчеств и регалий
не бывает в стихотворном цехе,
я привык, но всякий раз едва ли
панибратствовать не мог при человеке,
говорившем с птицами и Богом
уважительно, но не подобострастно,
о любви, сомнениях, о многом,
что казалось в строках не напрасным.

Летом, перед Крымом и войною,
с мостовой Андреевского Спуска,[1]
я поднялся, совладав с жарою,
выпить кофе с ним на Институтской…[2]
Замечая всех прекрасных киевлянок,
не особо отягчённых одеяньем,
он сказал — не строй с приездом планов —
здесь зимой случатся злодеянья…

Я привык к его метафорам и слову,
но пророчеством, видать, был озадачен.
Он промолвил — всё здесь будет по-другому…
Я впервые увидал — учитель плачет…

Вновь приехал осенью военной,..
Украина второй год сопротивлялась,
а на Институтской — пули в стенах…
Но поэзия тогда ещё случалась…
Мы читали с ним в библиотеке
улицы Костёла и футбола,[3]
в повзрослевшем и недобром веке,
в колокольном звоне рок-н-ролла.

Как поэт, он был вне времени и моды,
вопреки литературных премий,
брал себя взаймы у ритмов года,
где заведовал метелью и капелью.
А в последний раз мы повидались,
после чтений на Красноармейской[4]
в сентябре 17-го остались…
Его рифмы и печали чудо-действа…

Через океан по телефону,
мы порой — стихи по-украински…
Он болел, я ремеслом был перемолот,
Украиной торговали в Минске…
И вот в этом, чуждом високосном,
совладав с зимой и пандемией,
он писал стихи, светло и просто
языком, потерянным Россией…
Только в городе становится безлюдно,
и морозно, посреди июня…
Как печаль ухода беспробудна,
безутешна, в после-полнолунье…

[1] Легендарная киевская улица на которой происходили события романа Михаила Булгакова «Белая Гвардия», и на которой сейчас находится дом-музей писателя.

[2] Улица в историческом центре Киева, где в прежние времена находился Институт благородных девиц, в советское время — Октябрьский дворец, и где зимой 2013–14 гг. происходили события, связанные с Майданом. Участок улицы, где от пуль пророссийских снайперов погибли восставшие киевляне, переименована в «Улицу Небесной сотни».

[3,4] Киевская улица, известная до большевистского переворота как Большая Васильковская, в советское время — Красноармейская. Нынче, снова — Большая Васильковская. На улице находится знаменитый стадион, прославивший футбольный клуб «Динамо Киев». Стадион поменял множество названий: от одиозного «им. Хрущёва», до «Центрального» и «Республиканского». В настоящее время, странным образом, называется «Олимпийским», так как там проходили некоторые матчи футбольного турнира печально известной Олимпиады-80. На этой же улице находится Библиотека им. Панча, в которой неоднократно читал стихи замечательный киевский поэт Васыль Леонидович Дробот.

ОБ АВТОРЕ

Гари Лайт *родился в Киеве в 1967 году. С 1980 года живёт в Соединённых Штатах Америки. По профессии — адвокат.*

В 1998 году Гари Лайт был принят в Союз писателей Москвы. В 2015 году принят в Союз писателей Украины. Состоит в ПЕН-клубе. Творческие вечера с участием автора проходят по обе стороны Атлантического океана.

В Киеве, Нью-Йорке, Филадельфии, Санкт-Петербурге и Москве в различных издательствах вышло несколько поэтических книг автора.

Публиковался в литературной периодике: «Иерусалимский Журнал» (Иерусалим), «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Времена» (Нью-Йорк), «Крещатик» (Германия), «Кольцо А» (Москва), «Literarus» (Финляндия), «Млечный Путь» (Иерусалим), «Радуга» (Киев), «Ренессанс» (Киев), «Этажи» (Бостон), «Новый Свет» (Торонто), «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Эмигрантская Лира» (Бельгия), «Побережье» и «Встречи» (Филадельфия), «Панорама» (Лос-Анджелес), в русскоязычной периодике Чикаго и Флориды, а также на сайтах «45-я Параллель», «Гостиная» и других сетевых ресурсах.

Участник антологий «Строфы Века-2» и «Киев. Русская поэзия. XX век».

Лауреат Премии Союза Писателей Украины им. Ушакова (2018) за сборник стихов «Траектории Возвращений».

Недавно увидел свет сборник его стихов, написанных по-английски: Confluences (Bagriy & Co., Chicago, 2020). Книга продаётся на Amazon'е.

Анна АГНИЧ

ТРИ РАССКАЗА

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ

Роман Ефимович, гвардии подполковник в отставке, вытащил из кустов стремянку, приставил к окну второго этажа, огляделся — не смотрит ли кто, и полез наверх. На всё про всё у него минут сорок: пока жена жарит котлеты, она из кухни не выйдет.

Закончил с одним окном, переставил лестницу к другому. Всё, пора сворачиваться. Глянул на часы — чувство времени не подвело: тридцать девять минут, ноль-восемь секунд. Ещё десяток погожих дней, и все подоконники станут как новые. Домашние не заметят, у них глаз не настроен на эти вещи, а дерево не будет гнить.

Вот вам и семьдесят восемь лет, вот вам и «не лазь, папа, не рискуй»! За шесть лет в Америке вон как детям дом в порядок привёл — потихоньку, не спеша, чтобы этот, как его, кардиостимулятор поспевал.

В тринадцать ноль-ноль Роман встречает жёлтый школьный автобус. Внучки бросают рюкзачки на асфальт и гоняют с соседкиными детьми в пятнашки. Младшая становится на рюкзак и кричит: «Nobabysitting! Nobabysitting!» А, понятно, это у них вместо нашего «за одним не гонка, человек не пятитонка».

Пятитонка, полуторка… угловатый зелёный грузовичок… где Роман его недавно видел? А, да, сегодняшний сон! Пыльная сумеречная площадь, он стоит с отцом, что-то важное хочет то ли сказать, то ли услышать. Подъезжает грузовик: дощатые борта, в кузове солдаты — круглолицые, румяные. Отец запрыгивает через борт, Роман ещё удивился, как легко у него получилось. Отцовский тулуп на глазах превращается в солдатскую форму первой мировой войны. Почему первой — он же воевал на второй? Грузовик отъезжает, среди румяных солдат выделяется старое лицо отца. Но вот оно разглаживается,

розовеет, вот уже неотличимо от других. Так Роман и не успел то ли услышать, то ли сказать что-то важное, теперь уже не узнать что.

Он приводит внучек домой и сдаёт жене, а сам принимается за дела. По четвергам уборка в гараже — у него всё по расписанию, тридцать лет на гражданке не изменили привычек. На цементном полу свалены картонные коробки, их надо разломать и связать в пачки — пойдут в макулатуру. Четыре банки клюквенного сока: видно, сын привёз и бросил где пришлось. Три банки Роман ставит в шкафчик, а одну несёт в подвал, в свой чулан.

Здесь идеальный порядок: на нижних полках соки и вода, над ними в герметичных контейнерах крупы, мука и орехи — перед тем как запечатать, он их держит в морозилке, чтоб не завёлся жучок. Два ящика свечей, три сотни банок консервов — даты надписаны, он регулярно освежает запасы. Если вдруг что, семье хватит перезимовать, ещё и соседей поддержать от щедрот. Народ здесь не пуганый, не запасливый, жареный петух в одно место не клевал. Тут никто в жизни не видел пустых магазинов. А если ураган дороги размоет? Или электричество вырубится надолго, месяца эдак на два? Бензина на заправке, и того не нальют — сиди, кукуй: ближний магазин в пяти километрах.

Надо вырыть погреб во дворе, горючего для генератора запасти в запечатанных канистрах — но это потом, первым делом дровяная печь. В доме отопление газовое, а без тока не работает — это ж надо, не предусмотреть ручного режима! Ну и что, что вся Америка так живёт? Если все дурни губошлепые, так и самому туда же?

Печку поставить в подвале простую, железную, обложить камнями — чтоб набирали тепло и отдавали постепенно. Когда к морю семьёй ездят по выходным, Роман прихватывает домой пару-тройку гладких булыжников — уже целая горка за кустами. Дрова тоже запасает постепенно: участок лесистый, веток падает много, весной здоровенный клён ветром свалило. Попилил, поколол — с полкуба добавил в поленницу за сараем, под самодельную крышу.

Приехали с работы дети. Роман выходит, осматривает машины: не спустило ли колесо, нет ли царапины — в автомагазине краска продаётся точно в тон. За ужином, когда все наелись маминых котлет и пришли в хорошее настроение, он в который раз заговаривает о печке. Дети переглядываются, вздыхают. Невестка говорит:

— Папа, мы решили пока ничего не делать. Не потянем: страховка вырастет, налоги тоже. Давайте отложим разговор на пару лет?

С невесткой Роман не спорит. На сына может прикрикнуть, а на неё никогда. Тихая вежливая женщина с белыми нежными руками и маленькими, трогательно пухлыми ступнями, она всегда смотрит ласково, говорит спокойно. Устаёт, бедняжка, не высыпается, на работу выезжает в шесть утра. В школе американских обалдуев учить — тут не только устанешь, тут с ума сойдёшь. И платят мало. Но ей важно делать живое дело, а не в корпорации деньги грести. Это Роману понятно, сам такой.

Перед сном они с женой выходят погулять. Небо ясное, звёзды крупные. Возле перекрёстка Роман обхватывает жену за плечи, и ведёт дальше обняв, потому что здесь она обычно вспоминает, что хочет увидеть падающую звезду, и перестаёт смотреть под ноги.

Потом, когда засыпают все дети, и маленькие, и взрослые, он ходит по детской половине дома, гасит свет в ванной и коридоре. Проверяет подвал — так и есть, лампы горят: видно, сын спускался за чем-то.

Под утро ему снится сон. Этот сон ему часто снится, но почему-то всегда забывается. Другие помнятся, а этот нет. Заснеженные маскировочные пригорки раскалываются надвое, расходятся в стороны. Откидываются массивные крышки ракетных шахт. Откуда-то сверху, из космоса, что ли, Роман видит в широких воронках округлые рыла боеголовок. Одна шахта пуста — нет, не может быть… Сердце даёт перебой — где ракета? Как она могла исчезнуть?! Это конец, это позор, это расстрел… Уже внизу, под землёй, в командном модуле, он орёт на дежурного майора, орёт страшно, так что чуть не лопается голова, но из горла выходит только сип.

Роман дёргается, стонет, и жена, почти не просыпаясь, дует ему на лоб — так она дула на детские лбы, когда сыновьям снились кошмары. Роман успокаивается, сон меняется: все ракеты на месте, в идеальном порядке, готовые к пуску. Вздрагивает земля, из желтоватого дыма, опираясь на короткие огненные столбы, взлетают баллистические ракеты и скрываются в тёмном небе, как постепенно гаснущие звёзды.

От вверенной Роману базы через Северный полюс до США им лететь двадцать минут сорок секунд. Ну и бабахнет там сейчас! Электричество точно вырубится. Ничего, за двадцать минут он успеет поставить детям печку. Дрова есть, зиму перезимуем, а там видно будет. И он улыбается во сне.

НАТЮРМОРТ С СЕЛЁДКОЙ И БЕЗ

1. НАТЮРМОРТ С СЕЛЁДКОЙ

Я поднимаюсь по лестнице, останавливаясь каждые пять ступеней. Дыхание сбивается, ноги не идут, но я тороплюсь, тороплюсь я очень и весьма, потому что вижу, как это будет. Блеск бутылки и блеск селёдочной кожи отразятся друг в друге, и газета будет слегка затенять их, обнимая и прикрывая селёдку — топорщиться будет смятая газета, для неё закон тяготения будет не писан. И алая клеёнка их будет подсвечивать снизу кармином.

Селёдка должна лежать так, чтобы хвост касался бутылки, бутылкиного белого стекла он будет касаться и, как бы прилипнув к нему, задираться слегка, чтобы хотелось поправить, нестерпимо чтобы хотелось поправить этот хвост.

Эх, мне поправиться бы самому, немного мне бы, чуть-чуть — много нельзя, потому что водка должна быть в бутылке выше этикетки на палец. Я уважаю своё ремесло и водку водою не подменю. Халтурщик налил бы воду, но она иначе преломляет свет, и пусть никто не заметит подмены, но я-то знаю.

Рука дрожит, и ключ не попадает в скважину, вся скважина исцарапана, исчерчена-покарябана моим непопадающим ключом. Стопарика хватит, чтобы поправиться, а больше нельзя, потому что водка не может быть ниже этикетки, это сломает всю композицию, уже живую в моей голове. Да, выше на палец. Ну, на полпальца — меньше никак.

Мои ботинки в рыжей глине, рыжая глина на потёртой коже ботинок, взгляд прилипает к ней, вязнет в рыжей вязкости, но это я напишу потом — а сейчас я развязываю шнурки, с трудом развязываю, потому что руки мои дрожат, и стаскиваю мокрые ботинки, и ставлю на газету. Я надеваю тёплые войлочные тапки, иду на кухню и открываю бутылку — и наливаю, и выпиваю, и занюхиваю хлебом. И выпиваю ещё, но больше нельзя, и я останавливаю себя. Я выбрасываю крышечку, не нужна мне блестящая крышечка, а нужна белая тряпица. Туго сворачиваю я её, в крепкий рулончик скручиваю и затыкаю бутылку.

Руки мои не дрожат, нет, уже не дрожат мои руки. Я ставлю бутылку на красную клеёнку и кладу селёдку в газете так, как задумал ещё

в магазине, где мой глаз притянул влажный блеск селёдочной кожи. Ещё тогда, в магазине, я знал, что реальность преподнесёт сюрприз, я знал — и так оно и выходит. Синяя кухонная стена наносит удар, блики на селёдочной коже и на стекле бутылки отчаянно сини, много синее, чем я задумал, но я не завешиваю стену простынёю, нет. Хотя мог бы. Я принимаю удар, и открываюсь ему, и радуюсь.

И я пишу, и всё выходит как надо, потому что мастерства не пропьёшь. И когда всё закончено, я наливаю водку в стакан и смотрю на свою работу, и закусываю селёдкой — и мне хорошо.

2. ВОЙЛОЧНЫЕ ТАПКИ

Не зря я мёрз на рынке, как зад без портков, как лысина без шапки, как сторож без тулупа. Продал я натюрморт с селёдкой, за бесценок отдал одалиску с голубой сияющей кожей, увёз её иностранец — англичанин или немец. Или вообще француз. Будет смотреть на томную мою селёдку, на мощную бутылку будет пялиться у себя в заграницах, на наш колорит. У них своего колорита нет, везут отсюда: у нас-то полно. Как грязи. Как нефти. Как бомжей.

Не зря я на рынке мёрз, как цыган на льдине, — денег на всё хватило, на всё, чего душа пожелала. Хлеб я купил, водку, селёдку, убиенную курицу и банку мармелада из мандариновых шкур. Снял в прихожей ботинки, а селёдку в пакете за форточку вывесил, на Новый год заначил, чтобы не вышло, как в прошлый раз: праздник, а закусить нечем. Вывесил я её, красавицу, на мороз и стал искать тапки. Войлочные тапки, из тёплого серого войлока, потому что в носках на линолеуме холодно. Не было их ни под вешалкой, где у них стойло, ни у дивана, где смятая постель, ни под шкафом, где пустые бутылки, ни под кухонным столом, где дохлый таракан. Как сквозь линолеум провалились к нижнему соседу. Я бы шлёпанцы жены надел, когда б она была женщина крупная, в теле, со складками на боках, с гулким голосом и большими ногами, но нет у меня жены — ни крупной, ни мелкой, ни с боками, ни без.

Сел я по-турецки на табурет, ноги поджал, хлеба отрезал и курице ногу отломил. Предпоследнюю ногу мёртвой курице отломил и бутылку откупорил. Масла бы на хлеб, но тогда никаких денег не хватит. Масло дорого, а краски масляные того дороже — хоть акрилом пиши.

Но я не готов, я пока ещё гордый, акрилом брезгую: в нём прозрачности масляной нет. На мои холсты много масла идёт, я слоями краску кладу. А вот холста полно, его я с лучших времён запас — холста в загашнике завались, было бы масло.

Прошла неделя, может две — стало в доме пованивать. По духу я пошёл, за носом своим пошёл, как собака по следу, — и нашёл пакет на кухонном окне. За занавеской он лежал на подоконнике, в аккурат над батареей, а в нём селёдка тухлая, разложившийся селедкин труп. Опустил я его в мусоропровод с искренней скорбью — пусть пируют тараканы, могильные черви наших продуктов, — и достал свёрток из-за форточки: что же в нём? неужто селёдка раздвоилась? А там... там тапки войлочные, заиндевевшие. Положил я их на батарею оттаивать, сел с ногами на табурет и сижу, опечаленный, сижу и скорблю. И сделалось мне видение.

Ясно, подробно, как у малых голландцев, вижу: музей, паркет, экскурсовод — женщина крупная, кудри рыжие, — а лица не вижу, отвернула она лицо. Люди толпятся, шеи тянут, картина лазером охраняется. Женщина гудит гулким голосом то ли по-немецки, то ли по-французски и тычет в картину рукой.

А на картине той, на натюрморте, бутылка стоит, как мощный дуб, как эвкалипт, как кинетический момент. И вижу я: картина мною писана, руку-то я сразу признал. Водка чуть выше этикетки, газета презирает тяготение, а на ней, на газете — тапки войлочные вальяжно, как толстяки в парной, как тюлени на лежбище. И подпись: «Я. Сирота». Моя, стало быть, подпись.

3. БЛУДНЫЙ СЫН

Как я упал? Да как все падают — оступился. На лесах стоял, на верхотуре, ангелочков крыл, золотом крыл им крылья. Полюбоваться шагнул назад, беспечно шагнул, не сторожась, не озираясь, будто сам я ангел невесомый, безгрешный, крылатый — и пал с лесов на мраморный пол. Вот тебе и ангелочки.

Лоб разбил, бок ушиб, руку сломал. Сломал я правую руку в двух местах, вот беда так беда. Хирург мужик понимающий попался — сказал утешительно, белую руку свою длиннопалую на мой гипс положил и сказал: пока правая срастётся, надо учиться писать левой. Она, мол,

меня ещё поразит, левая, она вроде как с другим полушарием в мозгу связана. Люди, сказал хирург, находят нового себя, сменив руку. Ну, спасибочки на утешении, только я себя сорок лет как уже нашёл. Новый я мне вроде как ни к чему.

Прав был ушлый хирург, ох как прав: поразила меня моя левая, поразила, но не обрадовала. Она, гадина, не то чтобы вовсе писать не умела, нет, умела она, хоть и медленно. Она, гадюка подколодная, иначе писала — как не моя.

Я художник честный, себя уважаю — как вижу, так пишу. Когда правой рукой работаю, свет и тень вижу кусками, смачными такими блямбами, увесистыми ломтями, как добрая хозяйка режет хлеб и масло толсто на хлеб намазывает. Краску я кладу грубо, объёмно, мои полотна можно пальцами читать, как шрифт для слепых. Мой способ видеть, он со мною рос, он — это я. А вот поди ж ты. Лучше б я не пытался левой писать, лучше б я не знал, как легко себя, родимого, потерять.

Левая вела точную линию, клала верную тень, соблюдала пропорции — ну чисто тебе фотография. Что на сетчатке, то и на холсте, — передвижник какой-то, а не я. Мучился я неделю, а может две. Кучу холстов перепортил, в угол побросал, в мусорный мешок.

Одно хорошо: левая масла много не брала, тонко писала — не жалко выкидывать. Посмотрел я на это дело, подумал — и вовсе масла ей не стал давать. Дал ей уголь и бумагу, пусть тешится. К тому времени она поднаторела, обнаглела, скорость набрала, и ну выписывать, как водяная змея в пруду. Обрадовалась. Да и мне, честно сказать, реалистический этот разврат как-то легче в черно-белом виде перенести.

Набацала она натюрмортов, автопортретов, видов из окна, облаков в небе, зонтов на улице — по самое не хочу. Собрал я листы и потащил в галерею, к галерейщице знакомой потащил я их, как на мусорник. Ну и что? Вышло, как я думал. Как я думал, ровнёхонько так и вышло. Приняла галерейщица рисунки, все взяла, ещё и разохалась: ах, верная линия! Ах, передача фактуры! Ах, зря вы, Яков, столько лет с маслом потеряли, вы прирождённый график. Несите ещё!

Ничего не сказал я, ничего не сказал на это, повернулся и ушёл в печали и скорби. Была б она мужиком, дал бы в морду — и всё понятно, — а так, что говорить? Праворукие гениальные работы мои она не брала, а этого гладкописцапустоглазого взяла на ура.

Ну вот, прошла неделя. Или две. Зашёл я в галерею, огреб денег, накупил масла, какого только захотел, и жду. Завтра снимут гипс, завтра

я стану собой, непризнанным гениальным собой стану я, вернусь к себе, как блудный сын, — и буду беден и счастлив.

Вот только мучит меня одна мысль, сверлит мозг, кишки на кулак наматывает — что если левая рука ни при чём? Что если от удара о мраморный пол выпал я из себя, как горох из стручка, — и никогда не вернусь обратно? Да нет же, полная чушь, это я трушу, трушу и боюсь. Никогда ни по кому в жизни так не скучал, как по праворукому себе.

Блудный сын воротился — и я ворочусь. Завтра, завтра к полудню я стану собой, помяните моё слово!

МОЙРЫ

Вечером пришли три старухи — мамины здешние подруги. Я подаю чай и фрукты — никакого русского стола, никаких пирожных, все на диете. Мама называет подруг «три мойвы» за худобу и невыразительность. Три древнегреческие рыбы: одна прядёт, другая читает, третья обрывает нить.

Муж мой не выходит из кабинета, сидит один, протестует против нашей конспирации. Он убеждён, что все имеют право всё знать. Вовсе обамериканился! Пусть своим больным режет правду — так тут принято. А у нас стараются близких оберегать.

Три мойры зашли послушать мою сестру из Израиля. Сдержанно задают вопросы — все они бывшее петербурженки, говорят тихо, сидят с прямой спиной. Сестра среди них — как варвар среди римлянок, голос у неё хрипловатый и зычный, для больших пространств. Я бывала в Москве на её лекциях — в большой аудитории в последнем ряду достаёт до кишок, даже если залезть под стол. От голоса моей сестры у одной старухи начинает пищать слуховой аппарат, она отворачивается и деликатно крутит пальцем в ухе — регулирует громкость.

Сестра давно уехала из Питера. Сначала Москва, потом Израиль — эти места не способствуют сохранению манер. Вон как разошлась: раскраснелась, жестикулирует одной рукой с обкусанными ногтями. Снова, значит, грызёт ногти, как в детстве. Другая рука у неё занята — держит мамины пальцы. Если отпустит, пальцы начинают беспокоиться, шарить по ручке кресла, пока сестра не уймёт их ладонью. «Девочка моя», говорит мама, и всем понятно, кого она зовёт. Я для неё сейчас не существую: я-то рядом всё время, а сестра раз в пять лет.

Ухожу в кухню, курю под вытяжкой. Выглядываю, даю сестре глазами знак, что готова взять беседу на себя, дать ей передохнуть. Она отвечает глазами: «всё в порядке, продержусь». Закуриваю третью сигарету. Сестра говорит и говорит, в кухне только её голос и слышен:

— Я двадцать лет назад в Израиль приехала, и мне так повезло, так повезло — вообще трудностей адаптации не почувствовала! Война как раз была, девяносто второй год, приняла нас одна семья: у них пятеро детей да моя Татка шестая. Сидим в запечатанной комнате на случай газовой атаки, детям душно и скучно, мне их жаль. Ну, соорудила я кукольный театр: куколок из носков сделала, глазки пришила — самой понравилось. Я ж на иврите не знала ни слова, а с куклами не нужен язык. Мы так хохотали — и дети, и взрослые!

Меня тут же взяли в детский сад работать, к самым младшим. Принесёт мамаша такую кроху двух-трёх месяцев от роду, забежит покормить раз или два в день — у неё же других детей полно, да ещё и работа. В нашем посёлке многие мужчины на работу не ходят, только учатся, сидят над книгами круглые сутки. Ночью мимо ешивы идёшь — гул от голосов, как водопад Ниагара. Я когда в прошлый раз в Америке была, нас возили на Ниагару, вот такой точно гул. Помнишь, мама?

О чём это я? Ах да, самых маленьких ношу весь день на руках, им так лучше: положит головку на плечо и глазеет. А в манежике что? В манежике плакал бы. Спина? Ну, болит, конечно, мне уж и по возрасту положено. На доске ночь посплю, утром как новенькая. Малыши подрастают, в другую группу идут, а я скучаю, заглядываю, как они там. У нас в детском саду двери с окошками, удобно устроено.

Нет, о прежней жизни не тоскую, а зачем? В Питере и Москве было одно, в Израиле другое. Вон мама хранит мою диссертацию — и не лень же было через океан тащить! Я на днях полистала, думала, как нырну сейчас в прежний мир — нет, не нырнула, даже не окунулась. И зачем столько здоровья угрохала? Наука — интересная игра, но ведь игра, не настоящая жизнь. Сейчас? О да, сейчас настоящая, плотная, густая — настоящее некуда.

О чём это я? Ах да, отчего женщины в ешивах не учатся? Ведь люди разные, в какой-то паре муж к учёбе способнее, в какой-то жена.

Нет, у раввина не спрашивала, не хожу я к раввину. Кошерность, какую в её доме держать нужно, мне Татка объяснит, а к раввину зачем? Я ведь в Бога не верю. Не могу я верить, когда он с людьми так жесток. Ну ладно, об этом без меня поговорено и понаписано. Татка?

О да, она-то всерьёз — и молится, и всё. Как мы приехали, она захотела в религиозную школу, да так уж и пошло. Зато четыре внука, пусть будут здоровы. Детки способные, старшему, Авигдору, пять лет, он уже читает. На иврите, конечно.

Спрашивают ли внуки? Конечно, они же видят, что я не молюсь. Поговорка такая есть: не знаешь, что соврать — скажи правду! Я им объясняю, что росла в другой стране, не научилась вовремя, а бабушки не умеют так хорошо учиться, как они.

О чём это я? Ах да, почему женщины не учатся. Я в журнале вычитала, это потому, что они уже всё знают. Нам от природы полная мера знания дана, а мужчинам не дана, им приходится совершенствоваться. Правда, занятное объяснение?

Зять-то? Зять золотой: и работает, и в ешиве, и с детьми старается побыть. Начнёт с ними играть, прямо на полу и уснёт. Младшие ползают, теребят его, хоть так с папкой побудут. И, знаете, смотрю я на дочь — а ведь она счастлива. Я же вижу. В семье любовь… и ещё, знаете, они оба стараются жить по тем же правилам, они на одной волне — а это ох как много! Слова дурного ни о ком не скажут, не положено — разве это плохое ограничение?

Что, мамочка? Я тоже ни о ком не говорю дурно? Ну, может быть, может быть… Но это я не потому, что нельзя, а потому что… ну, не знаю.

Нравится ли мне Бостон? Пожалуй, да. Только холодно здесь. А так-то хорошо, работы много. Безработица? Ну, вроде все при деле. Что, не у всех работа хорошая? Но работа же!

Нет, насовсем не хочу. Так уж вышло: сестра в Америку, мама за нею, а я в Израиль, сложно было сюда в девяностые, долго. Почему раньше не уехала? А я науку свою очень любила — на втором месте она у меня была, сразу после Татки. Разве мог кто знать, какой кошмар случится с наукой?

Жили бы здесь — были бы другими людьми. Совсем другими. И ещё другими, если бы не уезжали вовсе. Ну… может, и так, может Татка всё равно была бы религиозной, а я работала бы в детском саду. Впрочем, нет, не верю я в судьбу! Да и какая разница, рассуждай не рассуждай, не бывает альтернативной истории в человеческой жизни. Это так, пустые разговоры от скуки.

Да, завтра самолёт. Ещё паковаться, мусорную машину в чемодан запихнуть. Дети обожают мусорные машины, особенно старший,

Авигдор, ему пять лет. Я, когда на второй смене, внуков в садик одеваю с утра. Так он услышит мусорку — бежит к окну и кричит: «Савта, савта, подними меня!». Савта — это бабушка по-нашему.

Ну мама, не надо плакать, всё же хорошо! Я приеду ещё лет через пять, а то и раньше. Не выдумывай, пожалуйста, доживёшь, отлично доживёшь. Ты точно так же говорила в прошлый раз — и что, дожила же?!

* * *

Три старухи желают моей сестре хорошо долететь и уходят одна за другой, с достоинством неся узкие тела, как судьи после вынесения приговора. Лица у них в самом деле немножко рыбьи.

Мама целует сестру на ночь, потом меня, потом ещё раз сестру и идёт в ванную комнату. Я набираю ванну, помогаю маме раздеться, включаю тонкой струёй горячую воду и ставлю таймер на полчаса. Она смотрит мне в переносицу, она всегда так делает, когда хочет выпытать правду. Я тогда не могу соврать — и в детстве так было, и сейчас.

— Она здорова? — спрашивает мама. — Анализы… в порядке?

Я киваю. Ей не приходит в голову спросить обо мне. Я благополучная дочь, со мной никогда не случается ничего плохого.

Сестра лежит в большой спальне поперёк кровати, смотрит в потолок. Когда она приезжает, я выселяю мужа в кабинет — это наша с сестрой неделя. Одна неделя раз в пять лет.

— На вот таблетку, — говорю я.

— Дай две.

— Ты уже две приняла сегодня. Наглотаешься, будешь как зомби.

— Ничего, мне один день продержаться. Слушай, устрой, чтобы мама не ехала в аэропорт. Скажи, твоя машина сломалась, мы на спортивной, а?

— Ты же её знаешь.

— Да, — соглашается сестра, — знаю. Она вызовет такси или пойдёт пешком.

Я беру её руку, разглядываю.

— Как ты ухитряешься грызть ногти, у тебя же на передних зубах коронки? Я пробовала — не выходит.

— А ты клыками, — сестра отнимает руку, садится и спрашивает, заглядывая в глаза, будто она младшая, а не я:

— Ну как, всё нормально? Мама ничего не заметила? Не спрашивала ничего?

— Спрашивала. Отчего ты скверно выглядишь и зачем так ужасно много говоришь.

— А ты что?

— А я сказала, это старость.

— А она что?

— А она сказала: «Побойся бога, какая старость? Девочке пятьдесят шесть лет!»

Мы с сестрой обнимаемся и сидим на кровати.

— Знаешь,— щекотно шепчет мне в ухо сестра,— я боюсь молчать. Боюсь, мама посмотрит и сразу догадается. Говорить куда как легче. Я просто переношусь на три года назад, будто не было того автобуса, не было взрыва, и рассказываю, как мы жили тогда. Так вхожу в образ, не хочется выходить.

— Я бы не смогла, я бы… — прикусываю язык, чуть не сорвалось, что на месте сестры я сошла бы с ума. Этого говорить не надо.

— Ты не понимаешь,— поднимает голову сестра. Она говорит медленно, с нажимом, глаза блестят, как от высокой температуры: — Ты не понимаешь! Когда я вот так о нашей жизни рассказываю, всё будто возвращается на три года назад. Пока я говорю, Татка будто снова жива. И дети. Потому что мама в это верит, понимаешь? Потому, что мама в это верит!

От её голоса звенит лампа. Сестра молчит, только дышит тяжело. Потом спрашивает:

— Но я же не прокололась, правда? Ну, когда ляпнула, что бог жесток?

— Нет, это ничего. Ты в другом прокололась. Ты дважды сказала, что Авигдору пять лет.

— Ой! — говорит сестра.— Да, конечно, ему сейчас было бы восемь.

Она трёт лоб знакомым жестом и от этого у меня колет в сердце. Я снова обнимаю её и держу крепко, будто она может исчезнуть.

— Да,— говорит сестра, осторожно разнимая мои руки,— я решила, куда потратить эти деньги — ну, ваш подарок. Треть зятю — ему невесту нашли: наша девочка, тоже питерская. А две трети в детский сад, на ремонт.

Игорь Курас

ПАМЯТИ АННЫ АГНИЧ



(1952—2019)

Самое невыносимое, самое надсадное, что мне приходилось делать в жизни, это писать об ушедшем друге. На похоронах, куда приходишь выполнить последнее, что требует от человека дружба — ты не один: ты вместе с другими скорбящими. Да и родные ушедшего — они тоже рядом, и их страдание больше твоего. Но вот проходит время, и ты остаёшься один на один с пустотой, оставленной тебе уходом друга. А потом решаешься написать о нём, и это невыносимое, надсадное дело поглощает тебя, изводит, мучает. Зачем это делать? Затем, видимо, что человеческая память хранит ушедшего, не даёт ему уйти окончательно. Там, в воспоминаниях — человек жив. И это желание хоть на время оживить друга — оно заставляет делать тебя невыносимое: писать о нём.

Сокращённая версия эссе Игоря Джерри Кураса «Анна Агнич. Послесловие после слов», опубликованного в журнале «Этажи» в феврале 2020 года.

Я познакомился с Анной Агнич на портале «Литсовет», где мы публиковали свои литературные опыты. Анна была одним из авторов, заинтересовавших меня своей прозой — и единственным, который заинтересовал настолько, что я обратился к ней с просьбой разрешить мне написать рецензию на какой-нибудь из её рассказов. Я написал рецензию «Две реальности художника Сироты» на рассказ «Натюрморт с селёдкой и без»; рецензия понравилась Анне и получила довольно большой читательский отклик. И где-то в апреле 2012 года мы все вместе вчетвером — две семейные пары — встретились в парке Уэллсли Колледжа, того самого университета, в котором когда-то преподавал Набоков. Через десять минут мы все перешли на «ты». Через двадцать минут мы впервые заговорили о клубе. О не существовавшем на тот момент клубе «Бостонские чтения», которому ещё только суждено было появиться.

Признаюсь, у меня были сомнения. Немного «покрутившись» в бостонских русских литературных кругах, я знал, какую непростую задачу берёт на себя Анна. Тогда я ещё недостаточно понимал деловой уровень и силу её человеческого обаяния, не знал и о том, какую колоссальную поддержку получит она от своей семьи.

Я не хочу сейчас писать историю «Бостонских чтений» (тем более, что моё участие в создании клуба закончилось на стадии обсуждений и дальше всё делала Аня с семьёй). Скажу только, что трудно себе представить более успешный проект. В городе появилось место, в котором было престижно выступить не только местному литератору, но и «заезжей знаменитости», где можно было посмотреть интересную выставку картин или фотографий, почитать новый текст и получить реакцию на него слушателей. Анне удалось создать общее пространство людей, объединённых любовью к слову.

Так распорядилась судьба, что открывал клуб я. И я (вместе с прекрасным поэтом Ритой Александрович) «закрывал» клуб, наше с Ритой выступление было последним вечером с «приглашёнными» авторами…

Самый последний вечер был Анин. На этом вечере она рассказала реальную историю нескольких еврейских семей, укрывавшихся от нацистов в украинских пещерах — уже зная, что не успеет о ней написать. Потом, по просьбам тех, кто не смог приехать на этот вечер, рассказ был повторён в другом помещении при полном аншлаге. Это

было последнее появление и последнее выступление Анны Агнич перед слушателям.

Было бы абсолютно несправедливо, говоря об Анне, написать только о клубе (хотя этого достаточно, чтобы никогда её не забыть). Аня была исключительным прозаиком. Ей удавалось создавать совершенно живые рассказы, в которых герои жили как бы уже своей жизнью. Анна хотела написать большой роман, но не успела.

Прекрасный писатель Анна Агнич была ещё и умным, терпеливым и вдумчивым читателем. Абсолютно все мои стихи, вся моя проза проходили «обкатку» обсуждениями с Аней, и я всегда удивлялся глубине её интерпретации, понимания и наблюдательности. Те советы, которые давала мне Аня, иначе как бесценными я не смогу назвать.

В последние полгода мы много говорили по телефону. Мы говорили о литературе, которой она служила всей своей душой. Пытались определить, что есть поэзия (совершенно невозможные попытки, но сами обсуждения этой темы были захватывающе интересны). Или вот обсуждали вопрос, чем отличается рассказ от повести. Аня хотела, чтобы я ей звонил, и её неизменное радостное «аллё», с ударением на обе гласные, было для меня счастьем. Аня попросила меня не говорить о её болезни. И мы не говорили, как будто болезни и не было. Но она была. Смерть, о которой не упоминалось ни разу, ждала где-то рядом. Это было понятно и непонятно одновременно. Это было неизбежно…

Когда Анна уже не могла разговаривать, мы переписывались короткими сообщениями. Последнее из них я получил за неделю до того, как её не стало.

* * *

Хоронили Аню на маленьком еврейском кладбище, в тихом северном городке Новой Англии. Проститься с ней пришли очень многие, для всех нас она стала родным и близким человеком, гостеприимной хозяйкой нашего клуба, писателем, просто другом.

После похорон в Анином доме тоже было много людей. Я всё время думал, что увижу её, так непривычно было в этом доме без Ани. Анны не было. В доме было много людей, но не было Анны. А стеклянные баночки с травами (Аня была садовницей, выращивала травы, кото-

рые добавлялись в чай) и их названиями, выведенными аккуратным шрифтом на самодельных этикетках, остались.

«Здесь всё меня переживёт», написала другая женщина с теми же инициалами А.А. Я вспоминал эти строчки, через слёзы разглядывая полку с баночками и Анину книжку «Девочка в окне», лежащую рядом.

«Может ли быть у жизни счастливый конец?» — эпиграф к одному из рассказов Анны. Кто знает, может быть самое важное в жизни, это когда человека переживает многое, что напоминает о нём после смерти, остаётся после него, живёт уже своей жизнью?

Я никогда, наверное, не узнаю ответ на этот вопрос.

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Созданные Анной Агнич «Бостонские чтения» её пережили — заседания клуба пока происходят виртуально, в Zoom'е (дань реалиям сегодняшнего дня), и привлекают десятки авторов и слушателей. Сейчас готовится задуманный Анной второй выпуск «Альманаха Бостонских чтений», с поэтическими переводами авторов клуба (первый выпуск, с авторскими стихами, был подготовлен Анной и вышел в 2016 году в издательстве M•Graphics Publishing).

Ольга КУЧКИНА

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Немногого прошу:
мне голос возвратить —
пусть шёпот, а не крик,
оставим крики Мунку,
гортань обожжена,
беззвучная жена
одолевает боль,
вытягиваясь в струнку,
и краску сняв с лица
и закусив губу,
всё ждёт, когда фа-соль-
ля-си внутри очнутся,
за всё благодарит
насмешницу-судьбу,
и знает, что ни с чем,
равно как и ни с кем,
что суждено,
ей в ней не разминуться.

* * *

Зима ещё лежала на земле,
перебинтованная белыми снегами,
народ привык к жестокой той зиме,
весна, казалось, за горами.
А между тем, листки календаря
исправно детская рука срывала,

сознанье населению даря,
что зимних дней осталось мало.
Апрель гляделся в зеркало небес,
пернатых занимались трели,
концерты птичьи слышались окрест
и обещали новые апрели.

* * *

Кому рассказать про сверканье алмазной воды,
про утренний кофе душистый на летней террасе,
мы здесь, как в кино, и реальности злые следы
за этим порогом остались на общей заезженной трассе.
Здесь рыбу к обеду из озера нам подают,
а по вечерам зажигают настольные свечи,
здесь, правда, киношный, почти нереальный уют,
что лечит от жизни, какая упорно калечит.
Лилово-багряные здесь бугенвилли царят,
балконы, и окна, и стены домов украшая,
я жадно вбираю все яркие краски подряд,
привычную блеклую серость в себе укрощая.
Я в церковь вхожу, гениальная роспись дрожит
в зрачке, увлажнённом счастливою и благодарной слезою,
здесь вечность для новых людей красоту сторожит,
и каждый ступает своею стезёю.
Кому рассказать?.. Друг за дружкой все молча ушли,
ушли, наделив небывалым глубоким сиротством,
но длимся, сколь можем, упрямые дети земли,
скреплённые вечным таинственным сходством.

Озеро Гарда, Италия

* * *

Моя собака умирала,
шерсть шёлком больше не блестела,
глаза, подёрнутые влагой,
мутнели прямо на глазах.
Моя собака умирала,
пыталась на ноги подняться,
но ничего не получалось.
Моя собака умирала.
Она так жалобно смотрела
и ничего не понимала,
а я, напротив, понимала,
но ей помочь была не в силах,
Моя собака умирала,
ей оставались жизни крохи,
и ничего не оставалось,
как перевозку вызывать.
Я приобнять её хотела,
но было поздно, поздно, поздно!..
Я бросилась стремглав из дома,
чтоб с перевозкой не встречаться.
По скверу голому, пустому
я малодушно ковыляла,
высчитывая тупо время,
когда мне можно в дом вернуться.
Не получилось. Просчиталась.
Столкнулась с малым в вестибюле.
Он нёс в руках большую сумку.
Лежала в ней моя собака.
Ещё соседи появились,
спросили громко: а где Чарли?..
Я закричала: Чарли в сумке!..
И побежала прочь, пустая.
Большое время миновало,
я не хочу об этом помнить,
но помню, помню, помню, помню,
как умерла моя собака…

* * *

Он попросил морошки перед тем, как уснуть,
и не просто уснуть — вечным сном уснуть.
Разрывало живот, разрывало грудь,
было больно ему, было трудно вздохнуть.
Он просил к нему не пускать жену,
потому что любил, а не то, что серчал.
Он мог с неба достать для неё луну.
Не сейчас. Сейчас, прикусив десну,
не стонал, не кричал, а лежал и молчал.
Он искал этой пули себе в живот,
а жена не причём, только повод — стреляться из-за жены,
было жалко её до слёз, и вот
были свечи все в комнатах зажжены.
И пошёл человек, и морошку принёс.
«Пусть Наташа покормит» — чуть слышно сказал.
И Наташа взошла, посмотрела в глаза
и стала кормить, как дитя, не скрывая слёз.
Жар как будто утих,
пот отёрла со лба,
руку сжал благодарно.
Окровавленный стих
вдруг пробился бездарно!
Он забыл его тотчас
и улыбнулся так странно…
Все, кто стоял поодаль, задержали дыхание —
происходило с жизнью великое расставание.

* * *

Забравшись на диван с ногами,
закутавшись в отцовский плед,
стихами, сказками и снами
спасаюсь от грядущих бед.
Бессмертье кончилось. Я знаю,
что ждёт меня в урочный час,
и будто бы запоминаю
всё прозапас, всё прозапас.
У лукоморья дуб зелёный…
и мокрое от слёз лицо,
знакомый лик в стекле вагонном.
а за оконцем озерцо,
подошвы в бархатной пыли,
белокипень родного сада,
оставленной одной вдали
собаки горькая надсада,
с мальчишками и лошадьми в ночном,
где травы розны и пёстры,
и запахи сильней, чем днём,
и звёзды ярче, чем костры,
и проба поцелуев первых,
и опыт тягостный измен,
весёлая игра на нервах
и жажда тайных перемен.
О, перемены, и какие,
таких никто от нас не ждал,
поступки, часто роковые,
их плач ночной сопровождал.
Другие звёзды в океане,
другие небо и вода,
и все в серебряном тумане,
и все, мой милый, навсегда.

* * *

Чаёвничали на летней веранде,
мама тогда ещё живая была,
по маминой по команде
Стеша яблочный торт испекла.
Пригласили на чаепитье
соседского мальчика по имени Витя,
а он и был победитель,
красив и спесив,
и он бухнулся на стул возле меня,
меня не спросив.
А я целое лето по нему сохла,
наблюдая за ним сквозь веранды цветные стёкла.
Мама же и папа, наблюдая за мной,
хотели узнать про наши отношения,
оттого и устроили это представление,
неужели не ясно, о Боже ты мой!
Он явился в парадных брюках
вместо драных шорт,
и совершенно случайно
я уронила на них яблочный торт,
а также по случаю невзначай
опрокинула на них свой чай.
Я сохла по нему всё лето, повторю,
а он на меня ноль внимания.
Всё вышло случайно, я же говорю,
я же не готовилась к этому заранее.
Он сидел, красный, как рак,
и вёл себя, как последний дурак,
а я спокойно, как ни в чём ни бывало,
счистить торт ему помогала.
Дятел сосну долбил,
я стешин торт хвалила.
В то лето он меня полюбил,
а я его разлюбила.

* * *

Когда я ночью жду её прихода…
Анна Ахматова

Она меня не навещает больше,
та гостья милая, что к Анне заходила,
в миры иные Анну уводила,
жизнь становилась слаще. Или горше.

Я ужин приготовила напрасно,
напрасно ставила вино и два бокала.
Теперь одна, безгласна и бесстрастна,
печать молчания уста сковала.

Глухая ночь. Бессонница. Ни звука.
Но вот, прислушавшись к чьему-то шагу,
подобью шелеста, шуршанья, стука,—
я придвигаю белую бумагу.

Мы пьём вино, мы плачем и хохочем,
в ней ничего от скучного педанта,
и как бы исподволь и как бы между прочим
час настаёт волшебного диктанта.

* * *

Я никогда не умирала прежде,
что это будет, мне не угадать,
не станет места даже призрачной надежде,
замкнёт уста секретная печать.
Как пересечь ужасную границу,
вслед за которой полное ничто?
Перевернув последнюю страницу,
уйти в небытие — а это что?
Померкнет свет.

Который? Тот иль этот?
Отпустит морок промелькнувших дней,
уйдёт секрет недлинного сюжета,
что, впрочем, сделает его длинней.
И отчего-то стыдно, холодея,
себя в гробу воображать,
собою больше не владея,
всем остальным принадлежать.

ОБ АВТОРЕ

Ольга Кучкина *— известный журналист, писатель. Многие годы работала обозревателем в газете «Комсомолольская правда».*

Выпустила более 25 книг. Автор нескольких пьес, которые шли на сценах театров России, США, Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии. Пьесы, стихи и проза публиковались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Континент», «Арион» и др.

Отмечена рядом литературных премий.

Постоянный автор журнала «Времена».

Нина КОСМАН

НОВЕЛЛЫ

ЁЛКА В ФЕВРАЛЕ, ИЛИ АТЕИЗМ В КОММУНИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Ух ты, у вас всё ещё стоит зажжённая рождественская ёлка! — говорит сантехник, вручая мне счёт за свой визит. Счёт высок. Слишком высок за недолгую работу, которая заключалась в починке моего котла (boiler) и которая заняла у него не более двадцати минут. Я обычно не соглашаюсь с его подсчётами. Обычно говорю что-то вроде «Несправедливо брать с меня 400 долларов за двадцать минут работы, даже если вам нужно было заменить какие-то старые части на новые!» И так далее. Я не страдаю от недостатка аргументов, от которых ничего не меняется и после которых мне всё равно приходится платить.

Но на этот раз всё идёт иначе.

— Для меня это не рождественская ёлка, — поправляю я его. — Для меня это новогодняя ёлка. Советский Союз, в котором я родилась, был атеистическим государством, поэтому религиозные символы были уничтожены. Включая Рождество, Хануку и т.д.

— Советский Союз? — переспрашивает сантехник. — Атеистическое государство?

— Атеизм в коммунистических странах — это обычное дело, вы разве не знаете? — говорю я само собой разумеющимся тоном, как будто этот упитанный сантехник, больше похожий на миллионера, чем на сантехника, обязан знать что-то об атеизме в коммунистических странах.

— Нет! — говорит он с чувством. — Я не знал.

— В СССР… — начинаю я, но он меня перебивает.

— СССР? (USSR) Соединённые Штаты России …?

— Нет, — говорю я, — «СССР» расшифровывается как «Союз Советских Социалистических Республик».

— Как интересно! — говорит он.

— Так вот, — говорю, — в СССР были уничтожены религиозные символы и упразднены религиозные праздники, включая Рождество, но так как люди очень любили рождественскую ёлку, решили не отбирать её у народа, оставили её, но под другим названием. Так она стала новогодней ёлкой и с тех пор ёлка связана с Новым годом, а не с Рождеством.

— Как интересно! — говорит сантехник. — Мне нравится, что у вас ещё стоит зажжённая ёлка. Тут темно, а ёлка поднимает настроение.

— Да, именно поэтому в ещё языческой Европе зажигали Yulelog во время зимнего солнцестояния, задолго до того, как его заменил христианский праздник, известный всем нам как Рождество. То есть, целью было осветить самое тёмное время года.

— Значит, Рождество — не о младенце Иисусе? — говорит сантехник, похожий на миллионера. — Значит, это что-то совсем другое?

— Я просто говорю о происхождении праздников света разных народов в самое тёмное время года, — говорю я, подписывая чек, не глядя на сумму, и вручая ему этот чек, неоправданно высокую плату за его работу.

— Замечательно! — говорит он, быстро убирая мой чек в бумажник. — Мне нравится, что у вас всё ещё стоит зажжённая ёлка в феврале!

Как только за ним закрывается дверь, я начинаю понимать, как он меня провёл, как ловко он отвлёк моё внимание от своего счёта к ёлке. Мои попытки заставить его понять историю за новогодней ёлкой настолько отвлекли меня, что я забыла о несправедливо высокой стоимости его посещения и просто подписала чек на указанную им сумму. Он выиграл, я проиграла. И, говорю я себе, то, что атеизм в коммунистических странах был обычным делом, не оправдывает ни мою наивность, ни его расчёт.

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Читая о чувстве невидимости, которое многие афроамериканцы испытывают в этом обществе, мне вспомнилось, что произошло на прошлой неделе. Мне пришлось ждать в очереди у входа в супермаркет — у большинства магазинов были такие очереди во время карантина, но теперь они остались только у немногих, включая наш. Так вот, я стояла в очереди, думая о чем-то своём, не замечая ничего вокруг, как вдруг, будто просыпаясь от глубокого сна, я услышала, что кто-то обращается ко мне. Я всё ещё была погружена в мир своих мыслей, но теперь я поняла, что чёрный мужчина, чья работа состояла в том, чтобы впускать покупателей в магазин, спрашивал меня: «Вы вместе?»

Должно быть, он меня спрашивал это во второй, третий или, может, даже четвёртый раз, и я до сих пор не ответила ему, потому что всё ещё не вышла из мира своих мыслей, я всё ещё была наполовину там и наполовину здесь, и его вопрос «Вы вместе?» в моём внутреннем мире ничего не значил. Только через полминуты я поняла, что его вопрос означал: «Вы вместе с каким-то человеком, который стоял перед вами и которому было разрешено войти? Если вы вместе с ним, вы тоже можете войти».

Наконец, я полностью вышла из мира своих мыслей и, возвращаясь в мир реальности, сказала: «Вместе? Нет, нет. Я не с ним». Сказав это, я снова вернулась в мир своих мыслей, но на этот раз я была уже не полностью в нём, и мне было слышно, что происходит вокруг. Афроамериканский мужчина сказал своему напарнику: «Не хочу больше здесь работать! Не могу больше! Хочу бросить эту работу!» Мне не было слышно, что говорит его напарник, но звучало это примерно как «Что случилось?», на что тот сказал: «Надоел расизм! Просто уж так надоел!»

Я продолжала стоять, ничего не говоря, и, поскольку я всё ещё частично пребывала в мире моих мыслей, я не сразу поняла, что это именно я, со своей привычкой пребывать в своём собственном мире, это я заставила его почувствовать свою невидимость для «белого мира», с той лишь разницей, что я не заметила и не услышала его по совсем другой причине. Я хотела сказать ему: «Извините, я не хотела вас игнорировать, у меня просто такая привычка иногда уходить так глубоко в свой внутренний мир, что я не слышу, что происходит во-

круг», но именно в этот момент мне и нескольким стоящим за мной было разрешено войти.

Пытаясь исправить свою ошибку, я спросила его: «Можно сейчас войти?», несмотря на то, что мне было абсолютно ясно, что я могу войти, и я спросила его только для того, чтобы показать ему, что я не игнорирую его, и что если ему показалось, что я сначала игнорировала его, это не имело никакого отношения к расизму.

Вот как получилось, что я заставила кого-то почувствовать себя невидимым, и потому что он был чёрным, а я белой (хотя, следуя примеру моих учеников, я предпочитаю слово «коричневый» слову «чёрный», и «персиковый» — слову «белый»), он подумал, что я расистка.

АД ДЛЯ ПОЭТОВ

Большинство поэтов не подозревают, что существует особый ад, предназначенный специально для них. Если бы кто-то из них узнал о существовании этого ада, то сразу бы перестал писать стихи, или же наоборот — возгордился бы, что, вон, мол, для нас поэтов специальный ад существует, я, мол, туда хочу, чтобы все знали, что я настоящий поэт. Почему поэты не знают о существовании этого особого ада, нам неизвестно; впрочем, это их дело. Нам лишь известно, что так или иначе они продолжают писать стихи в той форме, которой требует от них их век.

Чтобы угодить, так сказать, каждому, ад поэтов разделён на несколько под-адов: один для тех, кто пишет т.н. традиционные стихи с рифмой и размером; другой для тех, кто пишет белые стихи, с размером, но без рифмы, третий для тех, кто пишет верлибры. Не вдаваясь в малоприятные подробности, скажем, что третий под-ад сконструирован таким образом, чтобы плоть грешника горела на медленном огне во веки веков, и если вы полагаете, что «ад для поэтов» начинается лишь посмертно, как, например, слава или обычный ад, вы, многоуважаемые, глубоко ошибаетесь: начинается этот ад — назовём его «адок» в отличие от других видов — ещё при жизни, с окончания одного из тех поэтических семинаров (или «воркшопов»), где все пишут «тексты», не отличимые от множества других текстов, которые производятся только на этих семинарах и которые никто за пределами этих семинаров читать не будет, и как только эти кандидаты в ад

получают свою степень (MFA) по поэзии, вернее, по сочинению стихов, и начинают беспокоиться о публикациях, необходимых для получения должности преподавателя таких же поэтических семинаров, в которых они сами только что отсидели несколько лет, то появляется особый бес, назначенный поэтам — назовём его просто Бесом поэтов, хотя он известен и под другими именами.

Неподчинение Бесу поэтов бессмысленно, это сразу становится ясно каждому, за кем он приходит, и поэтому, когда он велит им следовать за собой, они сразу подчиняются его воле, и тогда он приводит их в лабиринт, который им кажется огромным дворцом с множеством комнат, и они тут же начинают бегать из комнаты в комнату, пока не начинают задыхаться и им приходится сесть, чтобы перевести дух. Так вот, в комнате, в которую они забегают для того, чтобы перевести дух, они встречаются с другими выпускниками семинаров, и как только они чуть отдохнут и начнут болтать о публикациях, премиях, выступлениях и получении преподавательских мест в различных университетах, угли под их скамьями начинают гореть, но так нежно и так медленно, что они понятия не имеют, что они уже в аду, и что будут они пребывать в этом аду, медленно поджариваясь на невидимых углях, до конца своей… нет, не жизни и не своей, а вечности.

СОЧИНЕНИЕ ПЬЕС И РАССКАЗОВ, КОТОРЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ И НЕ ПРИНЕСУТ НИКАКОГО ДОХОДА

В одной из моих групп у меня была ученица, которая, казалось, была влюблена в меня — точнее, не столько в меня, сколько в то, чем она с другими учениками занималась на моём уроке. Обычно мы читали короткие пьесы; каждый выбирал роль и читал реплики своего персонажа; и, когда мне казалось, что чтение пьесы по ролям достаточно разбудило воображение детей, я предлагала им написать свою пьесу. И эти девятилетние дети, многие из которых ни разу не были в театре, писали пьесы. Без каких-то ни было скучных лекций о структуре пьес, мои ученики писали миниатюрные пьесы, обычно о детях своего возраста, преодолевающих «проблемы» с родителями, с другим ребёнком или, если не было ни родителей, ни другого ребёнка, то с медведем или волком. Довольно скоро мои ученики стали писать не только короткие пьесы, но и стихи и расска-

зы. Это произошло самым естественным образом; я не заставляла их писать и не объясняла, как это делается. Эрика, ученица, упомянутая в самом начале этого рассказика, так любила писать, что в конце урока я не могла её оторвать от сочинительства. Сначала она писала только на моём уроке, потом начала писать дома. По дороге из главной классной комнаты в мою она говорила о своей творческой деятельности с таким воодушевлением, что мне приходилось умерять её пыл хотя бы потому, что в школьном коридоре нельзя было громко разговаривать. Она много писала во время летних каникул, и в первый день нового учебного года показала мне папку со своими летними произведениями; папка была так набита, что, казалось, трещала по швам:

— Видите, сколько я написала, мисс Нина!

Она писала рассказы, стихи и пьесы, и когда я стояла перед классом, она становилась моим зеркалом: улыбалась, когда я улыбалась, хмурилась, когда я хмурилась, смеялась, когда я рассказывала что-то смешное, смотрела на меня с обожанием, которое мне казалось чрезмерным. Наверное, поэтому я была удивлена, когда во время «индивидуального разговора» с её родителями на родительском собрании её отец сказал, что мой урок — просто трата времени, и что он и её мать хотят, чтобы Эрика перестала ко мне приходить.

— Но ей нравится писать рассказы и стихи, — сказала я, наверное, чуть более обиженно, чем следовало.

— Ради вашего урока она пропускает науку (science class), — сказал он, — а наука, безусловно, важнее, чем сочинение пьес и рассказов, которые никому не нужны и которые, как всем известно, не принесут ей никакого дохода в будущем.

— Спросите её, — сказала я, — что она сама хочет: хочет ли остаться в моём классе. Я уверена, что она хочет остаться; она так любит писать, что в конце урока я не могу оторвать её от сочинительства. И вообще, лучше не идти против воли ребёнка.

Не знаю, что произошло у них дома, о чём и как родители говорили с дочкой, но в одно прекрасное утро, когда я пришла на работу, я увидела письмо от учительницы третьего класса в моём почтовом ящике (не виртуальном почтовом ящике, а настоящем — они ещё существуют). В письме говорилось, что родители приняли решение, согласно которому их дочь перестанет ходить на мой урок, так как они не хотят, чтобы она пропускала урок по науке. В тот день, когда я зашла

в третий класс за своей группой, я подошла к Эрике с намерением объяснить ей, почему она не может быть в моей группе.

— Я не могу тебя взять с собой на мой урок, так как твои родители решили…

Она спокойно кивнула и осталась сидеть на своём месте. В последующие дни и недели, когда я приходила за её группой, она не просто оставалась на своём месте — она даже не смотрела на меня. Сначала мне это казалось немного странным. Я думала, что она любит мой урок, любит писать, а меня она так обожала, что это обожание мне казалось чрезмерным. А теперь, судя по тому, как она даже не смотрела на меня, когда я заходила в её классную комнату, казалось, что она даже не помнила, что приходила на мой урок на протяжении двух лет и сочиняла «пьесы и стихи, которые никому не нужны и которые, как всем известно, не принесут ей никакого дохода в будущем», как выразился её отец.

В ДЖУНГЛЯХ СУМАТРЫ

После недели в джунглях Суматры, которую я провела в качестве «волонтёра ради орангутангов» (науч. «орангутан»), я решила, что в джунгли, может быть, я когда-нибудь ещё и поеду, но волонтёром больше не буду.

Жила я там в деревянном доме с пятью другими волонтёрами и четырьмя местными, составляющими «персонал». Пятеро волонтёров, которые все ели за одним столом и спали на полу в одной большой комнате, постоянно громко болтали друг с другом, и эта их болтовня действовала мне на нервы, так как я поехала на другой конец света для того, чтобы увидеть орангутангов, а не для того, чтобы находиться среди постоянно болтающих человеческих существ. В числе пяти волонтёров была пара из Голландии. Были они тем, что называется «среднего возраста», хотя этого недостаточно, чтобы их описать. И он, и она были огромные, более шести футов ростом, с видимыми бицепсами; у обоих было явное, переходящее в нетерпение, желание выполнять физическую работу по дому и вокруг дома, т.е. в прилегающих к дому джунглях, что, конечно, и было смыслом нашего присутствия там как волонтёров. Жаль только, что никто не принимал во внимание разницу между способностью к тяжёлому физическо-

му труду громадных людей с бицепсами — и такой, как я, маленькой и физически слабой.

Во время общих трапез, т.е. ежедневных завтраков, обедов и ужинов, голландец развлекал нас рассказами о своих приключениях с бейсджампинг (прыгании с парашютом) и участии в других экстремальных видах спорта, а также о своём хобби, ношении гирь, каждая из которых весила по семьдесят фунтов, просто так, сказал он, для развлечения, которого, по-видимому, не хватало в его родном городе на самом севере Голландии.

С голландцем у меня не было особых проблем, но его жена, как громадное дерево с ядовитым соком, начинала источать яд, как только я входила в общую комнату (там было только две большие комнаты, и обе были общие) или садилась за общий стол. Началась эта ненависть сразу после того, как я сказала, что я приехала на Суматру в надежде на прямой контакт с орангутангами — и что у меня ещё с детства было это желание — взглянуть в глаза орангутанга. Я знала, что прямой контакт с орангутангами возможен только, когда животные находятся в клетках, то есть, когда они до такой степени травмированы браконьерами, что их нельзя выпускать обратно в джунгли. Орангутанги в клетках — печальное зрелище; клетка для орангутанга хуже смерти. Здесь, на Суматре, орангутанги, хотя их не так много осталось, всё ещё могут жить на свободе, как им и полагается, и мы можем увидеть их только, если будем долго бродить по джунглям, постоянно глядя вверх, на верхушки деревьев — вот почему долгожданный момент, когда посчастливится увидеть орангутанга в дикой природе называется «sighting». Я знала об этом, но тем не менее упомянула свою детскую мечту о прямом контакте с орангутангами: сказала я это не столько из экологического, сколько из… — ну, как бы сказать? поэтического, что ли? — взгляда на мир.

Откуда мне было знать, что одно лишь упоминание о желании «контакта» с орангутангом вызовет ненависть и презрение голландки? В отличие от меня, сказала голландка, она хотела видеть орангутангов на свободе, т.е. видеть их живущими так, как они должны жить, в джунглях, вдали от людей и каких бы то ни было контактов с людьми, а не так, как я (то есть, Нина), хотела их видеть, в клетках, которые, и правда, были грустным зрелищем. Я хотела сказать — нет, что вы, я вовсе не хочу, чтобы они были в клетках, у меня просто было это давнее желание заглянуть в глаза орангутанга… Но что

бы я ни говорила о моём желании заглянуть в глаза орангутанга, это только добавляло масла в огонь её ненависти ко мне. Однажды она зашла так далеко, что сравнила меня с браконьерами, которые убивают орангутанга-мать, чтобы заполучить детёныша с целью выгодной продажи его желающим «прямого контакта» с «симпатичными животными».

Во время одного из наших общих ужинов или обедов, когда зашёл разговор о Нью-Йорке, когда-то бывшем «Новым Амстердамом», я сказала, что в Нью-Йорке всё ещё есть места с голландскими названиями, например, «Dutch Kills». Как только я сказала «Dutch Kills», голландка издала странный звук. «Вы уверены, что это не „Dutch Murders“?» — сказала она с явным сарказмом. Она пробормотала что-то так быстро, что трудно было расслышать каждое слово, но звучало это так: «Вы (You people) всегда бросаете это слово в лица европейцев». Звучало это так, будто она говорит о вине (за убийства / «murders»), которую мы, т.е. «такие, как я» возлагаем на «европейцев» на протяжении последних семидесяти четырёх лет.

— «Kills» в «Dutch Kills» не имеет ничего общего с «убийством», — сказала я, — это слово происходит не от английского глагола to kill, а от старо-голландского слова «водоём».

— Я всю жизнь говорю по-голландски, и вы будете меня учить? — сказала она, и было что-то еврейское в этом «и вы будете меня учить?», хотя, кто знает, возможно, мне это показалось.

— Хорошо, если вам нужны доказательства, постараюсь их найти, — сказала я, — когда у нас будет wi-fi во время нашего похода в ближайшую деревню.

На следующий день, после часа ходьбы по узкой тропинке через джунгли, когда мы дошли, наконец, до деревни и зашли в какую-то деревенскую забегаловку, и я впервые с момента моего пребывания в джунглях смогла подключиться к wi-fi, я быстро нашла статью в Википедии об этимологии «kill» и зачитала её вслух нашей маленькой группе. «Kill — это водоём, чаще всего „ручей“, но также … „река“, пролив»… Это слово происходит от средненидерландского kill (kille в современном голландском), что означает «русло реки» или «водный канал». Оно часто встречается … в бывшей североамериканской колонии Новые Нидерланды… Примеры: «Catskill Mountains», «Fishkill», «Peekskill» в Нью-Йорке. Я сделала паузу и добавила: — Это из Википедии.

— Википедия! — сказала она пренебрежительно. — Кого интересует, что пишет Википедия! Всем известно, кто пишет в Википедии.

— Вообще-то, — сказала я, — я знала о значении «kill» в «Dutch Kills» задолго до появления Википедии и даже задолго до появления интернета.

— Я никогда не слышала об этом, хотя всю жизнь говорю по-голландски!

— Миллионы говорят на том или ином языке, но мало кто думает о происхождении слов, — сказала я, больше не заботясь о том, как подействуют на неё мои слова. Мне было ясно, что она ещё больше меня возненавидит за то, что я включила её в «мало кто думает», но она начала портить моё пребывание в джунглях с самого первого дня и очевидно, собиралась продолжать портить до самой последней минуты, так что какой смысл мне было заботиться о её так называемом самолюбии.

СОВСЕМ КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ-ПРИТЧИ

ОБНУЛЕНИЕ

Когда один известный пушкинист завершил свою долгожданную монографию о величайшем русском поэте, он был уверен, что на родине эту его новейшую публикацию встретят скандалом, потому что в исследовании, написанном, как он сам признавался, в состоянии транса (что в его случае не являлось эвфемизмом выпивки), сообщалось, что все основные шедевры Пушкина были созданы не «солнцем русской поэзии», а презренным Сальери, который был для всех не более чем персонажем одной из пьес Пушкина, не более, чем эпигоном другого персонажа — Моцарта.

Знаменитый пушкинист был очень удивлён тем, что никто на него не разгневался за снятие любимого Пушкина с пьедестала и замену его на Сальери, делая из Сальери автора шедевров обожаемого всеми нами Пушкина. Прочитав отзывы на свою монографию и увидев, что ни один критик даже не упомянул о странной замене, он спросил одного из них, что происходит, почему не разразился ожидаемый им скандал, почему никто не выступает в защиту нашего гения, нашего Пушкина и не отвергает злостные поклёпы пушкиниста, смеющего утверждать, что все шедевры Пушкина принадлежат перу его

же персонажа! Друг пушкиниста объяснил ему, что после того, как президент обнулил свои прежние сроки, все начали обнуливать всех и вся, например, мужья обнулили своих жён, нуждающиеся обнулили банки, дети обнулили родителей, учителя обнулили своих учеников, и, конечно, ученики обнулили учёбу … и поэтому все до единого восприняли его замену Пушкина на Сальери не более как очередное обнуление, и раз они не оспаривали самое первое обнуление (президента), так какой смысл им было оспаривать заключения пушкиниста о солнце русской поэзии, о том, мол, что, Пушкин — на самом деле, не Пушкин, а Сальери?

— В таком случае, — сказал пушкинист, — я сам себя обнулю.

Он так и сделал, и с тех пор мы о нём ничего не слышали.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ

Спящая красавица спала, как и было предсказано, сто лет, а когда наконец явился принц и разбудил её своим предсказанным поцелуем, она открыла глаза, потянулась и тут же велела принести себе бумагу, чернила и перо, так как ей есть что поведать миру, сказала она, ведь проспав сто лет, она узнала все тайны бытия. Её быстро снабдили всем, что она требовала, и когда она начала быстро-быстро водить пером по бумаге, все почтительно отошли, не только из уважения к принцессиному творческому процессу, но и от страха стоявшего рядом с ней принца, глядевшего волком.

Принцесса писала с таким рвением, что казалось искры идут от её пера, и когда она наконец закончила писать и главный министр с глубоким поклоном поймал брошенный ему принцессой лист, он увидел, что написала она всего две буквы, бесконечно повторяющиеся в каждой строке: Бр-бр-бррр- брррр- брррр… и т.д. Придворные не выказали своего разочарования, но на следующий день прискакал гонец с вестью о только что начавшейся войне, вернее, войнах на всех границах принцессиного царства, со всеми соседними государствами, до того дня пребывавшими в мирном равнодушии по отношению к принцессиному царству. «Что случилось? Почему они все вдруг на нас ополчились?» с удивлением спросил главный министр.

Так как ни у кого не было ответа на этот вопрос, министр отправился к той самой ведьме, из-за которой принцесса уколола себе палец веретеном и в результате проспала сто лет.

— Почему? — спросил он.

— А потому, — сказала старая, — что теперь всем стало понятно, что ваша принцесса ничего не знает, никаких секретов ни того мира, ни этого, хоть и проспала сто лет. Написала «бррр» — и пошли они на вас войной.

— Так может, она что-то и знает, но не умеет выразить в словах.

— Ну, это уж не моё дело! — пожала плечами ведьма. — Выразить в словах не умеет, видишь ли! Нечего тогда было бумагу да перо с чернилами просить! А то попросила, всем дала понять, что что-то знает, а в конце концов, кроме «брр» ничего не вышло. Вот и результат.

ОБ АВТОРЕ

Нина Косман *(Nina Kossman). Родилась в Москве. В раннем возрасте эмигрировала в США, где живёт с 1973 года. Поэт, прозаик, драматург, художник, скульптор, переводчик.*

Сборники стихов: «Перебои» (Москва, 1990) и «По правую руку сна» (Филадельфия, 1998). Книги на английском: «Behind the Border» (Harper Collins, 1994, 1996), «Gods and Mortals» (Oxford University Press, 2001.

Роман «Queen of the Jews», вначале изданный под псевдонимом NL Herzenberg, увидел свет в Англии (Philistine Press, England, 2017); в русском переводе — «Царица иудейская» (российское изд. Рипол, 2019). Эта книга принесла автору заслуженную известность.

Стихи, рассказы и переводы Нины Косман публиковались в США, Канаде, Испании, Голландии, России и Японии. Пьесы ставились в театрах Нью-Йорка, на Off-Off-Broadway. Английские переводы стихов Марины Цветаевой собраны в двух книгах: «In the Inmost Hour of the Soul» и «Poet of the End».

Нина Косман — постоянный автор журнала «ВРЕМЕНА».

ЛИЯ ЧЕРНЯКОВА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Венеция

Венеция безбрачия пуста
Стоит чиста вода в её каналах.
Туманное молчанье спеленало
Две перелётных тени, от моста
Рванувшие под санитарный дождь
Сквозь шквал сирен и струн, поверх кордонов,
Чтоб перекантоваться на гондолах,
А поутру добраться до Лидо.
Все маски сброшены как чешуя,
Скрывает плащ не нож, а запах хлорки
А мы следим, дыханье затая,
За третьим актом из глубин галёрки,
И ждём, когда Харон ли, херувим
Поманит нас веслом из пьесы гиблой
И тени, натянув улыбки рыбьи,
Раскроют жабры, чтоб благословить.
Но, вновь не понимая ни чёрта,
В беду залезем голыми руками,
Как две души, рванувшие с моста,
Распарывая небо плавниками.

Счастье туманное

У счастья привкус типографской краски
И свежее дыханье целлюлозы
На площади, где кровью плачут розы,
На том краю обетованной сказки,
Где солнечный, отравленный осколок,
Билет на самый летний, самый скорый,
Из зоны детства, вечно недоступной
Промотанный. проигранный вчистую
В бутылочку, квача, гляделки в оба,
В наскальный тетрис, домино до гроба,
В родное до мурашек, до озноба
С сиропом, до шипения планет,
Когда идёшь в открытый интернет,
Укутан в мировую паутину,
Там за углом Пьеро и Буратино
Торжественно разлили на троих,
А Арлекина превратили в вихрь
Двоичных кодов чёрного на красном
Но столь же укоризненно прекрасно
Мгновенье остановленных часов…
Неравный бой в созвездии весов
Окончился вселенским пораженьем.
Отличный повод прекратить движенье
И стрелками-мостами развести.
Что будет после? Вспомнить ли, простить ли?
В тамбуре курить без продолженья?
Попробуй очуметь, нет, онеметь —
Сойти на нет с заигранного диска.
Все роли заказного аниме
Разобраны без права переписки.
Под титрами сбежавшими с экрана
Нет места подведению итогов,
Но можно смело попросить автограф
Когда никто не выйдет из тумана.

Из тумана

Никто не выйдет из тумана,
В обугленные наши души
Не вложит запоздалый SOS.
На сорок тысяч братских солнц
Никто-никто, как мы, с приветом.
Давай, как прежде, против ветра —
Шаг вправо-влево, и зима
Нас растасует по домам
И запечатает метелью
В тех блочных, в тех бутылках-кельях
Заоблачных, изобличённых
В жестокой страсти к заключённым.
Пока же осень костью в горле,
Давай накормим этот город
Остывшей кровью миражей.
Когда божественная жесть
Нас отчеканит как монеты
По всем приметам интернета,
По всем законам ноября,
Промозгло, сумрачно и сыро,
Закурим над обрывом мира.
И миражи заговорят.

Переезд

«…Вместе потом переехали. Я в другой город, а ты — человека.
Там и сегодня почва распорота…»

Павел Фахртдинов

Где не храм, а храп
молодых коней
На семи ветрах
поседевших дней,
В той стране теней
семь заклятых правд,
Ошалев к весне,
ходят по дворам,
Попирают срам,
собирают дань —
Каждый божий страх
или грешный дар,
Из небесных дыр
цедят злую синь
В наш скворечный мир,
чей убогий сын
Зашивает рот
до упадка лет,
Чтоб уйти в народ,
но оставить след,
Но оставить свет
в лобовом окне
В ледяном стекле
в той стране теней.

Ретушь

Во времена военного парада
Далёкий голос флейты не расслышать.
Когда газету называют «Правда»,
Как ни крути, но правды нет и выше —
Есть истина в вине и смерть в дензнаке —
Мы это все видали, право слово,
Но машем кулаками после драки,
По парикам рыдаем безголовым.
Эпоха семимильными шагами
Раскручивает маховик сансары.
И снова этих нарекут врагами,
А тех рукоположат в комиссары.
Но мы смываем ретушь с фотоснимков,
Порвать в суровым будущим не смея,
И запускаем в небо анонимки,
На ниточках выгуливая змеев
Воздушных, превратившихся в драконов,
В корысть и страсть, презрение и ярость,
Угадывая в гуще заоконной
Слепящие полуночные фары.
Ведь это не за нами? Не за нами —
Мы пред любым законом неподсудны…
И молча обрастаем временами,
Как якоря затопленного судна.

На память

У памяти ровные зубы
Выбиты на допросе.
У памяти выбиты зубы
И яд сочится из дёсен.
Ночь прозябает где-то
На задворках, в каморке,
А с наступленьем рассвета
Рыскает по помойкам.

Каждый закат встречает
С непрошенными гостями —
Поит остывшим чаем
С вчерашними новостями,
Дряхлую кошку гладит
Против искрящей шерсти.
Бродит за нею слава
Городской сумасшедшей.
Ходит у нас под боком
Мимо закрытых ставен.
Ходит она под богом,
И страшно даже представить
Как она угасает
За день в углу укромном,
Как мы её хороним.
Как мы память хороним.

Скучная сказка

И обдирая крылья до души,
И запекая голос до молчанья,
Наш добрый бог нас обучил прощанью,
Но встретиться случайно разрешил.
И обдирая небо до земли,
И укрывая рай от звёздной раны
Мы вышли в мир — поговорить на равных.
Но равных в целом свете не нашли.
И окуная лунный луч во тьму,
И запечатав двери письменами,
Мы угадали кто придёт за нами,
И сразу не поверили ему.
И завернувшись в кокон пустоты
Окуклившись до полусладкой комы,
Мы притворились будто незнакомы
И ни одной не выдали мечты.

И лишь сбежавший запах молока
Топлёною волной по бездорожью
Ложился в травы предрассветной дрожью,
Когда роса застыла на щеках.

Ночное

С Алладином нажарить оладьи,
Ветошь лампой души протереть,
Все мечты и морщины разгладить,
Словно гладишь кота на заре,
Звезды-искры с сиреневой шерсти
Точно мелочь сжимая в горсти…
Нам вставать по будильнику в шесть и
До скончания света идти:
До слепящего спелого лета,
До сочащихся радостью сот,
До стихов сквозь малиновый лепет
Долетевших до самых высот,
До метели вишнёвого взгляда,
До надломленных веток в саду,
До медового ада цикады,
Что слезу превратила в слюду.
Над фарфоровой гладью кувшинок
Комариная нота дрожит.
Нам вставать. Мы ещё не решили.
Мы спешим до рассвета дожить.
Нам ещё… Вот и звёзды погасли.
В ореоле безрадостных дел
Новый день отражается в масле,
Подгоревшем на сковороде.

Конкретно

О, мой конкретный путевыводитель,
Свидетель белых дыр и чёрных пятен,
Какой жестокий рай не возгордить нам,
Ты будешь мил, находчив и опрятен,
Как франт фартовый, ко всему готовый:
Вот белый кролик дует в ус кротовый,
Вот чёрный кот, как бард в Алисьей шубе,
Разводит песнь за неразменный рубль.
Здесь будет город. Нет, здесь будет голод,
Здесь будет голос в оголённый провод
Бить плавником, проводником потопа,
Когда фантом сорвётся с монитора.
Здесь будет всё конкретно, мой запретный,
Когда одной ногой увяз в цементе
Бессмертья, и до рыб не дотянуться,
Здесь так легко мечтою захлебнуться.

ОБ АВТОРЕ

Лия Чернякова *родилась в Харькове (Украина). Поэт, автор песен. По образованию физик, по профессии инженер-программист. Живёт в Милуоки (США).*

Изданы две книги стихов и многочисленные подборки в журналах и альманахах Украины и русского зарубежья. Член творческого ордена «Корни Неба», нью-йоркского клуба русских писателей, организатор бардовских слётов на Среднем Западе США.

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ

НАКОНЕЦ-ТО СЕГОДНЯ ПЯТНИЦА!

«Как здорово, когда наконец наступает пятница! У бесчисленного множества людей, всех тех трудяг, которые пять дней в неделю с нетерпением ожидают вожделенного уикенда, настроение поднимается с самого раннего утра, а то и с вечера четверга. В пятницу и просыпаться легче, и зубы чистить не так нудно, и бриться не настолько лень. И завтрак из омлета и овсяной каши куда вкуснее. Даже на работу хочется попасть как можно раньше — наверное, чтоб поскорее пришёл этот сладкий вечер перед двухдневной свободой. Настоящая жизнь, чёрт побери, наступает только в пятницу вечером!

Эй, что за чушь тебе лезет в голову? Воспринимать жизнь как вечное ожидание выходных и вообще торопить время неразумно, любой день — подарок, нужно уметь наслаждаться каждой секундой…

Да ведь это была шутка!»

Вот такие, не слишком оригинальные мысли слегка суетливо, но с приятным рефреном «сегодня пятница» нескончаемой каруселью вертелись в сознании Вадима. Тем временем он торопливыми шагами отмеривал свои обычные полмили по зелёным улицам тихого нью-джерсийского городка к рейсовому автобусу, отправляющемуся в центральный Манхэттен в 7:45 утра.

Работа шла как никогда гладко, и всё у него сегодня спорилось и получалось с первого раза. Среди прочего удалось разрешить проблему, занозой торчавшую в его сознании с прошлой недели: автоматический возврат платежей клиентам, оказавшимся недовольным купленной ими продукцией компании. Проблема выскочила после недавней модификации компьютерной системы управления складским хозяйством, и возврат денег приходилось вводить вручную.

А теперь, в результате исправления программной ошибки, внесение возвращённого товара в складской реестр тут же инициировало немедленный кредит покупателю, вернувшему товар, и вычитало соответствующую сумму со счетов компании.

К перерыву на ланч Вадим энергично растёр шею, сладко потянулся и с удовольствием открыл один из компьютерных экранов, показывающий намеченный перечень дел на сегодня. Против 11-ти пунктов из общего числа 14 стояла отметка «выполнено». По устоявшейся долголетней привычке Вадим накануне вечером составлял план на завтра. На другой день своевольная и капризная действительность частенько вносила свои коррективы, но сегодня, к удивлению, его не отвлекали на раздражающие мелкие проблемы, нередко реальные, иногда надуманные. Все системы работали без сбоев, у пользователей, против обыкновения, не возникало замечаний и вопросов, и Вадим мог сконцентрироваться на решении отобранных им системных задач. В 12:30 он присоединился к небольшой группе сотрудников, шумной и весёлой толпой собравшихся на площадке у лифта. Сговорившись заранее, решили посетить популярный корейский ресторанчик, славящийся вкусной и сытной едой.

По неписаным правилам пятницы, ланч слегка затянулся. Люди делились своими планами на долгожданный уикенд. Составление таких планов — самое приятное занятие недели, к которому многие приступают ещё с вечера воскресенья. Мысли о предстоящих двух днях и трёх вечерах свободы с их удовольствиями и отдыхом помогают пройти через проблемы, неурядицы и заботы недели. Все с удовольствием рассказывали о своих замыслах. Грег, коллега-компьютерщик, намеревался провести весь уикенд на катере с семьёй в открытом море. Катер, припаркованный у причала в Пойнт Плезант, на нью-джерсийском берегу, терпеливо дожидался в бухте субботнего утра, а с ним и своего влюблённого в море хозяина. Самир, ещё один программист, обладатель рабочей визы из Индии, планировал навестить друзей-земляков в Филадельфии. Линда сказала, что завидует мужикам, её уикенд — это стирка и уборка. Впрочем, она тут же добавила, что в субботу они с мужем ожидают к себе на барбекю одиннадцать кузин и кузенов с семьями, устраивают обычную ирландскую семейную встречу. Вадим, однако, помалкивал. Всем этим людям, весёлым и оживлённым в преддверии вожделенного уикенда, вовсе не обязательно быть посвящёнными в его планы встречи с Лидой. Да и что

тут такого интересного? Два более чем взрослых человека, мужчина и женщина, оба разведённые, собираются поехать в Кейп Мей и провести вместе два дня и две ночи. А вот Джон, единственный холостяк за столом, с нетерпением вслух предвкушал еженедельное свидание со своей гёрлфренд Молли, приезжающей из Коннектикута.

— Знаю, — бросил Грег под одобрительный смех присутствующих. — Вы, ребята, закажете две большие пиццы и проведёте все 48 часов в постели!

— Завидуешь? — прищурился Джон.

— О нет, — мотнул головой Грег. — Я своё уже отработал, дружище. У меня и так дома трое. Дрожь берет, как подумаю о счетах за колледж лет через семь-восемь. Я уж лучше опять в море. Там сразу забываешь обо всем.

Все опять заржали. Не то, чтобы сказанное показалось им особенно смешным. Просто сегодня была пятница.

Корейцы, как всегда, не подвели. Вадим и его коллеги сидели за низким столиком, оставив обувь у входа и опустив ноги в специальное углубление. Этот азиатский ритуал, хотя и привычный, до сих пор, после многих ланчей в ресторанчике, всё ещё забавлял. А блюдо на огромной горячей тарелке, состоящее из удивительной смеси малознакомых овощей, грибов и орехов под чертовски лакомым соусом, поражало размерами и вкусом. Вадим, далёкий от вегетарианских пристрастий, всегда восхищался этим удивительным свойством многих корейских яств. При полном отсутствии мяса, они давали приятное чувство сытости без переполнения. Мелкий текст в меню под названием каждого блюда перечислял его составные части, не меньше восьми или девяти. Какие-то из овощей были Вадиму не знакомы. Но по правде говоря, его и не особенно интересовали ингредиенты кушанья — вкусно, и ладно. А обойтись без мяса, а следовательно, и без лишнего холестерина, хотя бы раз-другой в неделю совсем не мешало.

Вернувшись в офис, Вадим посвятил пять минут проверке политических новостей на интернете и приступил к очередному пункту своего детально разработанного плана. Минут через 15 зазвонил телефон, впервые за сегодня. Голубой экран высветил имя Питера, его босса и старшего вице-президента. Вадим нажал кнопку «Слушаю».

— Можешь зайти ко мне? — спросил Питер. Голос звучал как обычно приветливо и добродушно, возможно, даже слишком дружелюбно,

и это сразу насторожило Вадима. Он имел некоторый опыт общения с излишне дружелюбными боссами. Ничего хорошего это не предвещало.

— Наверняка придумал какую-то работёнку на субботу, паршивец, — чертыхнулся Вадим.

— Садись, Вадим, — поприветствовал его босс в своём офисе. — Давай сразу о деле. У меня есть одна плохая новость и две хорошие. Начну с плохой. Компания вынуждена пойти на некоторое сокращение расходов. К несчастью, твоя должность вошла в число тех, которые решено ликвидировать. Твой последний рабочий день — сегодня.

— Погоди. Ты это серьёзно, Питер? — ошеломлённо встряхнув головой, едва смог выговорить Вадим.

— Абсолютно. Ничего личного. А теперь о хорошем. Ты получишь выходное пособие в сумме 16-недельной зарплаты. В течение 16-ти недель за тобой сохраняется медицинская страховка и все прочие бенефиты. И ещё: я надеюсь остаться твоим другом. Ты в любой момент можешь обратиться ко мне за рекомендациями. Окей?

Ярость мутной волной залила сознание. Дыхание перехватило, кулаки непроизвольно сжались так, что ногти впились в ладони. Вадим поглядел на свои руки, разжал пальцы и подавил бесполезную волну гнева. Глубоко вздохнул и пожав плечами, сказал «о'кей».

Ему уже дважды приходилось попадать под сокращение, невзирая на то, что он всегда вкладывал в работу не только время, знания и опыт, как все, но ещё нервы и душу. Впрочем, теперь это никого не интересовало. В последний раз Вадим дал себе слово больше не ловиться на эмоциональную удочку, не ассоциировать себя с не принадлежащей ему компанией, не принимать близко к сердцу рабочие моменты, сколь угодно серьёзные. Соблюдать дистанцию. Относиться к работе как временному соглашению между ним и фирмой. Ведь таковым она и являлась — неподписанный договор, по которому он отдаёт своё время, набор знаний и навыков, а взамен они платят, и платят хорошо. Но дурацкая привычка пропускать критические ситуации через себя, через свои нервы и свою плоть, так просто не поддавалась. И Вадим снова и снова западал в эту коварную психологическую ловушку — решать всевозможные рабочие проблемы не в силу того, что это входило в его обязанности, а потому что это были ЕГО личные проблемы. И каждый раз чувствовал себя дураком вот в такие минуты.

А ведь прекрасно знал, что незаменимых нет, и высшее руководство, мыслящее финансовыми категориями, такими, как возврат на инвестиции и рост доходов за год или квартал на единицу вложенного капитала, не в состоянии, даже если и пожелает, разглядеть живых людей за балансовыми отчётами. Человек на их языке именуется «ресурсом». Вот и ему следовало подходить к работе хладнокровно и отстранённо, ведь опыта своего дела ему не занимать. Ну что ж, рынок труда сейчас весьма благоприятный, подыскать новое место для такого специалиста, как он, не так уж трудно. Гораздо сложнее будет заполучить действительно хорошую работу.

Вадим заглянул в отдел почтовых отправлений и взял сложенный картонный ящик для сбора вещей. Вернулся в свой небольшой офис и огляделся. Что унести с собой? Что оставить? Все эти постеры на стенах ему не нужны. Со стола надо, само собой, забрать фотографии дочерей. Что ещё? Несколько сувениров в верхнем ящике стола. Пара флеш-драйвов. Два сертификата о выступлениях на профессиональных конференциях. Часы от компании? Обойдёмся без них! Запасная чистая рубашка на вешалке двери. Вот пожалуй и всё.

Зазвонил телефон. Тон звукового сигнала дал понять, что звонят не по внутреннему телефону, да и номер высветился внешний, городской.

— Алло? — сказал Вадим, взглянув на часы. Хотелось побыстрее выйти из этих стен на улицу. Ведь отношения с компанией окончены, всё кругом — пройденный этап. Вот люди — другое дело. Следует совершить ритуальный обход, попрощаться с парой десятков коллег, с теми, с кем за четыре года установились добрые рабочие отношения.

— Мистер Соколовский? — спросил мягкий мужской голос. — Это доктор Альтман. У вас есть для меня пара минут?

— Да, есть, — встряхнув головой и пытаясь отогнать из сознания остатки горечи от внезапного увольнения, ответил Вадим.

— Я получил результат вашего анализа.

— Что? Моего анализа? — переспросил Вадим.

И тут он вспомнил. Почти три недели назад у него взяли анализ предстательной железы на биопсию. Как он мог позабыть такую вещь? Доктор молчал.

— Говорите, доктор, — сказал Вадим.

— Анализ положительный, мистер Соколовский. Понимаете, что это означает?

«Ага. Выходит, я всё-таки болен. Как, чёрт побери, такое могло произойти? Хожу в фитнес-центр, не курю, пью немного… Никаких особых излишеств, достаточно регулярный секс — и вдруг рак предстательной железы?»

— Вот оно что, — собравшись с силами, протянул Вадим. — Насколько вы уверены, доктор? Какова вероятность, что тут нет ошибки и результат правильный?

— Практически 100%. Если хотите, можно повторить анализ. Однако чем скорее мы приступим к лечению, тем лучше. Впрочем, несколько дней или даже недель вряд ли что-то меняют. Я полагаю, у вас весьма ранняя стадия. Однако показатель Глисона довольно значительный: семь. Алло, мистер Соколовский?

— Я здесь, — сказал Вадим.

— Волноваться вам совершенно не следует. Сейчас рак простаты лечится, эффективно и результативно. Ваши шансы на избавление от болезни можно охарактеризовать как весьма высокие. Простата — это железа, вроде капсулы, которая в силу своей конфигурации отделена от остальных органов. Больные клетки далеко не сразу начинают распространяться. Исключительно хорошо и то, что мы с вами находимся, по-видимому, в самой ранней стадии.

— Здорово он излагает, — мелькнуло в сознании у Вадима, — «мы с вами». А на самом деле речь идёт только обо мне. Впрочем, доктор тут не при чём. Надеюсь, что он прав насчёт ранней стадии!

— Главное — не тянуть с началом лечения, — продолжал доктор. — Дайте мне знать, когда будете готовы.

Вадим физически ощутил, как его мир рушится. Спутанные, отрывочные мысли заметались в сознании. Надо что-то решать… Меня увольняют… Завтра увидимся с Лидой, рассказывать ли ей об этом? А дочерям? Девочки уже взрослые, у Маши своя семья, ребёнок… Зачем осложнять им жизнь? Нет, это моя проблема, и я должен справиться с ней сам.

Вадима удивляло, что он почти не ощущает испуга. Взамен его охватила жуткая апатия, силы мгновенно иссякли, ноги сами собой подогнулись и он опустился в кресло, положив голову на руки.

Посидев так несколько минут, Вадим почувствовал себя лучше и решил, что не намерен сдаваться. Среди его знакомых имелось не-

сколько человек, прошедших лечение от рака простаты. Когда-то такой диагноз являлся приговором, а сейчас эти люди проходят лечение и продолжают наслаждаться жизнью.

Вадим кое-как сложил вещи в ящик и стал обходить офисы и кубики, пожимая руки, а иногда обмениваясь коротким объятием. Слухи расходятся молниеносно — все уже знали новость о его уходе. Линда крепко обняла его, поцеловала в щёку и сказала:

— Мне будет не хватать тебя, Вадим.

Грег хлопнул его по плечу, пожелал успехов и заявил, что и сам собирается уходить — уже ищет новую работу.

— Компания изменилась, брат. Здесь больше делать нечего, — сказал он.

Вадим решил, что Грег просто хочет его утешить.

В одном из офисов на столе стоял похожий картонный ящик.

— Да, моя должность тоже упразднена, — с печальной улыбкой сказал хозяин кабинета, невысокий худощавый бухгалтер, американец китайского происхождения по имени Джейсон. Они с Вадимом нередко заходили друг к другу, по работе или просто так, поболтать.

— Прорвёмся, дружище, — подбодрил его Вадим. — Не унывай. Ты же профи, компании будут драться за тебя. Вот увидишь!

— Я знаю, — сказал Джейсон. — Только это не очень вовремя. Я только что купил квартиру.

— Такие вещи никогда не бывают вовремя, — кивнул Вадим. — «Знал бы он о моих проблемах!». Давай держись.

— Ты тоже, дружище.

Вадим вернулся к себе в офис и взял в руки полностью собранный ящик. Он почти ничего не весил, после четырёх лет работы… Зазвонил телефон.

— Может быть, я забыл с кем-то попрощаться? — предположил Вадим. — Нет, звонок городской, и номер знакомый. Это Лида!

— Привет, Лида!

— Здравствуй, — сказала женщина.

Что-то странное звучало в её голосе, низком и глубоком. Не чувствовалось в нём радости и подъёма. Вообще ничего не ощущалось. Она помолчала.

— Что случилось, Лида? У тебя всё в порядке?

— Да… Нет… Я хотела тебе сказать, Вадим, не настраивайся на нашу встречу. Я не приду.

— Почему? В чём дело?

— Да ни в чём. Просто, я поняла: наши с тобой отношения себя исчерпали. Вот и все.

— То есть как? Что, чёрт побери, это значит?

— Пожалуйста, не кричи. Мы видимся просто так… Проводим время в постели, сидим в ресторанах… А нет ни любви, ни увлечения… мы просто трахаемся.

— Это неправда! Ты мне очень нравишься! Я хочу тебя!

— Ну да… У меня это тоже было. И прошло.

— Что ты мелешь?

— Не злись, Вадим. Ты, в общем, хороший мужик. Найдёшь себе другую бабу. Вы, мужики, всегда в цене… Извини, я знаю, ты уже заплатил за Кейп Мей… Всё. И не звони мне больше.

Лида отключилась.

Вадим не мог поверить своим ушам. В прошлую субботу они поужинали в ресторане, выпили бутылку вина. С Лидой было приятно показаться в общественных местах. Не красавица, под пятьдесят, она неизменно привлекала взгляды мужчин. Каждому видно — у женщины есть стиль. Потом они провели ночь у неё. Лида идеально подходила ему в постели: потрясающая прохладная тонкая кожа, длинные ноги, ещё не потерявшая форму, чуть опустившаяся, замечательной формы грудь. Небольшие складки и конечно, кое-какой целлюлит на бёдрах, так ведь она не девочка, у неё взрослые сын и дочь… Охотно откликается на все его запросы, в постели и вне её. Всегда ухоженная, тщательно следит за своей внешностью. Ровный, не капризный, покладистый характер. Лёгкая в общении… Что он сделал не так? Может, не удовлетворяет её в сексе? Чушь!

Вадим перезвонил Лиде. Она не ответила. Не отозвалась и на второй звонок. А между тем, пора было уходить, ехать домой.

Вадим не помнил, как попал на автовокзал, как поднялся на третий этаж, сколько минут ждал автобуса, как вошёл в него и сел ближе к концу у окна. Всё это время он действовал на автомате. Следовало сконцентрироваться, подумать о будущем, определиться с лечением, решить, где и когда, через какого агента начать искать работу. Но всё, на что способно было его усталое сознание, это бесконечной лентой прокручивать происшедшее. Всего за пару часов он получил серьёзный медицинский диагноз, остался без работы и утратил казавшуюся надёжной подругу. Никаких отношений с бывшей женой Вадим не

поддерживал. У дочерей — своя жизнь и свои проблемы. Добавлять им сложностей совсем не входило в его намерения.

Автобус между тем проехал через туннель Линкольна и довольно резво, поскольку час пик ещё не наступил, катил по 95-й дороге. За окном мелькали бензозаправки, какие-то здания, но Вадим словно впал в ступор и ничего не видел. Отупевший мозг отказывался что-либо регистрировать. Как будто плотная пелена окутала его с головой, и внутри этой пелены было только горькое осознание его внезапных потерь. Слишком многое приключилось за короткий промежуток времени, когда судьба, не жалея, наотмашь отвесила ему три жестоких удара, один за другим. Один за другим.

Жизнь давно научила Вадима не задавать Богу, себе самому или кому-либо ещё бессмысленный вопрос «почему?». Почему что-то случилось так, а не иначе? Почему именно с ним? Он знал из опыта, что более разумно и продуктивно попытаться уяснить «для чего?». Так для чего же произошло всё то, что такой безжалостной каменной лавиной обрушилось на него во второй половине дня столь долгожданной пятницы?

Ему 59. По нынешним временам, не так уж много, но и немало. У него две дочери и внук. Сына Бог не дал — так тому и быть. Зато дал внука, замечательного трехлетнего пацана. Это, конечно, не всё, у дочерей ещё будут дети. Хотя младшая, 26-летняя, пока что не замужем. Ну да ведь сейчас они, умники, женятся поздно. Сам он, что там скромничать, опытный профессионал, своими руками и головой построил себе хорошую жизнь в Америке, дал дочерям образование, побывал в паре дюжин стран в Европе, Азии и на Карибах. Любил женщин… С женой не сложилось, это да… Что там ещё обязан сделать мужчина? Построить дом и посадить дерево? Они с женой купили один дом, отремонтировали его, потом переехали в другой, побольше… Теперь бывшая жена живёт в нём со вторым мужем. Так тому и быть… А дерево он, наверно, посадил, и не одно, просто сейчас не вспомнить. Может быть, то, что случилось сегодня, это сигнал свыше? Пожил, дорогой мой, щедро вкусил свою долю трудностей и удовольствий. Немало испытал, кое-что повидал, чего-то добился… Всё, пора и честь знать. Давай теперь собирайся, уступи место другим. Не в этом ли дело?

Вадим почувствовал, как чьи-то тёплые пальцы легко коснулись его руки, и повернул голову. На него смотрели широко раскрытые

глаза сидящей рядом юной девушки, почти девочки. Она приветливо улыбалась, а кончики её пальцев касались его локтя. Вадим потёр лоб другой рукой, приходя в себя. Улыбка девушки словно осветила пространство в автобусе вокруг их спаренного сидения. Она вся излучала свет и тепло, словно маленький ангел.

— Вы в порядке, сэр? — спросила девушка, не убирая руки. Её голос звучал мягко и нежно, в нём слышалась удивительно искренняя забота.

— Да, я в порядке, спасибо. А почему ты спрашиваешь?

— Вы стонали… Вам плохо? Что-то случилось?

— Так… день был нелёгкий, — пожал плечами Вадим и сел попрямее.

— Я вас хорошо понимаю, — сказала девушка, растягивая слова. — У меня такое тоже бывает, правда нечасто.

И она, не ожидая вопросов, стала рассказывать ему о себе. Её зовут Бася, она учится на втором курсе в университете Фордем на Манхэттене, изучает биологию. Ей очень нравится выбранная специальность, позже она хочет стать ветеринарным врачом. Она очень любит животных, всех животных, не только собак и кошек. Её родители живут в Северной Дакоте. Они приехали из Польши двадцать три года назад, а она родилась уже здесь, в Америке. Есть старший брат в Калифорнии, работает шофёром-дальнобойщиком. Её тётка, сестра матери, живёт через два городка от Вадима, миль на пятнадцать южнее. Сейчас Бася едет к ней на уикенд. У тётки большой хороший дом, бассейн, две собаки. Её дочь, двоюродная сестра и подруга Баси, учится за границей.

Вадим слушал бесхитростный рассказ этой славной девочки, смотрел в её красивые, добрые глаза и ощущал, как тёплый покой, вызванный звуками её голоса, медленно распространяется по его сознанию, а потом, постепенно, расползается и по всему телу. Напряжение оставило мышцы лица, шеи, плеч, пальцы рук распрямились, он глубоко, полной грудью вздохнул.

— Вы где выходите? — вдруг спросила Бася и назвала его город. — Вам сегодня нельзя оставаться одному. Я выйду с вами. Позвоню тётке и скажу, что приеду завтра. Она не будет волноваться.

— О нет, — заплетающимся языком выговорил удивлённый Вадим и поднял руку, ладонью отгораживаясь от неё. — Прошу вас! Этого не нужно! Что вам делать со мной? Я вас старше на уйму лет. Зачем это вам?

— Пожалуйста, не возражайте. Я же всё вижу. Я чувствую, что вы живёте один. Вы расстроены, с вами случились очень неприятные вещи. Если сегодня рядом с вами никого не будет, может произойти что-то ужасное.

— Нет-нет! Я в полном порядке. Обычные житейские проблемы. А вы — вы ещё совсем ребёнок.

— Не обманывайте меня. И пожалуйста, не называйте ребёнком. Я знаю: то, что с вами сегодня произошло, нанесло вам очень глубокую травму. И я уже всё решила.

Он ещё пытался, безуспешно, уговорить Басю не делать глупостей, не связываться с ним, когда автобус затормозил на его остановке. И они вышли вместе.

Дома у Вадима они выпили чаю с крекерами и его любимым вареньем из голубики, которое оказалось и её любимым вареньем. Бася съела яблоко и спросила, где взять полотенце и есть ли у него лишняя зубная щётка, ей нужно принять душ. Потом Вадим услыхал, как Бася зовёт его из спальни.

Она лежала под простыней и улыбалась ему улыбкой женщины, которая разделась, приготовилась к любви и ждёт своего возлюбленного.

— Я лягу на диване, — сказал он, понимая, что кривит душой и останется с ней. — Спокойной ночи.

— Не говорите глупостей, — властно и спокойно проговорила юная женщина и протянула к нему руки. — Идите сюда.

Она напоминала ему выросший цветок, ещё не распустившийся, который только и ждёт близкого дождя, чтобы расцвести. Напоминала влекущий, чистый ручей, из которого хочет напиться усталый путник.

— Иди ко мне, — сказала она, — и не бойся. Я не девственна. Конечно, у меня очень маленький опыт в любви. Но я буду делать всё, что ты захочешь. Всё что угодно. Обними меня.

…Вадим проснулся, когда луч солнца тронул его лицо через просвет между шторами. Девушки рядом не была. Он потёр небритые щёки, натянул трусы и вышел на кухню. Необычайная лёгкость ощущалась в голове и во всем теле, мускулы словно радовались каждому движению. А в душе поселилась светлая радость. Проблемы спрятались в далёких закоулках сознания.

Овальный кухонный стол блистал невиданной чистотой своей стеклянной поверхности. Посуда, из которой они пили чай и ели крекеры с вареньем, была вымыта и убрана в шкафчик. Он чувствовал, что квартира пуста, но всё-таки обошёл все помещения и даже выглянул на патио — он жил в одноэтажном кондо. Баси нигде не было. Полотенце, которым она вчера вытиралась после душа, совершенно сухое, оказалось в стиральной машине. А на столике в прихожей, под зеркалом, лежала записка из пяти слов, без подписи: «У вас всё будет хорошо».

Минуло три месяца. Вадим прошёл радиационное лечение и заканчивал курс лекарственной терапии. Доктор Альтман был доволен — анализы показывали полное отсутствие признаков болезни. Вадим уже почти месяц работал в известной финансовой компании с зарплатой почти на 30% процентов выше предыдущей и более широким диапазоном обязанностей и возможностей. Работа ему нравилась. Дочки так ничего и не узнали, хотя и звонили каждые несколько дней — младшая, Таня, чаще, старшая реже. В жизни Тани наметились серьёзные изменения — она обручилась с парнем, сыном давних иммигрантов из Риги, и горела желанием познакомить с ним отца. Вадим встретился с Таней и её избранником в итальянском ресторане в Сохо. Парень, фармацевт из госпиталя Нью-Йоркского университета, оказался весьма симпатичным молодым человеком. Он настойчиво предлагал заплатить по счёту, но Вадим не согласился. Таня в споре не участвовала, переводила томный взгляд с жениха на отца и обратно. Вадим подозревал, что Таня беременна, но не лез с вопросами, ждал, пока скажет сама.

Лида звонила ему несколько раз, пыталась восстановить отношения. Однако Вадим уже встречался с другой женщиной, совершенно потрясающей брюнеткой, бизнес-аналитиком по имени Марсела, приехавшей лет двадцать назад на учёбу из Бразилии и оставшейся в Нью-Йорке. Марсела, дважды разведённая мать 15-летнего мальчика, живо избавила его от проблем с потенцией, появившейся после радиационной терапии. С мальчиком Вадим подружился, подарив ему айпад последней модели и обращаясь с ним как с равным. Иногда по воскресеньям он играл с сыном Марселы в боулинг, а Марсела в это время готовила невероятно вкусную паэлью из риса и морепродуктов. Почти все ночи Вадим теперь проводил у неё в Рего-Парке, откуда ему было всего полчаса до работы.

Как-то раз он попытался найти Басю в Фордеме. Университеты очень неохотно предоставляют сведения о своих студентах, но Вадиму удалось найти подход к одной девушке из офиса регистрации. Ни единой студентки с редким именем Бася в университете не числилось.

ОБ АВТОРЕ

Григорий Писаревский *родился в городе, который в то время именовался Ленинградом. Вырос и жил в Харькове, окончил там Политехнический институт. Приехал с семьей в Америку в 1988 г. Около 25 лет проработал в крупных американских компаниях в области информационных технологий.*

Пишет статьи и рассказы, которые были опубликованы в интернетовских и печатных русскоязычных изданиях в Америке, Канаде, Англии, Германии, Израиле и России. Лауреат VIII Конкурса Санкт-Петербургского Союза Литераторов. Является одним из основателей и членом правления Клуба Русских Американцев в своём городке в Нью-Джерси.

Поместил ряд статей в англоязычной прессе, а также опубликовал на Амазоне роман-триллер «Hallways of Deception» (Коридоры Обмана).

Полина ЖЕРЕБЦОВА

ЗАЙНА И ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Зайна

В нашем дворе жила женщина по имени Зайна, ночь с которой можно было купить. Необязательно за деньги. В трудный для родины час пускала она к себе чеченских боевиков, вывесив на окно квартиры ичкерийский флаг как опознавательный знак.

Флаг был красивым, зелёным, с лежащим посередине пушистым волком. Брала за свои услуги Зайна недорого: миску муки да банку солений.

А после того как гости покидали её покои, Зайна надевала платок, прикрыв рыжие локоны, и спешила поделиться частью заработанной еды с детьми и стариками, которые жили по соседству.

Когда неприятельские силы в лице русских военных наступали, а боевики вынуждены были уйти за границы своих территорий, Зайна с таким же радушием принимала захватчиков у себя. Русские мужчины несли Зайне мясные консервы и джем в маленьких баночках, а после их ухода женщина поступала как привыкла: делилась продуктами с инвалидами и многодетными семьями.

Поэтому, постоянно перешёптываясь, называя её за глаза шлюхой и, в общем-то не считая за человека, весь наш район проявлял терпимость к Зайне.

Большая часть мужского населения пользовались её услугами: такие женщины — огромная редкость в Чечне, ибо за подобное поведение полагается смерть.

Убивает такую мусульманку брат, дядя или отец. Никто никогда не осудит убийц. Наоборот, в народе они будут пользоваться всеобщим почтением и уважением. А милиция придёт к ним руку пожать и сказать раскатисто: «Ассаламуалейкум!»

Но у Зайны родных не было. Не было ни отца, ни матери, ни братьевсестер, кто бы мог её убить. Или защитить от такой жизни. Известно было, что родилась она в горах Дагестана, говорит на чеченском языке и меняет флаги на своих окнах согласно территориальным изменениям в Российской Федерации. Даже сколько лет ей — была загадка. Опытным взглядом местные праведницы оценивали её как пережившую четвёртый десяток.

— Красивая, потому что детей она не рожала! — зло говорили кумушки в длинных платьях и халатах.

И лица их искажались, словно в стекле, которое не выдержало ударов мужской руки и треснуло вдоль и поперёк. Зайна носила брюки, единственная чуть ли не на весь город. Это тоже считалось неслыханным позором!

Родить ребёнка Зайне никто бы не позволил: по местным традициям недостойна такая женщина носить в чреве ребёнка.

В обычных семьях к сорока годам женщина как старуха. А как иначе? Восемь-девять детей. В пятнадцать лет надо идти замуж, значит, в тридцать с хвостиком — уже бабушка.

Другое понятие о времени, о молодости. Другие нравы. Горские.

Пережила красавица Зайна и времена суровых шариатских гонений: другую бы расстреляли, конечно, забили бы камнями или палками, но не её. Суровые мусульманские проповедники забредали в наш двор для разбирательств, но, увидев синеглазую хохотушку Зайну, начинали улыбаться в ответ и пропадали в её маленькой квартире на несколько часов.

Худенькая, словно миниатюрная статуэтка, красавица околдовывала их с первого взгляда. Она любила танцы и музыку. Быстро и вкусно готовила восточные блюда.

Выйдя от продажной женщины, проповедники старались как можно быстрее унести ноги, чтобы люди не приметили их лица с длинными бородами и не стали сочинять про них непристойные шуточки.

— Здесь всё про всех знают! — сказала както тётушка Марьям. — Кто откуда приехал, кто на кого посмотрел, зачем…

— А как в нашем дворе появилась Зайна? — спросила я, рассматривая рыжеволосую хохотушку из окна на кухне, где мы с соседкой Марьям готовили плов.

— Привёл её Рамзес. Нашёл где-то. Она счастливая была, думала, может, он женится. Но родные ему запретили даже думать об

этом! А если родные не дадут согласия, никто против их воли не пойдёт.

Рамзес был чеченцем, нашим соседом со второго этажа. Он пожил с Зайной какоето время как с наложницей и передал её друзьям, как передают пачку недорогих сигарет.

Зайне дали чужую квартиру, откуда сбежала в смутные времена какая-то русская семья, и жила она в этой квартире, как в своей собственной, а Рамзес иногда с ней здоровался, если был уверен, что никто из соседей не видит. Но такого у нас, в Чечне, конечно, ещё не бывало: у всех глаза как плошки.

Особый обычай в Чечне — незапертая дверь. Даже если есть на ней замок — запирать бесполезно. Никто не стучит, так заходят. Соседи ведь!

— Тётя Марьям, нам утюг нужен! — забежали с верхнего этажа девочки-аварки и, не дожидаясь, что скажет хозяйка утюга, схватили вещицу и понесли к себе. Только дверь хлопнула…

— Это я. За водой пришёл! — громыхает вёдрами старик Ахмед, идя в ванную комнату мимо нас.

— Марьям, я тут сумку положу в коридоре, — кричит кто-то невидимый. — А брат через час зайдёт, заберёт!

По голосу мы догадываемся, что это соседка Залина из дома напротив.

И так целый день.

— Когда мы переехали, — вспоминала мама, нарезая лук для плова, — мы дверь не запирали вообще. Только если шли в магазин, а дома никого не было. Замучаешься открывать: стучат каждые пять минут. Дети и взрослые! То забегут, спросят, как дела, то еды принесут, то что-то попросят. Никогда и нигде так дружно я не жила! Полюбила всем сердцем этот обычай.

Я, признаться, маминых восторгов не разделяла. Мне казалось, что каждый должен жить, наслаждаясь покоем, каждому нужно своё пространство, но, боясь получить тумаков, свои рассуждения прятала глубоко внутри.

Плов в тот летний день получился изумительным на вкус, и взрослые решили угостить Зайну, которая хлопотала около своего подъезда.

В чужом доме Зайна вела себя тихо, и только если её спрашивали о чем-то, начинала рассказывать маленькие весёлые истории, будто

вся её жизнь была одним нескончаемым праздником, а все остальные жили в войне и грусти.

— Ах, какая я глупая была, — рассказывала Зайна с улыбкой. — По молодости, бывало, забывала дверь закрыть. Только мой гость приготовится к радости земной, штаны снимет, как на пороге соседка появится, вбежит без стука, чтобы сахару попросить или соли. Один сердешный господин из министерства так перепугался, увидев родную тётку, что спиной о стол ударился… Что-то внутри него хрустнуло. И унесли горемыку друзья на носилках, а тётка родная бежала следом и носками лупила несчастного…

— Как ты дошла до жизни такой? — моя мама удивлялась. — Ведь обманул тебя кто-то. Подлец попался. Вышла замуж, развелась, а родные назад не приняли?

Но Зайна только смеялась и ничего про юность свою не отвечала.

Во Вторую чеченскую, которая на самом деле была Третьей, Зайна опять повесила флаг с волком на окно. Флаг глубокой осенью изрешетило осколками, но она не убирала, так как нового не было. Снаряды разрывались прямо у подъезда, и мы ждали затишья, чтобы выбежать и набрать снега для питья.

Однажды стреляли так сильно, что, казалось, снаряды идут на дома непрерывающимся пунктиром и сотрут жилища вместе с нами в пыль. Что в это время чувствует человек, задыхаясь от осыпающейся со стен и потолка побелки? От взрывов дом трясётся, как при шестибалльном землетрясении, и вздрагивает, подобно битому псу. А ты лежишь внутри этой конструкции на дощатом полу, вспоминая какие-то моменты из жизни. Пытаешься закрасить ими чёрную пустошь мрака, поглощающего всё живое.

На соседней улице в момент этого обстрела находились муж и жена: чеченец Ахмед и русская жена Ирина жили вместе уже тридцать пять лет. Вначале, до Первой войны, никто не знал, кто из них какой национальности — никогда таких разговоров не было. Знали только, что их единственный сын погиб в автокатастрофе.

А потом вдруг выяснилось, что жена у дедушки Ахмеда — русская. Некоторые соседи после такого открытия стали ехидно интересоваться, не прогонит ли он её за порог? Но, получив от дедушки Ахмеда кто ведро помоев, кто по шее костылём, примолкли и почтительно здоровались при встрече.

Их улица, состоящая из частного сектора, переходила из рук в руки: боевики отступили за гаражи со своей переносной пушкой, а русские солдаты заехали на БТРах, открыв огонь из всевозможного оружия. Старики не могли потушить свой загоревшийся дом и прятались в коридоре, где более прочные стены.

А Зайна лежала на снегу, не добежав до двери подвала, где собиралась спрятаться: нельзя было поднять голову и проползти на четвереньках, такой был обстрел. Женщина видела, что дом стариков горит, но позвать на помощь при таком грохоте было невозможно. Никто не слышал собственных слов.

Старуха Ирина в горящем халате появилась на пороге внезапно. Она что-то прокричала, размахивая руками, и вновь пропала в своём маленьком горящем доме.

БТР навёл на этот дом пушку. Солдаты, выскочившие из военной машины, стали стрелять по дому стариков из автоматов, предполагая, что именно оттуда, вероятно, вёлся огонь боевиками.

Люди из подвала увидели происходящее через маленькое отверстие в стене и застыли, понимая, что старики сейчас погибнут. И в эту секунду Зайна вскочила и, не обращая внимания на разрывающиеся рядом снаряды, побежала к БТРу.

— Стойте! Там живут люди! — закричала она. — Не стреляйте!

Приникнув к отверстию в стене, выжившие жители наших домов не могли поверить в происходящее. В неизменных брюках, в лёгкой куртке нараспашку, потеряв в суматохе платок, Зайна закрывала собой чужой горящий дом.

Её рыжие волосы падали крупными кольцами на худые плечи, синие глаза горели, и она казалась необыкновенно красивой посреди этого ада.

Русские военные даже стрелять перестали от неожиданности, и боевики со своей пушкой затихли за гаражами.

Зайна бросилась в дом и вытащила дедушку Ахмеда, задыхающегося от дыма, а затем и бабушку Ирину, которая смогла сбросить с себя охваченный огнём халат и теперь куталась в старое пальто темно-зеленого цвета.

— Здесь живут люди?! — как-то ошарашенно переспрашивали друг у друга военные.

Потом один из них подошёл поближе к старикам и прокричал:

— Где ваши документы?

— Там! — показала бабушка Ирина рукой на потрескивающий чёрный остов. — Если хотите поискать, не стесняйтесь, идите прямо туда!

И, воспользовавшись затишьем, Ахмед, Ирина и Зайна поспешили в подвал. Их никто не останавливал.

Русские солдаты и боевики продолжили воевать.

Через время весть о храбром поступке продажной женщины прогремела по всем дворам.

— Ты такая смелая! — говорили люди при встрече Зайне, а когда отворачивались, шептали: — Всё равно всё знают, кто она. Одно хорошее дело не перевернёт историю молодости.

А Зайна всё так же пела песни и хохотала и однажды пришла к моей маме погадать на картах. Мама давнымдавно не гадала, но Зайна её упросила. Сказала, очень важное дело: жизни и смерти.

— Скажите, я умру молодой? Я не хочу дожить до старости! — твердила Зайна. — Старуха доживает свой век в окружении внуков, а из меня какая старуха? Не получится! Не способна я на это!

Мама раскладывала карты веером и внимательно на них смотрела.

— Вижу, жизнь была у тебя суровая. Но всё пройдёт. Изменится. Ты встретишь хорошего человека. И будет у тебя дом, и будешь ты старая, и будут у тебя внуки-правнуки.

— Неправда!

— Правда! Ещё ни разу карты меня не обманывали. Из-за тебя грех взяла, а ведь обещала больше не гадать.

— А внуки точно будут? — Зайна задумалась.

— Точно. Вижу, мальчик будет маленький, но не сын твой, внук. Любить тебя будет сильно. Будешь с ним играть! И девочка, в розовом платье. Совсем крошка… Подожди-ка, ты беременная?!

Зайна надкусила печенье, которое лежало рядом с ней на стуле. И тут мы заметили, что она плачет. Правда, она тут же начала улыбаться сквозь слёзы, чтобы никто о ней дурного не подумал. Спряталась за стаканом воды.

— Хочешь, прочитаю тебе свои стихи? — спросила я.

Зайна кивнула.

Шум, проходящий сквозь тишину.
Время, которого нет.
Кто-то зачем-то придумал войну
Длиною в сто тысяч лет.

Кто-то зачем-то дал имена
И разделил века.
В мире, в котором всегда война,
Прокляты облака.

Каждый рождённый тянул билет,
И каждый из нас умрёт.
Ты выбираешь — идти на свет
Или упасть на лёд.

Наступила тишина.

— Топай отсюда! — порекомендовала мне мама. — Поэты в России жили и писали лучше тебя, и все умерли в нищете. Твои стихи никому не нужны.

— Я просто хотела…

— Спасибо! — сказала Зайна. И улыбнулась. А потом, смущаясь, добавила: — Меня в тринадцать лет замуж выдали, я жизни не знала. Старалась старшим угодить. Били. За непослушание муж рёбра сломал — не понравилось ему, как я ответила соседу. В больнице лежала. Потеряла ребёнка… Помню, муж бил меня ногами, а в другой комнате были его сестры и мать. Никто мне на помощь не шёл. А я всё кричала: «Я тебя не люблю! Я тебя никогда не любила!» Так и потеряла сознание… К родным я после больницы не вернулась, сбежала. Не простила их. Скрываюсь с тех пор. На самом деле меня зовут Аминат.

— Никому не расскажем! — сразу сказала мама, внимательно посмотрев на меня.

— Теперь, когда жизнь прошла, это уже ничего не изменит.

— Изменит! Карты говорят, всё будет у тебя хорошо. Во второй половине жизни будет свет, а в первой была тьма.

Зайна побыла ещё немного и ушла. Шли недели. Соседи спрашивали друг у друга, куда делась наша хохотушка? Никто не знал. Мы, занятые своими делами, тоже стали забывать её золотисторыжие локоны и синие глаза, пока однажды не увидели на рынке стариков Ирину и Ахмеда. Они переехали к дальним родственникам в село и в городе редко появлялись.

— Пропала Зайна! — сообщили мы.

Старик вздохнул, но перевёл разговор на другую тему. А старуха не выдержала, сказала:

— Зайна изменила имя, родила ребёнка. Смутные сейчас времена. Но и в них есть нечто хорошее: можно затеряться, начать жить заново. Мы чем смогли поддержали её.

И старики, пожелав нам добраться без обстрела домой, пошли к своему авто.

БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СПАСАЮЩИХ

Румиса прибежала к нам под громкую стрельбу из пулемётов и автоматов. Заскочив в коридор, молодая женщина схватилась за сердце.

— Убили? — спросила моя мама.

— Нет! — выдохнула она и села на стул. — Плохо мне! Дайте валерьянки!

Мама налила ей стакан воды и накапала спасительных капель.

Румиса была нашей соседкой и жила через улицу. Дом, где проживала её семья — муж Ибрагим и несколько малышей, — находился в частном секторе.

Когда начались бои, Ибрагим, как и многие мужчины, ушёл на войну.

Город Грозный был во власти огня и металла. В Чеченской республике бушевала Летняя война 1996 года.

Румисе унывать было некогда: младшей дочке не исполнилось ещё и года. Сыновья-дошкольники не боялись стрельбы, храбро выскакивали на улицу. Многодетная мать бегала под обстрелом то на колодец за водой, то в подвал, где прятались старики, и успевала шутить, что смерть её не догонит. Как все мы, она верила, что война скоро закончится и наступит мир.

А самолёты всё бросали бомбы, не останавливаясь, и превращали в руины нашу жизнь. Боевики мечтали сбить хотя бы один, чтобы отомстить.

— Не получится! — говорил им старик, проживающий в соседнем переулке. — Стреляя из автоматов, не достать железную птицу. Летает высоко!

— Получится! — спорили молодые парни. — Если встать рядом, прочитать молитву, а потом выстрелить, когда самолёт пойдёт на снижение, чтобы сбросить бомбы на город, мы пробьём пулями его обшивку, и он рухнет на землю!

— Я служил в советской армии… — объяснял старый чеченец, и его белая борода недовольно вздрагивала от каждого слова. — А вы — нет! Вы даже в школе не учились из-за войны. То, что вы говорите, — чудеса. Не бывает такого!

— Бывает! Аллах нам помогает! — не уступали парни в военной форме, поглядывая на старика недружелюбно.

Война нарушает не только ритм жизни — она стирает законы, порядок: раньше чеченцы со стариками не спорили, а теперь могли даже убить в пылу спора.

Но на этот раз обошлось. Старик, завершая беседу, махнул рукой, а парни с автоматами ушли.

Тетрадь смерти была открыта, и самолёты, пойдя на новый круг, вписали в неё ещё несколько строчек: уничтожили пару домов недалеко от нас. Нам перепала взрывная волна, вырвавшая двери на верхних этажах.

Я, мама и соседи успели спрятаться в коридорной нише. Штукатурка осыпала нас, как жёсткая февральская метель, и, несмотря на августовскую жару, холод смерти присутствовал всюду. В этот момент я подумала, что мой двенадцатый день рождения мы вряд ли отметим.

— Хоть бы этот самолёт разбился! — сказала бабушка Нина, наша старая соседка, перебивая слова молитвы «Отче наш».

— Господь, смилуйся! — плакала её подруга Настасья.

— Валерьянки? — заботливо спрашивала моя мама, подавая прятавшимся у нас русским соседкам стакан с каплями. Я, обняв плюшевого мишку, лежала в углу и ждала окончания стрельбы. Ведь потом можно было выбежать на улицу, где светило солнце и было много цветов.

К вечеру действительно наступило затишье. И в многолюдный двор из нескольких четырехэтажных домов и одного пятиэтажного пришла новость: недалеко от аэропорта сбили самолёт!

Может быть, самолёт сам рухнул, потеряв управление, а может быть, его действительно сбили, как и хвастались молодые парни в форме боевиков.

Наверняка мирные жители не знали.

— Теперь нас не будут бомбить! — кричал мальчик Вася, показывая небу кулачок.

— Домой иди, а то нашлёпаю! — ругал его дедушка, выглядывая из соседнего подъезда: он опасался внезапного обстрела.

Многонациональный двор гремел новостями. Женщины делились пышками, испечёнными на костре, угощали вареньем детей.

Словно капли росы на тонкой паутинке, собирала я слова взрослых.

Вначале говорили тихо. Затем громче. Каждый собравшийся возле костра, где готовили пищу, старался пересказать эту историю посвоему.

— Когда попали в самолёт и он загорелся, лётчик катапультировался. Есть такая кнопка!

— Лётчика расстреляли в воздухе!

— Неправда! Его допросили, а потом убили!

— Я сам видел труп в сгоревшем остове самолёта! — горячился какой-то мужчина с зелёной лентой на голове. Зелёная лента была исписана арабскими буквами.

— Это был второй пилот! — перебивали очевидца.

Оказалось, что в самолётах, которые бомбили наш город, было чуть ли не волшебное кресло, способное спасти человека от смерти, если железную птицу подобьют.

Споры в нашем дворе в конце концов утихли, и люди стали расходиться по квартирам, готовясь к новому дню войны: живые вспоминали убитых, похороненных в садах и огородах. Убитые ждали, когда их можно будет перенести на нормальные кладбища. И не роптали в своих временных могилах.

— Я боюсь, что люди узнают! — плакала Румиса, обняв мою мать. — Нас всех расстреляют! И меня, и мужа, и детей! Никто не простит!

— Бог с тобой! Всё будет хорошо! — утешала мама соседку, разворачивая таблетку валидола.

— Понимаете, тётя Лена, — объясняла Румиса, — Ибрагим — командир отряда. Мы с русскими захватчиками воюем! А зимой девяносто пятого такая история приключилась. Наши сбили самолёт. Лётчик выжил. Сильно был ранен. Его хотели пристрелить, а мой брат не дал. Сказал, сам его добьёт, когда допросит. Бросил в свою машину при всех. Никто ничего не понял. Даже Ибрагим! Как отъехали километров пять, брат сказал: «Помнишь Ивана, с которым я служил? Он ещё меня от смерти спас. Это — он!» Мой муж глянул на этого Ивана, а он без сознания. Привезли его к нам домой. Вы представляете?! За врагом ухаживать меня заставили! Кормить его! Лечить!

С января 1995 года Румиса ухаживала за тяжело раненным русским лётчиком. Ослушаться брата она не смела.

«Этот русский человек спас мне жизнь в армии, а теперь мой долг — вернуть его домой. Живым!» — сказал ей брат.

Шло время. Лётчик выздоравливал. Но ходить не мог.

Светлые волосы и синие глаза выдавали в нём жителя средней полосы. Опасаясь, чтобы соседи не заподозрили, что чеченская семья укрывает у себя российского военного, волосы ему перекрасили басмой, а самому велели помалкивать.

— Ты немой! — учили его в семье Ибрагима. — Говорить не умеешь! Инвалид. Мычи, кивай головой «да» и «нет». И всё! Не дай Аллах, догадаются, что ты по-чеченски не понимаешь! Зовут тебя Рамзан! Как будет момент, попробуем передать тебя твоим родным! В Россию! Мать увидишь! Обещаем! Только молчи, чтобы никто не донёс!

Не зря арабская пословица гласит: «У стен есть уши». Разговоры о необычном больном распространились по нашему району. В момент летних августовских боёв 1996 года в частный дом, где жила Румиса и дети, ворвались боевики с оружием. Это был один из пришлых полков, созданный сельскими жителями, спустившимися воевать в город.

— Где он?! — крикнул главарь Румисе.

Дети в страхе спрятались за её юбку, а в комнате для гостей лежал Иван.

Брат Румисы и её муж отсутствовали.

— Кого вы ищете? — спросила женщина, всем своим видом показывая недоумение.

— Русского солдата! Где вы его прячете?!

— Русского?! — покраснела от возмущения Румиса. — Знаете, кто мой муж?!

— Знаем! Но всё равно проверим, что за человек живёт в вашем доме!

С этими словами вошедшие распахнули дверь и вошли в комнату.

Перепуганный Иван замычал, как и учил его Ибрагим.

— Не смейте его пугать! — закричала Румиса. — У него от взрывов помутился рассудок! Он инвалид! Он не понимает, что происходит! Это… это… Больной брат моего мужа!

Пришедшие слегка смутились, но предводитель отряда боевиков не поверил словам женщины. Взяв в руки Коран, который лежал на столе, он произнёс:

— Готова ли ты поклясться, что говоришь правду?

— Я клянусь своими детьми! — закричала Румиса. — А теперь уходите! Как только придёт муж, я всё ему расскажу!

Младшая дочка, испугавшись громких возгласов, начала плакать. Иван был ни жив ни мёртв с перепугу. Не ожидая от Румисы такой поддержки, он удивлённо рассматривал чеченку, никогда не говорившую с ним, только приносившую еду, как велели ей муж и брат.

Боевики вышли.

...Когда осенью 1996 года бои утихли, дети пошли в школу и показалось на миг — жизнь в Чеченской республике налаживается. Семья Ибрагима объявила во дворе, что повезёт больного родственника на лечение в Ростовскую область. Мужчину по имени Рамзан, который не мог самостоятельно передвигаться, аккуратно посадили в машину и провезли через все военные посты, разбросанные по городу Грозному.

Обратно он не вернулся.

ОБ АВТОРЕ

Полина Жеребцова *— писатель-документалист, журналист, поэтесса.*

Родилась 20 марта 1985 года в городе Грозном (Чечня) и прожила там почти до двадцати лет. В 1994 году начала вести дневники, в которых фиксировала происходящее вокруг. Автор книг: «Дневник Жеребцовой Полины», первый том (2011) о Второй войне, «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994–2004», второй том (2014) «Тонкая серебристая нить», сборник рассказов о мирных жителях на чеченской войне (2015) «Ослиная порода», повесть о советской Чечне (2017), «45-я параллель», документальный роман о современном Кавказе (2017). Проза переведена на многие языки мира.

Лауреат нескольких международных литературных премий.

Роман СОЛОДОВ

КСЕНИЯ

Глава из нового романа

От автора

Моя новая книга ещё не завершена, хотя контуры её вполне обозначены. Она является продолжением предыдущего романа «Белая кость», посвящённого судьбе русского офицера в переломные для России годы. Повествование заканчивается уходом главного героя Бекешева из России в Финляндию в декабре 1917 года.

Кратковременная связь Бекешева с вдовой Ксенией Ткачук привела к рождению ребёнка. Судьбе этой женщины и её сына, прошедшим многие испытания в советское время, и посвящён мой новый роман.

• • • Слова Ксении о приходе немцев оказались пророческими. Почти сразу после подписания «похабного» Брестского мира немецкие войска, не встречая сопротивления, двинулись на восток. Они прошли только что родившуюся Украину, как вилы сквозь копну сена. Поначалу сопротивления не было. Да и кто будет сопротивляться, тем более на далёком от Питера юге? Большевистские Советы только-только родились и никакой военной силой не обладали. Боевые возможности Красной армии оставляли желать лучшего. Красные могли подойти к Киеву и даже взять его, но сразу

покатились назад, как только увидели стальные пики на шлемах немецких пехотинцев. И белые были далеко. И Махно ещё не был возведён в ранг батьки, и легендарные тачанки ещё не успели родиться. И Петлюра как лидер националистов тогда ещё не был столь популярен, чтобы его последователей стали называть петлюровцами. Его курень гайдамаков представлял собой символическую боевую единицу. Потому он и слетел со всех постов, что самолично, несмотря на противодействие Рады, устроил парад в Киеве по случаю освобождения города от большевиков. Возглавили парад гайдамаки.

Немцы вошли в город через десять часов после окончания парада.

Они с такой же лёгкостью взяли Бердичев — его вообще никто не оборонял. Не задержавшись, прошли село, где жила Ксения, и ушли на восток. За считаные дни в их руках оказалась вся правобережная Украина.

Поначалу сельчане даже не ощутили оккупации. Ну, немцы пришли и что?.. Съездившие в город рассказывали, что там все в полном порядке. Немецкая комендатура, грабежей нет — у немцев не забалуешь, магазины, школы, церкви открыты, рынок тоже… Публичный дом пока что справляется с наплывом немецких солдат. Чего ещё надо…

Отец Михаила, полюбовника Ксении, был избран делегатом на Всеукраинский съезд хлеборобов как представитель зажиточного крестьянства. Оказался среди тех, кто проголосовал за избрание Павла Скоропадского гетманом Украины. Бывший генерал действовал быстро и реакционно: распустил Центральную раду и все её учреждения, разогнал земельные комитеты, отменил революционные реформы, возвратив землю помещикам, и упразднил саму Украинскую народную республику. Возник диктаторский режим. На кого он опирался? В основном, на немцев. Сила была на их стороне, потому остальным пришлось смириться.

Хозяевами на Украине стали немецкие войска. Ответ на вопрос, зачем им это было нужно, очень прост: Германия хотела кушать. Еду для голодающего населения страны должны были поставить терпеливые украинские крестьяне. Среди них была и наша героиня. Но в отличие от безоружной Ксении народ был вооружён. Да и Ксения была знакома с оружием не понаслышке. Любовник-офицер давал ей подержать свой штатный револьвер и нажимать на спусковой крючок разряженного нагана. Она это и делала, нажимая на крючок пальцами

двух рук. А что уж говорить о мужиках, совсем не желающих расставаться с той же винтовкой, служившей им в окопах верой и правдой. Много трехлинеек было припасено. И не только винтарей. Поэтому покорности немцы не дождались.

Восстания охватили практически всю Украину. Немцы тоже стали свирепствовать, раздражённые тем, что их атакуют сиволапые мужики и делают это грамотно с точки зрения военной науки. На них нападают, на них, побивших регулярную русскую армию!

В конце концов, пришлось уступить. Тем более, что один из зачинщиков оккупации поплатился за это своей жизнью. Командующий немецкими частями генерал фон Эйхгорн был убит. Не в бою. Эсеры, используя дореволюционную, проверенную временем тактику убийств политических противников, расправились с ним в самом центре Киева.

«Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своём могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже и извозчика, который подвёз его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала». — Так спустя несколько лет описывал это событие создатель «Белой гвардии».

Тут, правда, надо кое-что уточнить: убийца М. Донской был не рабочим, но матросом, происходил из крестьян-староверов. Прислан он был из Москвы.

После ухода немцев в конце восемнадцатого в Киев вступили войска Центральной Рады — на Софийской площади их встречали тысячи киевлян, не знающих ещё, что ждёт их вакханалия безвластия. За три года на Украине вспыхнуло и погасло шестнадцать государственных образований. Почти ни одно из них недостойно даже упоминания, и в истории Украины никакого следа не оставило. Разве что в памяти людской в городках и сёлах, где бесчинствовали их так называемые народные армии.

…Ксения увидела въезжающих в село немцев, когда прогуливалась с детской коляской по главной улице одним далеко не прекрасным

майским вечером. Вечер сам по себе был хорош, ясное небо, тепло, безветренно, как почти всегда хороши вечера в этой местности. Плохим его сделало появление немцев. На телегах расселся взвод солдат во главе с унтером.

Ксения сразу всё поняла. По селу ходили слухи о реквизициях. Говорили, что немцы не просто так отнимают зерно или коров, а иногда платят своими марками. Но люди в сёлах были незнакомы с таким понятием, как обменный курс. В городе обменять на те же рубли или керенки, ещё ходящие в народе, было сложно, но всё-таки возможно. А что с немецкими марками делать в сёлах? Да и не везде марки-то давали, часто забирали ту же свинью по праву оккупанта. В общем, крестьяне верно расценили такие «покупки» как реквизиции.

Сопровождала тележную процессию бричка с двумя седоками. В одном из них сельчане узнали бывшего управляющего помещичьим имением Аполлинария Модестовича, а во втором Ксения, к своему удивлению,— владельца городского книжного магазина Якова Абрамыча. А ему-то чего надо?— удивилась она. Эти двое подошли к унтеру и повели беседу. И тут дошло, что еврей выступает в качестве переводчика.

Появление бывшего управляющего напрягло сельчан. У многих засвербело. Этот знает, кто беден, кто богат, а, войдя в любой дом, сразу определит, что прежде принадлежало помещику. Любая штучка из помещичьей усадьбы смотрится в крестьянской халупе жемчужным зерном в навозной куче. И что теперь? Будет забирать как его собственное? И куда он это денет, если усадьба разгромлена и только ветер свистит в разбитых окнах. А вдруг он станет указывать немцам на крестьян как на грабителей? Как те поступят? Не потащат же глав семейств в городскую тюрьму? Да если всех крестьян волости, принявших участие в разгроме усадеб, сажать, никаких тюрем не хватит. Но зачем-то бывший управляющий приехал…

На безмолвные вопросы крестьян ответ был дан в первой же хате, куда Аполлинарий Модестович вошёл в сопровождении двух солдат. Он достал блокнот из кармана френча, из нагрудного кармана карандаш и, оглядев хату, сделал первую запись. В доме крестьянина нашлись три стула из усадьбы, кухонная утварь — кастрюля, сковороды и прочая мелочь, кровать была покрыта господским одеялом. Управляющий откинул одеяло и записал в блокнот: простыни,

наволочки, подушки… В общем, не зря сходил пограбить усадьбу Петро Вершина, разжился кое-каким добром.

Семья его в полном составе кучковалась возле обеденного стола. Сам хозяин, его жена, трое детей — парубок и младшие брат с сестрой. Апполинарий Модестович встал с другой стороны стола. Потряс блокнотом.

— Здесь записано всё, что вы награбили. Это не считая скота. Животину посчитают немцы, — сухо и негромко сказал он. И вскрикнул, заметив, что Петро открыл рот.

— Молчать!

Услышав привычный для крестьянского уха господский окрик, Вершина только зубами клацнул.

— Я не стану требовать возврата награбленного. Это будет глупо. Пользуйтесь, чёрт бы с вами. Но ты, Петро, за это заплатишь. И заплатишь ту цену, какую я установлю. Не ты, а я! И если тебя это разорит, мне плевать. А ты не грабь! — выкрикнул управляющий последние слова. Помолчав, спросил по-человечески, как бы даже участливо:

— Как же так, Петро? Я ж тебе деньги доверял. Знал, что ты чужой копейки не возьмёшь.

— Да все пошли, ну и я.., — уныло ответил Петро.

— Стадо, оно и есть стадо, — пробормотал управляющий.

— Модестыч, когда цену назначишь? — спросила жена.

Про себя с сожалением подумала, что не смогла отговорить мужа от похода в усадьбу. Но видит Бог, убеждала его не делать этого. Как чувствовала, что придёт расплата.

— Куда ж ты смотрела, Марта? Я ж тебя тоже знаю, как и Петра твоего, — подступил к ней управляющий.

— На усадьбу смотрела. Твои хозяева всё бросили. Прикажешь добру пропадать? Так когда цену назовёшь?

— Обойду всех, посчитаю ночью и дам поутру. До завтра, — управляющий вышел из дома, солдаты следом..

В домах крестьян, прознавших про визит управляющего к Петро, началось волнение. Почти в каждом хозяйстве было чужое, от мелочей до мебели. С последней деваться было некуда, в огород не стащишь, в яму не зароешь, но те же ковры и коврики, одежда, статуэтки, канделябры, подсвечники, посуда… кому что досталось из богатого

убранства дома, можно было попытаться спрятать в тот же подпол, либо завалить сеном на сеновале — не станет же Апполинарий Модестович вилами тыкать туда-сюда в поисках добра.

В одном из таких дворов пришлось прятать многое, всё больше по мелочи. И по мере того, как пустела хата, хозяева, особенно их дочь-молодка, ощутили, что прячутся не просто чужие вещи. Они сами возвращаются в тусклый мир прежнего бытия, когда в их доме не на чем было глаз задержать. Сейчас, во время лихорадочных усилий скрыть награбленное, это ощущалось особенно явственно.

Аполлинарий Модестович, войдя в дом вместе с солдатами и наскоро оглядев комнаты, только усмехнулся. Не спрашивая разрешения, подошёл к крышке подпола и откинул её. Мельком заглянул внутрь, взял лампадную свечу, стоящую у образов, и начал было спускаться вниз, но задержался.

— Ты, Тихон, сундук-то отопри. Либо они отопрут, — он кивнул на немцев и исчез в проёме.

Вернулся не сразу, с двумя тёмными подсвечниками старинной работы.

— Лев Денисович очень просили найти. Как-никак семейная реликвия. С семнадцатого века передавалась из поколения в поколение. Нашел-таки. Он рад будет. Забираю. За остальное заплатишь. Серебро-то чистить надо. Сундучок открыл?

Аполлинарий Модестович подошёл к сундуку, поставил подсвечники на пол и запустил руки в сундук. Вытащил оттуда белую рубашку с вышитым на ней красивым узором. Одобрительно цокнул языком, когда развернул её.

— Вот. На вышиванку-то у тебя гроши есть, — начал было он.

— Это моя вышиванка, — сказала дочь хозяина.

— Да, Поллинарий Модестыч, это её, — подтвердила мать. — С малолетства от иглы не оторвать было.

Он не стал ворошить сундук, положил вышиванку на прежнее место и закрыл крышку.

— Тебя как звать-то?

— Вера.

— Запомню, — взял подсвечники, пошёл было к двери, но задержался. — Вот, кстати. Верина рубашка напомнила. Я ни у кого не видел ни одной картины из усадьбы. Куда они подевались? Вы их где-то сложили? Где? Ведь пропадут!

— А-а..,— хозяин замялся, а потом как с обрыва сиганул.— Мы их порубали.

Управляющий будто меньше ростом стал.

— Как это порубали?— выговорил с трудом.— Там же Поленов был, Коровин, Волков…

— А на кой они?— перешёл в наступление Тихон.— Что мы, деревьев не видали? Прудов разных? Дорог?

— Пап, помолчи,— подала голос Вера.

Управляющий прищурился, взгляд его не сулил ничего хорошего…

Иаков Авраамович, по-русски Яков Абрамыч, а ещё проще Яшка-еврей, устал. Он ходил по дворам вместе с солдатами и уговаривал крестьян смириться с по-немецки аккуратным грабежом. Ведь в случае сопротивления немцы не станут церемониться. Его весьма убедительные слова, подкреплённые ещё и тем, что немцы на месте выдавали марки (правда, поди узнай, чего они стоили) возымели действие. И всё же в сельчанах копилась тёмная злоба…

Далеко не всех сёлах отъём нажитого и награбленного проходил гладко — и выстрелы звучали,.и хаты горели, особенно, если падали на ту же землю немцы, сражённые выстрелом, либо пробитые насквозь вилами, зарубленные топорами… Но село Ксении, большое село со школой, церковью, правда, без фельдшерского участка — город-то рядом, не бунтовало.

Яков Абрамыч устал не сколько потому, что пришлось много ходить и говорить, но от ощущения крестьянской злобы. Она физически давила на него, выжимала из него силы, как маслобойка масло из подсолнечника, он чувствовал — крестьяне ненавидели его больше, чем немцев, тех тоже, но не так, ибо боялись; ненавидели его буквально за всё — за чистую чёрную одежду, за очки, за шляпу, за ботинки, за гладкие и убедительные речи, а главное, за то, что еврей.

Аполлинарий Модестович вошёл в дом Ксении, когда она в одиночестве села вечерять. Переводчик куда-то пропал, да и нужды в нём особой не было — управляющий научился обходиться без его услуг. Солдаты уже хорошо его понимали.

На столе горели две керосиновых лампы, стояла крынка с квасом, кружка, лежали крупная серая соль, смешанная с чёрным молотым

перцем, соленья, шматок сала и пшеничный каравай. Михаила не было. Отец отослал его с братьями в Бердичев купить лес и распилить стволы на доски на городской лесопилке.

— Чего ты у меня позабыл? — грубовато начала разговор Ксения.

— Ни тебе здрасьте, — ответил ей управляющий. — Манеры у тебя…

— Для желанного гостя всегда доброе слово найду, а незваный гость, сам знаешь, хуже татарина. Тебя не звала.

— Не тычь. Я с тобой свиней не пас. Короче! Сама выложишь, что награбила, или искать буду. Что найду, вдвойне заплатишь. За дерзость.

— Ты найди сначала. Давай, давай. Ищи…

Управляющий стал осматривать хату. Не на чем было глаз остановить. Книги на полке удивили. Приглядевшись, понял, что не из господской библиотеки. Уж больно дешёвые. Странным было их присутствие.

— Ты, что ль, читаешь? — воззрился он на женщину.

— А кто ещё в этом доме? Сыну ещё рано, — она кивнула на подвешенную к потолку люльку. — Прочитает, когда вырастет. И не шуми, разбудишь, не дай Бог.

— Дай ключ, — потребовал он, указав на сундук.

— Ну вот, по сундукам начнёшь лазить, исподнее ворошить, — резко отреагировала.

— Зольдатен, — управляющему надоели препирания. Он повернулся к солдатам, сидевшим на скамейке, и махнул рукой в сторону сундука.

Один из солдат встал и, сняв винтовку с плеча, пошёл к сундуку с намерением ударить прикладом по замку. Но остановился, увидев, что хозяйка быстро пошла к образу и достала ключ, лежавший за доской с изображением Божьей матери. Бросила его управляющему.

— Так-то лучше, — управляющий открыл сундук и широко улыбнулся. Попалась, милочка… Прищучил я тебя… Вытащил из сундука аккуратно сложенную шаль.

— Что ты теперь скажешь? — он развернул шаль, и словно осветилась тёмная комната. Вспыхнуло алым, на фоне бордового шелка всплыли по контуру золотые завитки, по краям тяжело легли на шёлк красные с золотом кисти, по центру расцвёл двойной, как в игральной карте, букет золотых, оранжевых, зелёных и белых цветов.

— Положи на место, не твоё! — с нескрываемой злобой произнесла Ксения. — У твоих хозяев такая красота и близко не лежала. Их платки,

шали, накидки всё равно что кучка пятиалтынных. Среди них моя шаль — золотой империал.

Аполлинарий Модестович подивился образности сравнения из уст простой крестьянки и грамотности её речи.

— А у тебя-то такое откуда?

Шаль была явно не из помещичьих вещей.

— Мне отец мальца подарил, — Ксения показала на люльку. — Офицер. Он ещё придёт сюда вместе с армией. Положи на место, тебе сказали.

Аполлинарий Модестович сложил шаль, положил в сундук и пошёл было из комнаты, но остановился в удивлении, когда услышал голос хозяйки:

— Зольдатен!

Солдаты, потянувшиеся было за управляющим, остановились.

Ксения жестом подозвала их. Сноровисто отрезала два ломтя хлеба, положила на них по пластинке сала, протянула солдатам.

— Данке шен, — проговорили они в унисон.

— Битте, — улыбнулась им Ксения. Значение этого слова она знала.

Выйдя из дома, управляющий столкнулся с Яковом Абрамычем.

— У кого были? — спросил переводчик.

— У Оксаны Ткачук. Бой-баба, палец в рот не клади.

— О! Я её знаю. Грамотная, не в пример многим крестьянкам. Книжки любит читать. Покупала у меня.

— Ты книжками торговал. Как сейчас торговлишка?

— Да никак. Старые запасы проедаю. Одна надежда, что катавасия эта закончится быстро.

— Считай, что уже закончилась. Немцы это сила…

— Вы это сельчанам расскажите. Ваши немцы на ладан дышат. Они уйдут. И с кем Скоропадский останется? С его-то политикой… Вот тогда любая Россия, что красная, что белая, захочет Украину назад.

— Ну, мы тоже не лыком шиты. Постоим за самостийность.

Яков Абрамыч досадливо махнул рукой и сменил тему, считая затеившийся разговор бессмысленным.

— Что нашли у Ксении?

— Ничего, — мотнул головой управляющий.

— Я так и думал. Она копейки чужой не возьмёт. Я вам особо не нужен? Тогда зайду-ка навещу, — переводчик пошёл к двери и столк-

нулся с немецкими солдатами, жующими на ходу. Они разминулись, и он вошёл внутрь.

Ксения услышала осторожный стук в дверь. Откинула дверной крюк. Не удивилась, увидев Якова Абрамыча.

— Вот и до меня добрались, — сказала вместо приветствия старому знакомцу.

— Здравствуй, Ксения, — и вошёл в комнату. — Немцы на сегодня закончили.

— Где ж они кучкуются? Или в город подались? — она села за стол и вприщур взглянула на нежданного гостя.

— Нет. В школе расквартировались. Завтра продолжат.

— Ты скажи им, что у меня взять нечего… — И помолчав: — Поесть не предлагаю, ты ж сало не употребляешь. Разве что хлеба кусок, да кваса кружку.

— Я и этому рад буду. За весь день ни маковой росинки.

— Чего ж не попросил у людей? — Ксения пошла к шкафчику с посудой и достала кружку.

— Просить еду не привык, а сами не предлагали. Иногда плевали под ноги.

— А чего ты ожидал? Хлебом-солью встречать будут? — она налила в кружку квасу до краёв, и тем же ножом, что резала сало, отчикнула толстый кусок хлеба. Пальцем указала на тарелку с солёными помидорами, мол, сам возьмёшь.

Ели молча.

— Родила.., — наконец-то заметил подвешенную к потолку люльку. — Как давно? Мальчик?

— В декабре. Мужик.

— Мальчик это хорошо…, — и проглотив солёный помидор и запив квасом, перешёл на другое. — Книги, вижу, сохранила, не пустила на растопку.

— Зачем же добро переводить. Я тут перед родами в городе в типографию заглянула, так они мне в придачу несколько книжек дали.

— А чего в типографии забыла?

— Сало и огурчики им продала. Вот они и дали. Книжки бракованные. У них там много… Я хотела в них покопаться, да застеснялась. Порекомендовал там один Бальзака. Сказал, что он здесь женился.

— Было дело. На графине Ганской. А что у Бальзака прочла?

— «Озорные рассказы».

— И как тебе?

— В самом деле озорник,— усмехнулась Ксения.

Яков Абрамыч подошёл к люльке. Малыш тихо посапывал. Руки не были спелёнуты.

— Давно не пеленаешь?

— Почти как родился. Сразу орать начинал.

— Красивый мальчик. Как назвала?

— Дмитрием. В честь отца.

Яков Абрамыч деликатно не стал выяснять про родителя ребёнка. Кому какое дело, от кого украинская женщина понесла, это у нас у евреев внебрачные дети редко рождаются, ибо мы по строгим заветам Торы жить стараемся, для нас всё важно, всё смысл имеет, рождение дитя всегда особая радость, большой праздник, сопряжённый с ритуалами, а у других… Да и время нынче заполошное…

— Он даже не подозревает, что отцом заделался,— неожиданно сама пошла на откровенность.— Уехал мой офицер далеко, нет его здесь,— Ксения вроде как осудительно дёрнула плечом.

— Так ты совсем одна?

— Есть у меня мужик. В городе сейчас, отец послал за лесом. Завтра вернуться должен.

— Не муж он тебе,— бесстрастно уточнил Яков Абрамыч и вернулся за стол.

— А зачем? Муж права начнёт предъявлять. А так — вот Бог, вот порог.

Они помолчали немного, и он понял, что надо принимать какое-то решение. Она ждёт, когда он скажет: «Ну, я пойду, пожалуй». Тем более, что лёгкий намёк уже прозвучал.

— Э-э,— решился он.— Ксения, можно мне у тебя переночевать? Боюсь, по темноте не дойду до школы — прибьют твои односельчане.

— Это они могут,— охотно согласилась Ксения.— А как ты себе это представляешь? Положить-то тебя найдётся куда.. Подушку, одеяло найду. А поутру, как ты из моего дома выйдешь, всё село уже знать будет, что еврей ночевал, и прочее.. Михаилу моему враз доложат. А он у меня крутой. Ты вот что. Обожди. Мне надо Митю переложить в кроватку, молоко сцедить. За делом и подумаю.

Минуты ожидания были томительными. В голове засело: «еврей ночевал…» Двумя словами повернула его мысли в направлении соблазна. Вдруг всплыло: «озорник»! Сама дала повод! Стервоза!.. Все они одинаковы… Сказал же Господь — «вожделеть будешь других мужчин». Росла уверенность, что ночевать она его оставит.

Ксения вышла из спальни с подушкой и одеялом. Бросила вещи на топчан.

— Одеяло двойное. Половину положишь под себя, второй накроешься. Насчёт раздеться сам решай. Завтра поутру уйдёшь. Я тебя сама подниму. Пройдёшь задами. Хотя… всё равно тебя засекут. Другого ни в жизнь не оставила бы. Ладно. Как-нибудь отбрешусь. Спокойно ночи.

…Сон не шёл. Мысль о том, что за стенкой спит молодая, в самом соку, женщина, будоражила. А, может, она не спит и поджидает его? Не было у него второй женщины в жизни, кроме жены. Да и не надо было. В их кругу на эту тему не заводилось разговоров среди мужчин. И женщины помалкивали. И вот в первый раз!.. А когда будет второй? Никогда!.. Сожалеть потом, что не узнал, какой может быть другая женщина, тем более не соплеменница…

Он встал и почти наощупь, ничего не задевая на своём пути, дошёл до двери в спальню. Беспрепятственный короткий проход почему-то укрепил его в мысли, что сам Господь помогает ему. Открыл дверь — она не скрипнула. Ещё один добрый знак! Вошёл, огляделся и сразу же заметил контуры кровати и женское тело, освещённое слабым огнём керосиновой лампы. Пошёл прямо к цели. Подойдя, оробел. Думал, что сразу ляжет рядом, и не смог.

— Ксения,— почти шёпотом: — Можно мне…

Свою ошибку он понял через мгновение. Она не ждала его.

— Ты что здесь забыл?! — очнувшись, задышливо выкрикнула Ксения и взлетела на постели. И не давая ему опомниться:

— Ты что?! Меня за нужник держишь, чтобы половую нужду справить? Пшел вон из моей хаты, жидовская морда!

Она выпростала ноги из-под одеяла и спрыгнула с кровати.

Выпихнутый наружу, он опомнился только под окном её жилища. Было темно, невдалеке лаяли собаки. Двора Ксении он однако не покинул. Инстинкт самосохранения сработал безотказно — одиноко брести по чутко спавшему селу к школе охоты не было. Дождусь рас-

света и постараюсь выйти на улицу незаметно. Так он и сидел на лавочке, ёжась от холода, клюя носом, и потому не расслышал, как отворилась калитка и во двор вошёл Михаил. Воззрился на дремавшего, меньше всего ожидая увидеть персонаж такого рода во дворе Ксении.

— Ты кто? — подойдя ближе, недоуменно спросил он…

ОБ АВТОРЕ

Роман Солодов *родился в Москве во время войны с Германией. Учился в суворовском училище. Затем закончил МАИ, получил профессию инженера-электронщика. Его тянуло кино. Поступил во ВГИК на сценарное отделение. Как сценарист научно-популярного кино, написал более сорока сценариев научно-популярных и документальных фильмов. Создал два сценария художественных лент. Член Союза кинематографистов России.*

Эмигрировал в США в 1991 году. Сменил профессию, став технологом по изотопной медицине. Проработал в одном из госпиталей около двадцати лет.

В Америке занялся журналистикой, начал писать прозу. За эти годы написаны четыре романа: «Россиянка Дженифер», «Белая кость», «Прокол», «Время откровений», изданные в Америке и России.

Пишет статьи на разные темы, в основном политические. Постоянный автор журнала «Чайка».

Живёт в Нью-Джерси.

Александр СПАРБЕР

ЧЕЛОВЕЧКИ-ИМАГО

Кризис

Я заблудился в тексте, как в лесу.
Точнее, в языке. Не в том ли дело,
что все мы рвёмся выйти за пределы,
куда-нибудь, на волю, на несу-
ществующее поле, где растут
нездешние растения и злаки?
И вот, чутью поверив, как собаки,
мы кружимся и ищем, ищем след…

Ты выйдешь, — говорил себе я. Нет,
не думай, а смотри. Забудь про речь.
Смотри, как лягушонок неумело
своё воздушно-капельное тело
из водоёма силится извлечь;
смотри, как голубые пауки
цепляются за веточки метафор;
запоминай болотный этот запах
и пузырьки.

Ползи, ползи… и словно некий груздь,
из-под земли ты прорастёшь наружу,
и лягушонком выпрыгнешь из лужи,
и может, даже квакнешь что-нибудь.

Почти молитва

А Он всё смотрит…
Что Ты смотришь, Боже?
Ну, хорошо, Ты создал этот мир,
и сделал нас свободными…
так что же?
уж лучше б руки, право, Ты умыл,
да лёг поспать…
Чего Ты смотришь?! Этот
бардак, он что — действительно театр?
И наша очумелая планета —
хрустальное яйцо, волшебный шар,
где все мы на подмостках?
Да, мой Боже?
Снежок идёт, мы мечемся внутри…
Разбей иль помоги. Ну что, не можешь? —
Так не смотри.
Ей-богу, не смотри.

Предвесенний сонет

А только и осталось, что смотреть.
По зёрнышку клевать подобно птице.
Засим, пожалуй, стоило родиться,
а может, нет.
Уже почти на треть
день увеличился. И хищники, и жертвы,
поближе к солнцу выдвинув тела,
так жаждут наступления тепла,
как будто бы и впрямь они бессмертны.

Банально, скажете? Банально, Боже мой!
А я с работы двигаю домой,
переставляя рычаги упорно,
и вижу, как спикировав с ветвей,
из чуть подмёрзшей лужи воробей
водичку пьёт и прочищает горло.

Начало весны

А погода на улице — полный грабарь:
просветлённо, прозрачно, прелестно.
Скоро, скоро…
и всякая божия тварь
разминает затёкшие чресла.

Скоро-скоро расколется панцирь реки,
рыба вверх по струе устремится,
из землицы собратья мои — червяки —
любопытные высунут лица.

И голодные корни лесов и полей
пропитает животная влага;
и, разинувши жвала, по мокрой земле
побегут человечки-имаго.

Я, признаться, и сам любопытный такой:
Кто? Куда? Эх, отвечу едва ли…
Может, хоть направленье покажет рукой
человечек по имени Алеф?*

* Алеф — первая буква иврита. В традиции она, кроме того, трактуется как человек, одной рукой показывающий на небо, а другой — на землю.

Непрерывная жизнь

Это снова зима. Не успеешь вздохнуть — и пришла.
И тогда на земле утвердится лишь чёрное с белым:
снег опустится вниз — и закроет цветные тела
кристаллическим телом.

Это просто вода, посмотри, это просто вода,
лишь на краткое время принявшая форму кристалла;
непрерывная жизнь всё равно проникает сюда,
чтоб начать всё сначала.

Это просто река, это просто такая река,
и по ней мы плывём и плывём, то вперёд, то по кругу,
словно пара мальков, нет, скорее, как два пузырька,
прижимаясь друг к другу.

И когда мы с тобой, наконец, превратимся в одно —
так, что поодиночке никто нас уже не отыщет, —
то возьмём и тайком на речное опустимся дно,
и паук водяной
обустроит жилище.

Гусеница

Вчера с ротвейлером на пару
я вышел погулять, и вот —
посередине тротуара
мохнатая, она ползёт.

Октябрь. С ума сошла, наверно!
Но, словно отвечая мне,
ползла она, и равномерно
бугрились мышцы на спине.

Ползла и бормотала: надо,
мне надо, надо, ё-моё!
Но непосильной стал преградой
бордюрный камень для неё.

Она, как полоумный трактор
(не понимая — нет пути) —
всё время падала обратно
и вновь пыталась заползти.

Какая ж, чёрт возьми, отвага,
ведь явно из последних сил!
…И аккуратно бедолагу
я на газон переместил.

Ну вот, теперь другое дело —
пожалуй, мне приятно знать,
что ближе к милому пределу
ей доведётся истлевать.

ОБ АВТОРЕ

Александр Спарбер *окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности «прикладная математика». Поэзия — ещё одна его страсть.*

В 90-е годы — автор и соведущий передачи о поэзии «Белый лист» на Радио России.

Публикации в журналах «Аврора», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Kulturwelten», «Этажи», «Плавучий мост», «Южное сияние», «Тропы», «Книголюб», альманахах «Белый ворон», «Витражи», газетах «Литературные известия», «Поэтоград» и др.

Автор книги «Трава-вода» (СПб, 2015), изданной в качестве приза абсолютному победителю второго чемпионата Балтии по русской поэзии. Готовится к изданию книга «Жизнь засекомых».

Живёт в Москве.

Лариса СЕГИДА

ОДИН ДЕНЬ С МАСТРОЯННИ

ОТ АВТОРА

Рассказ «Один день с Мастроянни» я написала в апреле-мае 2020 года по возвращении из Италии, где мы с мужем оказались в самый разгар вирусных событий и неделю обитали в пустом Риме в ожидании самолёта в Канаду. Потом были карантинное заточение и внутренняя пустота, что и вылилось в создание этой истории.

Почему влюблённые люди со временем отстраняются друг от друга? Наверное потому, что ожидают от партнёра того, чего в нём нет. Влюбляются в сказку, иллюзию, своё видение другого. Сначала ждут, потом терпят, потом ссорятся в надежде доказать, что имеют право на то, что ожидали, и снова ждут, а в итоге смиряются с придуманностью своих ожиданий, остаются друг с другом, замкнувшись в своих мирах, или расстаются. Что больнее? Они испытали и то, и другое, и в той поре своей жизни, в которой пребывали сейчас, когда искать и строить что-то новое уже было нереальным в силу возраста и отсутствия желания, принимали второе — ракушечный союз, при котором каждый жил сам по себе в своей ракушке, хотя и под одной крышей.

Они прожили вместе много лет. Многослойной любовью, то восторженной, то больной, как, впрочем, у всех. Разные, как любая пара. Он вспыльчив и отходчив. Она спокойна и обидчива. На дни, недели и месяцы она замолкала после очередного его взрыва, которые он называл защитой от её спокойного методичного голоса, просящего его что-то делать более правильно на её взгляд в их союзе и домашнем

хозяйстве. Он не терпел её поучений, хотя она просто пыталась мягко обратить его внимание на какие-то недочёты, как любая женщина. Они всё чаще спали по разные стороны их огромной кровати. Она засыпала мгновенно, чтобы спрятаться в красивых снах от скучной действительности. Он втягивал ночами напролёт интернетное всё подряд через наушники, лишь бы уснуть, поэтому сон его был скорее цифровым, пронизанным бесконечным видео и шумовым потоком и всей галиматьёй, несущейся оттуда. Он завтракал, уткнувшись в экран компьютера, и, придя с работы, ужинал с ним же, засыпал в обнимку с ним на диване в гостиной и зачастую перебирался в их спальню только под утро.

Грубость в её адрес, которая срывалась с его губ в моменты его недовольства её вмешательством в его интернетный покой, была для него обычной, ничего не значащей разрядкой, но для неё это был расстрел её чувств, ещё оставшейся любви, её мечтаний и надежд. Она падала на кровать, плакала, потом успокаивалась и замолкала. Совсем. Сначала на день, потом неделю, потом он подкидывал ситуации, чтобы восстановить их семейное статус-кво без особых усилий — завтрак приготовит, цветы купит, обнимет её, подкравшись сзади, как тёплый кот. Оно всё как-то работало, она прощала, вновь расцветала, веря, что больше такое не повторится. Но оно повторялось и по тому же сценарию.

С возрастом он становился резче во взрывах. Диван в гостиной стал для него островом его свободы, и он ложился на него с упоением путешественника по цифровым браздам и морям. Она ещё пыталась внести в их жизнь приключения реальных походов или поездок и очарования концертов или галерей. Он охотно следовал её предложениям, но ничего не предлагал сам. Он всё время следовал. И она с этим смирилась. Он был попутчиком, вполне уютным, но лишь до момента, когда она обращалась к нему с просьбой или намёком что-то сделать в их старом, но добротном доме немного иначе, лучше, заботливее, с любовью, а не с отмашкой; всё оно мгновенно превращало его в бешеного пса, готового разорвать её в клочья.

Она любила слово. Она впитывала мир через слова. Она вкушала буквы как пирожные. Грубые слова её разрушали. Он знал это и стрелял в неё ими в минуты самоутверждения своего мужского эго, чтобы отделаться от неё, как от надоедливой мухи, и остаться в своём интернетном хаосе, казавшемся ему покоем.

Иногда она выходила на улицу и смотрела на встречных мужчин, желая влюбиться в какое-нибудь лицо, но ничего не получалось. Она всё ещё любила его. Он был красив и уютен, как кот, который вроде бы есть в доме, но с тобою — лишь тогда, когда ему этого хочется. Ей становилось всё пустыннее в своей семейной обители. Она скрывала свою боль от всех, потому что никто бы не смог помочь всё равно. Она ныряла в книги, фильмы, чьи-то творения. Там жила любовь, о которой она мечтала с детства, тёплая, красивая, заботливая, добрая, нежная. Она просматривала свою жизнь, как старое кино, пытаясь вспомнить дни любви, в которые бы хотелось вернуться. Было много чудесных дней, часов, кусочков, но не было того магнетического момента жизни, который бы манил её и вызывал бы в ней вздох по невозвратному.

Дни и ночи стали для неё одним льняным черно-белым полотном, которое выходило из монотонно шумного ткацкого станка её жизни. Ей казалось, что она уже всё сделала в том куске существования, что было ей предназначено. Обычно открытая, теперь она медленно закручивала свою спираль вовнутрь и не находила смысл в обратном. Вот и сегодня подумала: «Что я ещё не успела или не попробовала увидеть, услышать, понять, прочувствовать?» Её память лихорадочно заглядывала в тысячи ячеек её дел, открытий, путешествий, познаний, достижений, встреч, любовей, дружб и отщёлкивала их, словно костяшки счёт, слева направо: сделано, сделано, сделано, сделано, и это сделано, и то… Когда осталась одна, последняя костяшка, суета в закромах памяти прекратилась.

«Я бы хотела прожить один день… Один день любви, о которой лишь мечталось… День, созданный и подаренный мне мужчиной, а не мной… Прожить его с тем, кого не довелось встретить… Я хочу чуда на один день… Без быта, суеты, хлопот, магазинов, зарплат, ипотек, обязательств, всего того, что кромсает голову ежеминутно на мириады кусочков, перемешанных и не могущих сложиться в пазл под названием Счастье…»

Тысячи книг и фильмов проносились в её голове, словно комета. Она пыталась поймать образ того, с кем бы она желала провести такой день. «Мама, ты же родила меня для счастья? Для любви счастливой. Но где же она? Ма-ма… ма-ма…», повторяла она как кукла.

Апрельская грязь из-под таявшего снега похрустывала под её ботинками в такт её шёпоту «ма-ма… ма-ма… ма-ма… ма…»

Она остановилась на мосту и устремила взгляд на льдину с гогочущей парой недавно вернувшихся с юга гусей. Река ещё не тронулась, поэтому они вальяжно перешагивали через ледовые трещины, тянули шеи, расправляли крылья и одаривали друг друга своим восторженным песнопением, понятным только им. Как здорово, что они уже прилетели! Значит, весна наступила.

«Ма-ма… Ма-ма… Ма… Мастроянни… Да, Мастроянни… Я хотела бы провести один день с Мастроянни… — прошептала она. — Но это невозможно… Его нет уже почти четверть века. В этом бессмысленность и абсолютная невыполнимость моего желания. Когда я родилась, многие женщины мира мечтали о таком дне, проведённом с ним. Когда я открыла его талант для себя в своём маленьком внутреннем мире, его уже не было в мире внешнем. Лишь его образы, запечатлённые на плёнке… Но из всех желаний, которые могли бы посетить мою потухшую голову сейчас, я хотела бы именно это — провести один день с Мастроянни…»

Гуси гоготали, река готовилась к ледовому взрыву, солнце щедро светило. Она постояла в упоении весеннего зарождения новизны и пошагала к дому. Было грустно возвращаться в то же недопонимание, царившее в её доме в последние годы. Она любила свой дом, но многочисленные вопросы в её голове кололи её кончиками своих ножек столь часто и упорно, что находиться среди родных стен под грузом этих колких ножек было невыносимо. Укоротить день помогал сон, в который она пыталась нырять как можно раньше, хотя апрельские вечера становились всё светлее.

Она проснулась, когда в спальне царила темнота. Её разбудил запах, тёплый, летний, так может пахнуть кожа после загара. Она любила запах своего мужа, но это был не его запах. Она закрыла глаза и ждала. Она чувствовала себя в чьих-то объятиях. Тоже тёплых и летних, почти невесомых. Они словно были, и словно их не было. Ей было так хорошо, что страх от осознания чего-то незнакомого рядом её совсем не тронул. Она вспомнила, как маленькой любила поутру забираться в мамину кровать и утопать в теплоте и мягкости маминого тела. Те несколько минут, пока мама не выпрыгивала из постели в новый день, были волшебными. То же испытывала она сейчас. Она цеплялась за этот чудный запах, убеждая себя, что это не сон, а явь, но не открывала глаза и не шевелилась, боясь потерять это чудо…

Кот тронул своим мокрым носом её руку, что он делал всегда, чтобы разбудить хозяйку после привычных для него семи часов утра. До семи он обычно терпеливо ждал, гипнотизируя её своим прищуренным взглядом. Но после — его терпению приходил конец, и он мягко тянул свой нос или лапы, чтобы прикоснуться к ней. Свет пробивался сквозь жалюзи. Она не чувствовала ничего необычного вокруг своего тела. Ничьих объятий. Она медленно повернула голову и увидела спину мужа, спящего на самой кромке их большой кровати, далеко от неё.

Она мысленно пыталась сложить кубики сказочной башенки, что рухнула вместе с пробуждением, но кот звал её всеми изгибами своего тела в кухню, утренние мини-заботы лихо вышли на передовую, и она сдалась, согласившись, что это был только сон.

Она вошла в ванную комнату и посмотрела на себя в большое зеркало. Что-то изменилось в её лице и особенно глазах. Они светились, всё её лицо излучало свет, какую-то энергию жизни, вдохновлённой надеждой. Она взяла чёрный карандаш и провела линию по кромке верхнего века, усыпанного ресницами, чего не делала уже много месяцев. Потом нанесла тушь на ресницы и подчеркнула яркость губ прикосновением красной помады, купленной несколько лет назад. Причесала короткие волосы в мальчишеской стрижке. Натянула голубые джинсы и чёрный свитер, но вдруг передумала и вытащила из шкафа изумрудно-зелёное вязаное платье. Сегодня у неё было зелёное настроение в тон расцветающей весны за окном.

Она направилась в кухню сварить кофе в турке, что делала изо дня в день, замерла с кофемолкой в руках, но передумала. Взяла сумочку, надела чёрные туфли на каблуке-столбике, которые любила за удобство, тихо закрыла за собой входную дверь и с радостью выплыла в тёплый весенний воздух. Подставила лицо солнцу и закрыла в ласковом упоении глаза… И ночной запах вернулся! Она стояла, не шелохнувшись, боясь потерять его, как она потеряла его утром. Что-то мягкое коснулось её правого локтя и слегка подтолкнуло его вперёд. Она послушно повела всё тело вслед этому движению. Шаг, за ним другой, ещё один. Её вели, она чувствовала это, но вели так бережно и нежно, словно она была облаком, готовым растаять в прозрачном воздухе. Её каблуки мелодично цокали, шерсть платья обволакивала её бёдра, волосы ворошил маленький ветер. Её сердце стучало, словно танцевало вальс или танго. Ей было так хорошо, как никогда. Будто река несла её на плоту своим неторопливым течением.

Она чувствовала сквозь подошву туфель, что асфальт сменился камнем, потому что её каблуки то и дело соскальзывали с неровной поверхности и попадали в щели. Но её поддерживали и вели, и она продолжала шагать, словно парила. Любопытство всё же взяло верх, она чуть приоткрыла глаза и сквозь сетку ресниц увидела вокруг другие дома, другие улицы, другие вывески, каких не замечала в своём городе: дома с огромными длинными окнами, всего лишь в три-четыре этажа, но по высоте современных многоэтажек, узкие улицы с метровыми по ширине тротуарами, вымощенными брусчаткой, кукольные машины, бесшумно проскальзывающие мимо, элегантно одетые редкие прохожие с собаками или просто со своими мыслями. Ей кивали с едва заметной улыбкой в знак приветствия, останавливались, шагнув в сторону, чтобы освободить ей больше места для прохода, словно она шла не одна, и она действительно чувствовала это, хотя и не видела своего компаньона. Тот волшебный запах ночи двигался вместе с нею, будто кокон, тёплый, летний, напоминающий непередаваемый словами аромат свежего морского загара. Она наслаждалась своим состоянием пленницы этого кокона. Всё, что ей было нужно делать, это дышать и шагать.

Город очаровывал её своей старинной эстетикой и задумчивостью. Она проходила мимо окон мастерских, где чинили книжные переплёты, музыкальные инструменты, картинные рамы или мебель. «Удивительно! В моём городе ничего не чинят. Всё сломанное выбрасывается и покупается новое. А тут…» Каждая витрина удивляла её своим бездонным магическим маленьким миром, начинающимся от высоченных резных деревянных дверей и исчезающим в глубине комнат и коридоров, где трудились мастера. Восхищение от красоты, заполонившей каждый уголочек на её пути, совсем опьянило её. Храмы ремесленников перемежались с художественными студиями и галереями, изобилующими картинами, скульптурами или фотографиями. Меж ними тут и там выныривали ресторанчики и кофейни, готовые своими ароматами украсть у неё мистический запах, преследующий её с ночи. Она почувствовала голод, когда её любимые миндальные пирожные на крутящемся стенде в витрине кафе приковали её взгляд. Её желание словно услышали, и она оказалась в крошечном заведении, пахнущем жареным миндалём, корицей, тёмным шоколадом и кофе, с единственным круглым столиком и двумя плетёными стульями возле окна. Она села, подпёрла щёки

кистями рук и стала любоваться той же улицей, но уже с другого угла. Те же редкие, элегантно одетые прохожие с собаками или без, те же архитектурно продуманные и эстетически выстроенные здания, по каждому из которых можно написать искусствоведческую диссертацию, те же миниатюрные машины, казавшиеся ей мультяшными после тотального преимущества грузовиков и огромных автомобилей в её городе.

Запах кофе, тёмного шоколада, корицы и жареного миндаля усилился. Она очнулась от лицезрения мира за окном и увидела перед собой дымящийся капучино, миндальное пирожное, обсыпанное корицей, и кусочек тёмного шоколада. Она огляделась по сторонам, но никого не увидела. Пожала плечами, улыбнулась и поднесла чашечку к губам. В этот момент заиграла музыка. Душевная, милая, добродушная, как в старых фильмах о любви. Она таяла над дымящимся кофе, как сосулька. «Господи, как же хорошо! Что это, как не сон? А вкуснятинки какие… и всё, что я люблю… эта пироженка… Как же я люблю миндальное пирожное, да ещё обсыпанное моей любимой корррррицей! А кофе! — она сделала глоточек. — Это невероятно. Так хорошо, как не бывает… А шоколад… кто бы это ни заказал, откуда они знают, что это именно то, что я люблю? Странно… и так хорошо…»

Музыка лилась, наполняя клеточки её мозга счастьем. «Наверное, счастье — это момент, короткий или длинный, но именно момент в данности. Оно подобно бабочке: села на цветок или травинку — и любуйся ею, пока не улетит. Вот это и есть моя бабочка — эта музыка, вкусности, окно с видом на прекрасный город». Она стала плавно раскачивать тело из стороны в сторону в такт музыке, и в следующее мгновенье кто-то легко потянул её за локоть, она встала со стула и начала танцевать, спрятавшись в объятиях невидимого партнёра. Она чувствовала его тёплые руки на своей спине. Его запах, тот ночной запах был снова так близко. Она слилась с ним, как летнее поле с туманом.

Потом она оказалась на пересечении трёх улиц, встретившихся у ажурного фонтана. Не успела ахнуть, как её подхватили на руки и понесли над водой. Её короткие волосы не ниспадали роскошной волной, как это обычно показывают в романтичном кино, но всё же она ощущала себя принцессой, оказавшейся в мягком течении реки желаний. Её кружили, брызги фонтана орошали её счастливое лицо, поблизости уличные музыканты играли мелодии давних лет, наив-

ные, добрые, тёплые и вызывающие в душе лишь одно чувство — любить и быть любимой. Она любила своего невидимого партнёра, как можно любить родного и очень близкого душевно и духовно человека, потому что ей было так хорошо, как никогда за все годы её жизни. «Боже мой, — смеялась она. — Я как героиня „Сладкой Жизни“ Феллини! Даже фонтан похож на римский „Треви“, хоть сейчас и не ночь, а день!» Она смеялась. Её голос звучал заливисто, по-детски. Черепичные крыши домов кружились вместе с нею, образуя голубое озерцо неба в середине. Затем её поставили в воду, и ей было всё равно, что прямо в туфлях и вязаном платье, подол которого мгновенно намок и отяжелел.

Тут она услышала свисток, увидела машущего ей полицейского и, всё ещё смеясь, вышла из фонтана. Чёрные туфли блестели и хлюпали, платье стало ярко-зелёным там, где намокло, а она была готова лететь к следующим приключениям. Никто не бросился её порицать. Редкие прохожие продолжали свой путь, приветствуя её слабым кивком головы, страж порядка испарился, её день раскручивал свою пружинку, засидевшуюся в коробочке её жизни в скрученном виде.

Тот волшебный запах любви потянул её в парк на холме. От главных ворот начинались две перпендикулярные аллеи исторических гениев — их бюстов с именами. У некоторых носы были обломаны и заменены более серым материалом, что придавало им комичное выражение любителей горячительного. Она припрыгивала, как девочка при игре в классики, бегала зигзагами меж бюстов и деревьев, пока не наткнулась на небольшое деревянное здание с вывеской «Театр Буратино». Она обожала Буратино с детства за его простоту, прямолинейность, весёлость и неунываемость. «Иногда деревянность, — игриво думала она, — это то, что нужно, чтобы относиться ко всем жизненным перипетиям просто, прямолинейно, весело и неунываемо!» Она обходила здание и с удовольствием разглядывала большие фотографии сцен из театральных постановок этого кукольного театра. «Как там должно быть чудесно во время представления!» Сегодня на вечер был объявлен спектакль «Три поросёнка», а «Буратино» — только через неделю. «Как жаль… Но! Я обязательно вернусь сюда на следующей неделе!» — в ней уже звучал Буратино, неугомонный и неугасаемый.

Рядом с театром она увидела удивительные старинные часы посередине маленького прудика, в котором плавали уточка и селезень.

Механизм работал от воды, падающей на чаши весов под циферблатом, что и приводило его в движение. «Всё такое сказочное… Это город сказок… Они тут живут в каждом булыжнике, каждом камешке, каждой песчинке, каждой капельке… Я влюблена в этот город… Я бы хотела здесь жить… Ваш город прекрасен…» — обратилась она к своему невидимому спутнику.

В этот момент часы начали бить.

«Двенадцать, — она насчитала шёпотом. — У нас есть ещё столько же. Ещё двенадцать часов, правда?»

Подъехал автомобильчик, открылась задняя дверь, она села, дверь закрылась, машина тронулась. Водитель-карлица, дама преклонных лет, судя по её отражению в зеркале, не сказала ни слова. Дорога, вымощенная брусчаткой, едва вмещала две встречные линии, но машин было немного. По сторонам возвышались старинные каменные стены высотой в пять-шесть метров, с лепниной или орнаментом. Автомобиль слегка покачивало на камнях, что было непривычно для неё, привыкшей к ровным асфальтированным дорогам, но она была готова ехать так целую вечность, если бы оставшиеся двенадцать часов можно было растянуть ещё на немножечко.

— Мне так хорошо, — решила она заговорить с водителем. — Я даже не знаю, куда мы едем и в каком мы городе. И вообще… вы как-то так появились неожиданно в парке…

Водитель молчала.

— Да, конечно, я понимаю, не стоит задавать вопросы, ведь нужные ответы всегда приходят сами по себе, — она порылась в сумочке и достала телефон. — Батарейка села. Надеюсь, меня никто не ищет. Впрочем, имеет ли это значение именно сейчас?

Каменная стена сменилась аллеей роскошных сосен с ветвями-шапками, что давало им сходство с исполинскими грибами. За ними виднелись поля, на которых паслись лошади, а чуть поодаль овцы. Затем потянулись разного стиля чугунные ажурные заборы, ворота и простирающиеся за ними вдаль сады и старинного вида каменные виллы.

«Как в старых фильмах… — думала она. — Красиво — дух захватывает… Как, должно быть, счастливы те, кому удалось родиться и жить в таких сказочных домах… Я живу в придуманной сказке всю свою жизнь, а они — в реальной…»

Машина остановилась. Дверь с её стороны открылась, она вышла, дверь закрылась, автомобиль уехал. Она подошла к высоким воротам, за которыми тянулась длинная аллея с цветочными вазонами по сторонам. Она тронула ворота, но они были закрыты на замок. Она потрогала кирпичи на каменной колонне и нащупала шаткий камень, который легко вытащила, и обнаружила в глубине длинный ключ с круглой головкой. Ворота открылись со скрипом, словно их давно не смазывали. Она направилась вдоль аллеи, с любопытством осматривая густо засаженный деревьями сад по обеим сторонам.

Аллея резко повернула влево, потом вправо, и за грядой кипарисов появился увитый плющом фасад дома бежевого цвета, с белыми колоннами и красной черепичной крышей. Высокая резная двустворчатая дверь была заперта. Она вставила тот же ключ, и замок сработал.

За дверью открылась колоннада со стеклянной крышей и цветущей оранжереей слева и справа. Она прошла вдоль неё и оказалась в плетёной из ивы веранде с диваном-качалкой и овальным столиком, заставленным едой и напитками: несколько квадратных тарелочек с разного вида нарезанным сыром, несколько розеток с различного сорта оливками, деревянное блюдо с кусочками чёрного хлеба, три тонких, высоких стеклянных сосуда с белым, розовым и красным вином. Её словно потянули к столу за руку. Она взяла пустую тарелку и наполнила её едой, налила в бокал белого вина. Присела, положила тарелку себе на ноги, оттолкнулась носками туфель от пола и качнулась вперед-назад. Вино оказалось сладковатым — как раз то, что она любила. Необычайно вкусные сыр и оливки придали трапезе пикантное очарование. Голова закружилась, цветочный аромат оранжереи внёс свою лепту в её опьянение, но не столько вином, сколько счастьем, какое она чувствовала каждой клеточкой своего тела. Она скинула туфли и легла на раскачивающееся ложе дивана.

Голубое небо двигалось над стеклянным потолком влево-вправо, влево-вправо.

Её мысли прыгали из левого полушария в правое в такт качалке — влево-вправо, влево-вправо.

Её чувства переливались из левого предсердия в правое вместе с потоком воздуха, окутавшим её невесомое тело, влево-вправо, влево-вправо.

Она проснулась, укрытая белым вязаным пледом. Голубое полотно неба тут и там было в белых пятнышках облаков. На столе стоял

фарфоровый, сиреневого цвета чайник под стеклянным колпаком, сиреневая фаянсовая пара, сливочник и тарелочка с куском торта Наполеон, который выглядел именно так, каким его делала её бабушка: тридцать два слоя, промазанные кремом и сдавленные тяжёлым прессом в течение ночи, так что высота торта снижалась с полуметра до десяти сантиметров. Она отщипнула кусочек, и детство захлестнуло её волной воспоминаний. Вкус торта был тем, бабушкиным. Чай пах травами. Она проглатывала кусочек за кусочком, запивая лакомство душистым чаем, а по щекам её скатывались прозрачные бусины слёз. Они иссушали её, но она наполняла себя чайной влагой. Её годы, беды, переживания, неудачи, страдания, разочарования, крушения, падения выкатывались наружу в виде молчаливых слёз и стекали едва заметными ручейками в землю оранжереи.

«Почему счастье женщины всегда зависит от мужчины, её партнёра, компаньона, жизненного попутчика? Почему он — источник её радостей и печалей? Почему любовь — это вечный хаос? Или, может, то, что хаос, это и не любовь, а то, что мы придумываем себе как любовь, или то, что остаётся, когда она уже уходит, а мы хватаемся за красивые воспоминания и, разрезая пальцы в кровь, лепим из кусков разбитого целое, которое по сути своей невосстановимо? Откуда приходит любовь? Куда она уходит? Почему она уходит? Почему умирает раньше нас самих? Если счастье — это бабочка, то любовь — это птица. Она умирает в клетке быта, дома, стен, забот и зарплат. Этих с трудом достающихся зарплат, что исчезают с гораздо большей скоростью, чем появляются. Наши зарплаты — это заплаты на полотне жизни. Латаем, латаем и не видим из-за них само полотно, саму жизнь. А ведь птица, то есть любовь, может съесть гусеницу до того, как она превратилась в бабочку, то есть в счастье. Значит, любовь-птица может уничтожить счастье-бабочку на стадии гусеницы. Тогда в чём смысл существования, если уничтожения больше, чем рождения и возрождения?… Опять я думаю чересчур. Горе точно от ума, от его непрестанного анализа. Люди не сходят с тела, но они сходят с ума. Правда, можно ли сойти с тела, так же как можно сойти с ума?»

Она вытерла лицо салфеткой и надела туфли.

«Меньше думать — больше чувствовать».

Откуда-то из глубины оранжереи послышался глухой бой часов. Четыре удара. Значит, осталось ещё восемь часов этого необъяснимого приключения. Она решила поискать часы, так как всегда восхи-

щалась напольными, измеряющими время исполинами. Где-то ведь должен быть сам дом, если есть сад и оранжерея?

Колоннада завершалась большой резной двустворчатой дверью, которую обычно дворецкие открывают с особым шармом и лоском, по крайней мере, в фильмах и книгах. Она слегка нажала на дверь, и та открылась в круглую просторную комнату с тяжёлым дубовым письменным столом возле окна с видом на сад. За столом сидел седовласый худощавый мужчина лет семидесяти в чёрном свитере крупной вязки, чёрных брюках и чёрных туфлях. Он макал перьевую ручку в чернильницу и что-то медленно писал на листе бумаги, словно рисовал буквы.

— Добрый день, — произнесла она почти шёпотом и чуть смущённо.

Мужчина не ответил. Он положил ручку и начал дуть на бумагу, чтобы подсушить чернила.

— Простите, я случайно оказалась в вашем доме… Сегодня всё как-то необычно… Меня привезли сюда… Я, правда, сама вошла в ваш сад и дом…

Мужчина сложил лист втрое, вложил его в конверт, встал из-за стола, подошёл к ней вплотную, встретился с её зелёными, ещё влажными от слёз глазами своими карими, почти чёрными, и обнял её. Она положила голову на его грудь, закрыла глаза и позволила моменту полностью овладеть ею. Его подбородок касался её темноволосой, коротко стриженной макушки. Тёплая волна прокатилась по всему её телу. Свитер мужчины источал тонкий, едва уловимый аромат. Он был схож с запахом прошлой ночи. Она сжалась, чтобы спрятаться в этом уютном свитере домашней крупной вязки от той невыносимой повторяемости и предсказуемости жизни, что ждала её дома. Ей до боли под ложечкой захотелось остановить время, не слышать бой напольных часов, который она так любила, замереть, словно статуя, и остаться в этом доме навсегда. Она подняла голову, и её губы встретились с губами мужчины. Она мечтала о таком поцелуе всю жизнь, не представляя, не помышляя, что подарит его ей семидесятилетний мужчина. Она плыла. Она парила. Она летела над бренностью и скукой бытия. Её тело стало пушинкой, пёрышком птицы по имени любовь, крылышком бабочки по имени счастье. Это был поцелуй мудрости, неспешности, тишины.

Время остановилось…

Пространство испарилось…

Она опустила голову, прижала её ещё раз к груди мужчины.

— Простите… Спасибо… — плавно развернулась и пошла к выходу. Её каблуки гулко цокали по мраморному полу колоннады, потом по камням садовой аллеи. Она не понимала, сон это или явь, где она, почему, что будет дальше, просто шла, стуча каблуками своих любимых туфель. Сумочка покачивалась, свисая на длинном ремешке с её плеча.

Её ждала та же машина с тем же водителем. Задняя дверь открылась, она села, машина тронулась.

— Подождите! — неожиданно для самой себя вскрикнула она. — Я кое-что забыла.

Машина дала задний ход и остановилась у тех же ворот, но они были заперты. Ключ она, должно быть, оставила в оранжерее. Ни звонка, ни колокольчика не было.

«Я не могу просто так взять и уехать. Я не могу бросить то, что я только что испытала. Это же и есть моё счастье. Я же только что держала его за крылышки — эту бабочку-счастье. Почему я так глупо ушла? Зачем? Я хочу назад, в этот дом, в эту оранжерею. Я хочу увидеть этого мужчину, познакомиться с ним, стать его другом. Ведь мне никогда не было так хорошо, как несколько минут назад! И никогда больше не будет!»

Но ворота не открывались.

«Пожалуйста, услышьте меня! Почувствуйте, что я здесь, у ворот, что я не убежала, не скрылась, не испугалась. Мне нужно увидеть вас. Ещё раз. Один раз. Ведь у меня есть ещё несколько часов этого волшебного дня. Я не знаю, кто вы, но вы подарили мне счастье, вы вернули мне мою женщину, меня саму, мою чувственность. Я снова чувствую саму себя. Я хочу и могу любить. Я знаю, как любить. Вы воскресили меня».

Она молилась одними губами, не отрывая глаз от конца аллеи перед поворотом.

«Мы с вами — одно целое. Вы должны чувствовать, что я здесь, рядом, в сотне метров от вас. Пожалуйста, откройте ворота!»

Но ворота не открывались.

Поникшая, она вернулась в машину. Ей было всё равно, куда её сейчас повезут. Для неё этот чудесный день закончился. Она хотела

сиюминутно оказаться дома, в своей обычной обстановке, в своём маленьком саду без этой роскошной оранжереи.

«Включи голову. Эти шаткие чувства… Эти бесполезные эмоции… Эта птица-любовь, которая всегда приносит с собой мучения, беспокойства, суету, необдуманные поступки, ошибки, обиды и слёзы, слёзы, слёзы… Странный день… Зачем он мне был дан? Зачем пробудил во мне все эти волнения? Боже, и этот седой джентльмен… Его поцелуй свёл меня с ума… Или с тела?… Его жизнь была явно полна любви и женщин, иначе как ещё объяснить это умение, это настоящее искусство целоваться?»

Машина наконец остановилась. Дверь открылась, и она увидела изящную руку в чёрной бархатной перчатке, предлагающую ей выйти из машины. Она положила свою ладонь на бархат перчатки и вышла из автомобиля. Перед нею стояла великолепная женщина лет шестидесяти, в роскошной чёрной шляпе с большими полями, с высокими скулами, огромными раскосыми глазами, пухлыми ярко-красными губами, с пышным декольте в чёрном бархатном платье с золотой вышивкой, в чёрных бархатных туфлях с золотым бантом на высоких каблуках. Она улыбалась такой широкой улыбкой, что, казалось, были видны все её зубы. Дама лишь кивнула в знак приветствия и поворотом головы предложила следовать за нею.

Они пошли по длинному, слабо освещённому коридору, где один цветочный аромат сменялся другим. Становилось всё темнее, пока кто-то осторожно не дотронулся до её плеч. Она остановилась. Пахло ванилью и мятой. Ароматы пьянили. Она почувствовала, как к её губам поднесли бокал с запахом травяного ликёра. Она сделала глоток, и сладкая влага согрела её горло. Тело словно приподнялось над полом. С неё аккуратно сняли одну туфлю, потом другую. Потом чьи-то руки нежно расстегнули пуговицы на её зелёном вязаном платье, которые располагались на спине, и платье соскользнуло на пол. Затем с неё сняли бюстгальтер и трусики. Ей было нестрашно. Более того, утреннее любопытство вновь охватило её, и сердечко постукивало быстрее обычного от возбуждения.

Её взяли за руки с обеих сторон и ввели во влажное, горячее помещение. Сначала она ничего не видела из-за пара, но постепенно глаза привыкли. Две маленького роста черноволосые женщины в сиреневых туниках уложили её на горячую мраморную чёрного цвета плиту и начали обливать тёплой водой и мягко массировать, погла-

живая её тело намыленными тряпичными рукавицами. С потолка периодически впрыскивалась тёплая вода, так что создавался эффект тропической влажности. К её лицу прикладывали салфетки для сбора лишней влаги, чтобы ей было легко дышать. Затем её перевернули на живот, и с потолка полился тёплый дождь. Он смыл мыльную пену с её тела и вдобавок помассировал его сильными струями. Её накрыли большим пушистым махровым полотенцем и оставили на несколько минут одну. Затем женщины принялись колдовать над её телом. Она лишь лежала и ни о чём не думала. Ей было хорошо и приятно. О ней заботились так, как никогда она не делала сама. Через час или два женщины произнесли одновременно странный звук, типа «Шшшшшшшшшшшуууу», заканчивающийся глубоким выдохом, поклонились и протянули ей пушистые бледно-розовые шёлковые тапочки и такого же цвета шёлковый халат.

Она облачилась в одеяние, накинула капюшон, прыгнула в уютные тапочки. Женщины опять взяли её за руки и вывели в комнату с приглушённым оранжевым светом и зеркальными стенами. Пол покрывал ковёр бежевого цвета. Мебели вокруг не было, кроме вешалки, на которой на плечиках висело длинное нежно-розовое шифоновое платье с более тёмной розовой вышивкой в виде бабочек по всей ткани. На полу стояли розовые шёлковые туфли в тон платью на каблуке-столбике с ремешком и бабочкой-застёжкой. Женщины сняли с неё халат и тапочки и надели платье и туфли. На ней не было белья, но это придало ей ещё больше внутреннего возбуждения, игривости и ожидания чего-то особенного, никогда не испытанного ранее за всю её довольно долгую жизнь. Женщины подставили с обеих сторон табуреточки, встали на них и начали расчёсывать и укладывать её волосы. Она смотрела на себя в зеркальную стену и не узнавала. «Ведь они из меня сделали принцессу! Всё, о чём и не мечтала даже, сегодня сбылось! Они кудесницы! Ради этого момента стоило жить всю мою жизнь!»

— Спасибо вам, — произнесла он вслух. — Вы волшебницы!

Женщины поклонились и удалились.

Она осталась одна в комнате с приглушённым оранжевым светом, ковром бежевого цвета и зеркальными стенами. Вскоре дверь открылась и появилась та великолепная женщина лет шестидесяти, в роскошной шляпе с большими полями, с высокими скулами, огромными раскосыми глазами, пухлыми ярко-красными губами, с пышным

декольте в чёрном бархатном платье с золотой вышивкой и в чёрных бархатных туфлях с золотым бантом на высоких каблуках. Она так же широко улыбалась и являла свету свои ослепительные зубы. Дама опять кивнула в знак приветствия и поворотом головы предложила следовать за нею. Опять они шли по длинному тусклому коридору с цветочными ароматами, пока не вышли на улицу, уже освещённую фонарями. Машина с тем же водителем ждала её. Задняя дверь открылась, и она осторожно села — её новый наряд требовал от неё более женственных телодвижений. Часы на панели машины показывали восемь вечера. «Осталось четыре часа… Как в сказке „Золушка“. Надеюсь, я окажусь в полночь дома, а не с тыквой и в нищенском одеянии посреди дороги неизвестного города».

Машина остановилась на берегу моря или океана. Был полный штиль. От дороги вела заасфальтированная тропинка прямо к воде. Было темно, но там в конце тропинки она увидела освещённую яхту с такого же цвета парусами, как и её платье. Дверь машины открылась, она ступила шёлковой туфлей на асфальт, потом другой, потом выплыла, как розовое облако, в ночной йодированный воздух. Она не видела ничего вокруг, кроме яхты и её отблесков на воде. Оттуда доносились звуки фортепиано. Она чувствовала, что это живая музыка. Кто-то играл на пианино или на рояле на палубе или внутри яхты. Клавишные переливы напомнили ей задумчивую игру Билла Эванса. Она двигалась по направлению к яхте в ожидании чуда как пика этого волшебного дня, подаренного ей небом. Она не боялась, что он закончится. Она знала это с первой минуты вчерашней ночи, когда таинственные объятия вернули ей саму себя. Она поняла, что больше не будет жить для человека, уставшего от неё и, похоже, от самого себя. Она родилась без него в этот солнечный мир ради чего-то большего, чем непонятные страдания из-за несложившихся отношений. Она мучается, тогда как жизнь дана для радости. Она заточила себя в клетке каких-то навязанных кем-то табу и правил. Она точит себя не из-за своих собственных неудач, а из-за несовершенства её отношений с человеком, с которым прожила годы. Они разные, как все. Их поезда столкнулись и, повреждённые, не могут двигаться дальше, а они всё пытаются латать дыры на гнилой ткани их отношений и лечат незаживающие раны.

Она шла грациозно, словно по подиуму. Мистическая яхта стала явью и манила её скорее подняться по трапу, ведущему в загадочный

мир. Но она не торопилась. Она проживала каждое мгновение столь осознанно, столь чувственно, что спешка, цель, открытия потеряли смысл. Она чувствовала себя счастливой, красивой, лёгкой, желанной, любимой миром, всем миром, в особенности этим городом, этим безмолвным маленьким водителем, этими женщинами, что сотворили из неё принцессу. Она была любима этим долгим волшебным днём.

Паруса яхты не колыхались. Она внимательно пригляделась, прищурила близорукие глаза, чтобы лучше видеть, и заметила на них более тёмного оттенка слова «La Dolce Vita». «Мечты точно сбываются…» подумала она. Она медленно поднималась по ступеням трапа, задерживаясь на каждой. Их было двадцать четыре, она посчитала.

«Как часов в сегодняшнем дне… Как, впрочем, в каждом дне, и я могу каждый свой день проживать так же счастливо, как сегодня. Меня нашёл сегодняшний день. Теперь я должна сверять по нему все дни, что мне остались в моей жизни».

Последняя ступень — и она оказалась на палубе. Музыка доносилась из открытых дверей, ведущих во внутренние помещения. Она вошла в полумрак зала. В центре стоял рояль. Из-за его открытой крышки они не видела пианиста, только его чёрные лакированные туфли и чёрные брюки. Раньше первым делом она бы бросилась удовлетворить своё любопытство, но не сейчас. Она положила ладони и голову на крышку рояля, чтобы ощутить музыку кожей и всем своим телом. Она слилась с инструментом в одно целое, будто плыла на ките. Рояль рассказывал ей истории любви. Одна вытекала из другой, как большие реки из малых, жаждущие в итоге слиться с морем или океаном. Дерево инструмента дрожало от ударов пальцев пианиста по клавишам и молоточков по струнам. Она впитывала эту дрожь каждой клеткой своего тела, покрытого лишь тонким шифоном. Они общались через рояль и музыку — она и пианист. Они говорили о любви молча: он — через свою игру, она — через своё восприятие его игры. В первый раз в своей жизни она слушала музыку буквально всем телом.

Произведение закончилось. Наступила пауза. Она не шевелилась и с закрытыми глазами витала в улетевших музыкальных пассажах. Пианист продолжал сидеть, склонившись над клавиатурой. На смену его музыке пришла едва слышимая музыка воды. Из-за штиля всплески волн о яхту были столь нежны, что почти неуловимы. Наконец он встал и увидел свою гостью, прижавшуюся к крышке его инструмента, как спящая птица с опущенными крыльями. Он подошёл к ней и по-

ложил свои ладони на её запястья, таким образом полностью покрыв её собою. Она почувствовала тот же запах, что разбудил её прошлой ночью в полночь, тепло его тела, прикосновение его пиджака и брюк, его пальцев на её руках, его дыхание на своих волосах. Она мягко развернулась в его объятиях и утонула в его губах. Тот поцелуй вернулся, словно и не прерывался. Она слилась с ним, как облако с небом, когда оно тает и превращается из белого в голубое.

Её взяли на руки и понесли в сказку, о которой она мечтала всю свою жизнь, которую знала наизусть, до росинок на траве, до пылинок на дороге. Все прочитанные ею книги и просмотренные ею фильмы уступили место её истории. Он целовал её закрытые глаза, её шею, её грудь под нежно-розовым шифоном, вышитым бабочками. Она целовала его запах, источаемый каждой клеткой его тела. Она умышленно не открывала глаза. В этом не было смысла. Кто бы он ни был, как бы он ни выглядел, ей было хорошо с ним, в его объятиях, в его запахе, в её прикосновениях к его коже. Глаза часто обманывают — приукрашивают либо наоборот. Она не хотела видеть. Она хотела только чувствовать, ощущать, дышать вместе с этим мужчиной и так близко, что, казалось, их сердца бьются в такт. Он опустил её на что-то мягкое и начал бережно расстёгивать маленькие шёлковые пуговички на её платье, которые шли от шеи до кромки рукава и от ямочки на горле до самого подола. Шифон стёк с её тела. Она услышала шорох его одежды, и его обнажённое тело покрыло её, словно пледом. Она слышала биение его сердца. Их пальцы были сцеплены в замок. Они целовали друг друга, словно не могли утолить жажду или насытить голод. Возможно, духовную жажду и духовный голод, которые их тела испытывали вместе с их сердцами и душами. Они оставили весь мир, и утонули друг в друге, будто ждали этой минуты всю жизнь…

Она очнулась в полной темноте. Втянула воздух, насколько смогла, но он пах обычно, как пахнет её дом. Её любимый и такой уставший дом. Совсем рядом напольные часы пробили один раз. Её глаза привыкли к темноте. Она вгляделась в силуэты и узнала свои старинные часы, а рядом с ними торшер. Она поискала ногой кнопку и включила его. Часы показывали половину первого ночи. Она стояла в гостиной своего дома и не могла понять, что она здесь делает в это время суток. Обычно она ложится спать в десять вечера. Она оглядела комнату и увидела себя в зеркале. На неё смотрела красивая женщина в розовом, вышитом бабочками платье и розовых шёлковых туфлях. Она

никогда не видела себя такой красивой. На плече висела её сумочка, из которой виднелся уголок конверта. Она достала его. Он не был заклеен. Внутри лежал лист бумаги, сложенный втрое. Она медленно развернула его. Красивым каллиграфическим почерком были написаны три слова в одной строке:

«Этот день — твой».

И подпись — «М. М.»

Она вошла в спальню, скинула туфли и упала на кровать прямо в платье. Она была готова разрыдаться, но сдерживалась, кусала дрожащие губы и глубже утыкала лицо в подушку. Ей хотелось исчезнуть из реальности, из своего старого дома, который она всё равно любила, из кровати, в которой спала уже много лет, и, главное, из самой себя. Она сжималась в трясущийся от боли комок меж складок простыни и одеяла. Подаренный ей жизнью день закончился и никогда больше не повторится. Таково было её желание, и оно было выполнено. Больше ничего не оставалось. Впереди — ожидание конца. Самоубийство — не для неё. Она слишком сильна для такого шага. Только терпение. Ещё больше, чем было нужно до этого дня, до этой ночи. Она выдержит. Поплачет и выдержит. И будет новый день. Другой. Не сказочный, но другой, и он будет. А это — самое важное в жизни…

Она проснулась от мягкого прикосновения лапы кота к её носу. Ей не хотелось открывать глаза, но она дала себе слово «жить и быть» вместе с каждым следующим днём. Она повернулась и не увидела спины мужа. Возможно, ушёл на работу. Она не помнила, какой был день недели. На ней было всё то же розовое шифоновое платье с вышитыми бабочками. Она встала и босиком направилась в ванную комнату. В зеркале на неё смотрело опухшее, растрёпанное существо с растёкшейся тушью вокруг глаз. Ей не захотелось умыться или причесаться. Она направилась в кухню. Но не захотелось и варить кофе. Тогда вернулась в спальню, надела розовые шёлковые туфли и вышла из дома через парадную дверь, чтобы не увидеть соседей.

Моросило. Она подняла лицо и закрыла глаза. Дождь целовал её мелким бисером прохладных апрельских капель. Её слёзы смешались с небесной водой и с остатками туши стекали серыми ручейками на её щёки. Ей стало зябко, но идти было некуда и незачем. «Заболею и всё… Капут… Всё бессмысленно… Пусто… Пустынно… Никак… Ничто… Никто… Никуда… Нигде… Ни и не — это всё, что у меня осталось».

Внезапно что-то тёплое накрыло её. Она вздрогнула.

Перед нею стоял муж и укутывал её в плюшевое оранжевое покрывало.

— Я бегал в магазин за сливками к кофе. Весь дом обыскал. Увидел тебя в окно. Как мы разошлись? Я вошёл домой, как обычно, через дверь сада, а ты, видимо, вышла через парадную.

Он прижал её к себе, потом схватил её на руки и понёс в дом.

Внутри пахло розами. Он усадил её в её любимое, старое, покрытое истёртым бархатом кресло в гостиной, и тут она увидела в напольной керамической вазе бордовые розы. Он вернулся из спальни с шерстяными носками и надел их на её холодные ступни. Потом присел на корточки, обнял её за талию и положил голову ей на бёдра.

— Прости меня,— произнёс он еле слышно.

Она погладила его ершистые короткие волосы с мальчишеской чёлкой и улыбнулась. Она всегда таяла в такие моменты и забывала все страдания, причинённые им.

— Мне нужно снять моё мокрое платье. А ты взял с улицы мои туфли?

В его глазах был вопрос:

— Ты была без одежды и босиком.

— Как без одежды? На мне было розовое шифоновое платье с вышитыми бабочками и розовые шёлковые туфли…

— Но… ты стояла обнажённая… под дождём. Поэтому я выскочил с пледом.

— Как так?… А тушь размазана?

— Нет. На тебе нет макияжа… Ты не заболела?

— Не знаю…

Он поцеловал её руки.

— Всё хорошо… Будем завтракать?

— Да… конечно.

Он вернулся из кухни с подносом и опустил его перед нею на маленький столик.

Стальной кофейник, две маленькие фарфоровые кружки белого цвета, сахарница, две чайные ложки. На блюдце лежало пирожное с миндалём и корицей.

Она взяла ложечку и стала помешивать кофе.

— То есть… платья на мне не было?

— Нет… У тебя разве есть розовое платье? Ты ведь не носишь розовый цвет.

— Да, не ношу… Ты помнишь… Как вкусно пахнет кофе… Спасибо… И пироженка. Моя любимая…

— Старался…

— А тебе?

— Не хочется сладкого.

— Розы чудесные… Спасибо…

— Я взял отгул… Давай проведём день вдвоём?

Она гладила его ершистые волосы и думала о своём странном сне, который помнила до мельчайших подробностей. Обычно сны остаются в памяти лишь туманным облаком, но этот светился в сознании как любимый фильм, просмотренный десятки раз.

— Сегодня наша годовщина,— сказал он тихо.

Как она могла это забыть, она, которая следила за всеми значимыми датами в их доме?

— Я купил столько роз, сколько лет мы прожили вместе… Я очень тебя люблю и хочу беречь каждый день, который нам дан. Давай не будем больше ссориться. Не будем молчать. Сколько нам ещё осталось?

Он положил ладони на её щёки и нежно поцеловал её губы.

— Да, конечно. Всё будет хорошо,— тихо вымолвила она.— Я тоже очень тебя люблю. Я сейчас оденусь, и пойдём куда глаза глядят…

Они выпили кофе. Он пошёл в сад выкурить сигарету. Она поднялась с кресла, подошла к зеркалу и увидела своё отражение, обёрнутое в плюшевый оранжевый плед. Она сбросила его — под ним ничего не было, кроме её обнажённого тела.

«Значит, это был сон, а я лунатила и вышла на улицу прямо вот так…»

В спальне она не торопясь передвигала вешалки с одеждой в поисках чего-то необычного, красивого и пробуждающего хорошие воспоминания.

«А то зелёное вязаное платье! У меня же никогда не было такого… И я не люблю зелёный, как и розовый… И спицы не беру в руки уже много лет…»

Её взгляд остановился на маленьком чёрном платье с воротником-стойкой. Оно подходило к её состоянию tabula rasa — так сильно ей захотелось начать жить с чистой доски. Она подкрасила ресницы, на-

дела свои любимые чёрные туфли с каблуками-столбиками, расчесала волосы, брызнула на них любимыми духами «Si» и вышла во двор.

Он улыбнулся, увидев её.

Её сердце взволнованно застучало.

Он шагнул к ней навстречу.

— Тебе письмо.

Её сердце застучало сильнее.

Конверт был не запечатан.

Она извлекла из него лист бумаги, сложенный втрое. В смятении посмотрела в его глаза. Они светились.

Она развернула лист и увидела три слова, написанные его почерком.

— «Этот день — наш», — прочла она тихо.

Он прижал её к своей груди и прошептал:

— Да, этот день — наш… И следующий… И другой… И каждый…

«Опять оно всё как-то сработало», подумала она.

Она ощущала его родное, тёплое тело через рубашку, его колючий небритый подбородок на её коротко стриженной макушке, слушала его хрипловатый голос, который убаюкивал её, и в тысячный раз поверила, что эта минута будет длиться вечно.

ОБ АВТОРЕ

Лариса Сегида *— автор нескольких романов и сборников рассказов, композитор и музыкант, выпустивший 8 альбомов. Она — сертифицированный канадский переводчик; закончила философский факультет российского университета. Училась в Литинституте имени Горького.*

В Канаде, где живёт с 2003 года, получила степени мастера и доктора философии в преподавании английского как дополнительного языка. Пишет на русском и английском языках.

Александр МАТЛИН

ВОЙНА МЕСТОИМЕНИЙ

Раз в неделю нам с женой выпадает радость: привозят внуков. Обычно на один день, но иногда, если повезёт, то на субботу и воскресенье. Всего лишь вчера, ну хорошо — позавчера, их мама была в таком же возрасте и такой же радостью. По мере того, как она росла, радость смешивалась с волнениями, головной болью и бессонными ночами. Потом волнения закончились, и появилась новая радость, внуки — девочка и мальчик. За них пока волноваться рано. Счастливое время.

Нашей внучке девять лет. Её зовут Хилари. Для своих подруг она Хиля или Хил, для нас — Хилечка или Хиленька. Моя жена называет её также Хилюшечка, а то и Хилюньчик. Для бабушкиной любви нет предела обилию ласковых имён. Мальчику два с половиной года. Его зовут Барак. Он обожает свою сестрёнку, и она платит ему любовью и заботой.

— Бабушка! — кричит Хилечка, — Баракчик обкакался!

— Тс-с, тише! — Я прикладываю палец к губам. — Не буди бабушку. Она только что прилегла вздремнуть.

— Ничего, ничего, я не сплю, — говорит моя жена из соседней комнаты. — Сейчас я приведу его в порядок.

Она уводит обкаканного Барака в ванную. Хилечка отрывается от своего телефона, пересаживается ближе ко мне и сообщает:

— Дедушка, вы с бабушкой говорите неправильно.

— Я знаю, детка, — соглашаюсь я. — Что поделаешь, английский — не наш родной язык.

— Дедушка, не в этом дело. Вы с бабушкой говорите «он» и «она». Так нельзя говорить. Таких слов больше нет.

— Хорошенькое дело! — пугаюсь я. — Куда ж они делись?

— Это неправильные слова. Они выражают сексизм, расизм и мужское доминирование. Их больше нельзя произносить.

— Боже мой, хорошо, что ты мне это сказала, — говорю я. — А то мы с твоей бабушкой по незнанию произносим чёрт знает что. Так, глядишь, неизвестно, до чего допроизносишься.

— Эти слова «он» и «она», — объясняет внучка, — так же, как «мужчина» и «женщина» отражают устаревшее представление, будто существует всего два пола — мужской и женский. Это неправильно. На самом деле, их шестнадцать, и для каждого пола есть своё местоимение.

— Ну да! Как же их можно запомнить?

— Вот, слушай. Если человек мужчина, и он имеет влечение к женщинам, то надо говорить о нём «хэ» …

— А он об этом знает?

— Дедушка, я же тебе объясняла, что надо говорить не «он», а «хэ». А если у этого человека влечение к другим мужчинам, то это другой пол, и о нём надо говорить «пэ». А если этот человек мужчина, но мечтает быть женщиной, то о нём надо говорить «мэ». А если эта мечта уже сбылась хирургическим путём, то о нём надо говорить «бэ». А если…

— Кисонька, откуда ты всё это знаешь?

— Нам объяснили в школе. Слушай дальше. Если у человека…



— Хорошо, я уже понял. Теперь объясни мне, как быть с малышами, которые пока ещё не «бэ» и не «мэ»?

— О них можно говорить «зэ».

— А как различать мальчиков и девочек, если все они «зэ»?

— Ты не должен говорить «мальчиков и девочек». Это сексизм. А различать их не надо. Когда они вырастут, они сами решат, какой у них пол.

— Но ведь они на самом деле отличаются с момента рождения. У них есть… как это называется… первичные половые признаки.

— Они не считаются.

— Как это не считаются? — возмутился я. — Если бы не мой первичный признак, тебя бы на свете не было! А до этого ещё и твоей мамы не было бы.

— Дедушка, так тоже нельзя говорить.

— Как именно, детка?

— Ну вот так, как ты говоришь — «мама», «папа». Это сексизм и расизм. Как будто мама обязательно женщина, а папа — обязательно мужчина.

— Ну да, мне так всегда казалось. А как теперь полагается их называть?

— Родитель номер один и родитель номер два.

— А как узнать, кто из них номер один и кто номер два?

— Они сами об этом должны договориться.

— Ну, допустим. А как дети должны их ласкательно называть вместо «мамочка» и «папочка»? «Одинчик»? Или «двончик»? А как быть с бабушкой и дедушкой?

Моя Хилюнечка стушевалась, не зная, как поступить с бабушкой и дедушкой. Я сказал:

— Давай подведём итог. Значит, «он» и «она» говорить нельзя?

— Нельзя.

— А «мальчик» и «девочка» тоже нельзя?

— Нельзя.

— «Мужчина» и «женщина»?

— Нельзя.

— «Мама» и «папа»?

— Нельзя.

— А как насчёт «слон» и «слониха»?

Тут из ванной вышла моя жена, ведя за руку повеселевшего Барака.

— Я хочу гулять с Хилечкой, — объявил он.

— Да, можно мы с Баракчиком пойдём погулять? — подхватила Хиля, с явным облегчением отвлекаясь от сложной политкорректной лингвистики.

— Можно, — сказала великодушная бабушка. — Только не отпускай его от себя и никуда с детской площадки не уходите.

Как только за детьми закрылась дверь, зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал родной голос:

— Здравствуй, папочка. Как там мои дети?

— Замечательно. Сегодня твоя дочка учила меня грамматике. Оказывается, больше нет мужского и женского рода. Слова «он» и «она» отменяются.Мужчина и женщина тоже. Теперь есть шестнадцать родов или полов, и для каждого есть своё местоимение. Как тебе это нравится?

— Кошмар! — сказала моя дочка. — Эти молодые люди совсем свихнулись. Куда мы катимся? В моё время было всего девять родов, и мы прекрасно обходились девятью местоимениями.

Я хотел съязвить, но вовремя прикусил язык и сказал:

— Твоя мама отпустила твоих детей гулять во двор, на детскую площадку. Ты не возражаешь?

— Конечно, нет. Ваш двор — самое безопасное место.



Мы ещё немного поговорили, как всегда, ни о чём, старательно избегая политики и политической корректности. Жена по-прежнему возилась на кухне, и я хотел было вернуться к телевизору, но тут раздался звонок в дверь. Я открыл дверь и… почувствовал, что теряю сознание. На пороге, держа за руку Барака, стояла моя внучка Хилечка. Лицо её было залито кровью, и кровь капала на её платьице и туфли. Она истошно ревела. Маленький Барак, наоборот, онемел от страха. Этот страх передался мне, и я с трудом выговорил;

— Хилечка, что случилось?

— Он… меня… ударил, — с трудом проговорила Хиля сквозь рыдания.

— Кто «он»?

— Он… мальчик,— продолжала рыдать моя внучка, с горя употребляя запрещённые слова «он» и «мальчик».

— Как его зовут? Сколько ему лет? Как он выглядит?

— Не знаю… чёрный мальчик… большой… лет двенадцать.

Дальнейший допрос выявил детали. Хиля и Барак строили домики из песка. Тут на площадке появился незнакомый чёрный мальчик, подошёл к песочнице и растоптал все домики. Хиля закричала «Эй, ты что делаешь?»

— И тогда…— рыдала Хиля,— и тогда он ударил меня… кулаком… по лицу… и сказал… «Ты, белая»…и ещё одно слово…

— Какое слово?

— Нехорошее слово,— сказала Хиля и разрыдалась ещё громче

… Прошло не менее часа, пока моя жена успокоила травмированных внуков, вымыла Хилю, уложила их спать и вернулась на кухню. Я начал постепенно приходить в себя. И тут в дверь позвонили.



Я открыл. На пороге стояла молодая чёрная женщина довольно привлекательной наружности. Не поздоровавшись и не представившись, она сказала:

— Сегодня мой сын ударил вашу девочку.

— Так, — сказал я и замолчал, не зная, что говорить дальше.

— Так вот, мистер. Не вздумайте обращаться в полицию, — сказала женщина. — Если заявите в полицию, тогда ваша девочка пусть лучше не выходит из дома. И вы тоже.

Я почувствовал, как в груди запрыгало сердце.

— Вы мне угрожаете? — спросил я изменившимся голосом.

— Я вас предупредила, мистер.

Сердце запрыгало ещё быстрее, и я мысленно сжал его в кулак, чтобы заставить себя говорить членораздельно.

— Ну что ж, мисс… извините, не знаю вашего имени, — сказал я. — Хорошо, в полицию я не пойду. Но я должен вам кое-что объяснить. Я уверен, что вы поймёте. У меня есть оружие. Вполне законное. Очень симпатичный пистолет, Смит Вессон девять миллиметров. Убивает наповал. Хотите, покажу?

Женщина ничего не ответила, но слегка изменилась в лице.

— Так вот, если ваш мальчик ещё раз появится на нашей детской площадке или в радиусе ста ярдов от неё, я его застрелю. Я старый человек, жить мне осталось недолго, и я согласен провести свои последние годы в тюрьме. Ну как, хотите посмотреть пистолет?

— Нет, нет, не надо, — поспешно ответила женщина. — Извините за беспокойство. Можете не волноваться за свою девочку. Спасибо за внимание. Приятно было познакомиться.

Я закрыл за ней дверь и пошёл на кухню выпить воды. Сердце всё ещё стучало так, что я боялся, как бы этот стук не разбудил детей.

— Кто приходил? — спросила жена.

— Женщина. Мать того мальчика, который ударил Хилечку.

— Что она хотела, эта женщина?

— Душенька, — сказал я. — Ты употребляешь неправильные местоимения. «Он» и «она» больше нельзя говорить. Слова «мужчина» и «женщина» тоже.

— Надеюсь, она приходила извиняться?

— А как же. Просто умоляла о прощении. Обещала, что её сын, мальчик добрый и послушный, больше не будет приходить на дет-

скую площадку. Очень милая женщина. Мы с ней сразу нашли общий язык.

— Слава Богу — сказала жена. — Как хорошо, когда люди договариваются мирным путём!

Мы тяжело вздохнули.

Иллюстрации Вальдемара Крюгера

ОБ АВТОРЕ

Александр Матлин *по профессии — инженер-строитель, специалист по морским портам и водным путям. В этом качестве он проработал сорок лет в США, а до этого — пятнадцать лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.*

Помимо проектирования причалов, в Москве Александр писал сатирические рассказы и фельетоны и публиковал их в советской периодической печати, главным образом — в журнале «Крокодил». В начале 1970-х годов в популярной серии «Библиотека Крокодила» вышла книжка его сочинений. Гонорар за книжку Александр истратил на отказ от советского гражданства и выездную визу. Он считает, что это было, как говорят в Америке, «the best thing money can buy».

В Соединённых Штатах Матлин продолжает писать рассказы, которые публикуются в русскоязычных газетах и журналах в Америке, Израиле и Канаде. Многие из них ходят по интернету, зачастую без имени автора.

В 2010 году в Москве, в издательстве Вагриус вышла книга рассказов и стихов Матлина «На троих с ЦРУ». В 2014 году в Нью-Йорке, в издательстве MIR Collection вышла его книга под названием «2 = 1», которая включает рассказы по-русски и в переводе на английский. В 2019 году в издательстве Bagriy & Co (Чикаго) вышел сборник рассказов «Войти в реку времени».

Постоянный автор журнала «Времена».

Владимир ФРУМКИН

ТРИ ПИСЬМА ИГОРЮ ЕФИМОВУ*

ОТ АВТОРА

Эти письма могли быть обнародованы раньше, если бы их адресат согласился опубликовать нашу полемику, вспыхнувшую вскоре после крымских событий весны 2014 года и разгоревшуюся после публикации статьи Игоря Ефимова «Высоколобый бунтарь» («Заметки по еврейской истории», июль 2014). На моё предложение предать нашу полемику гласности мой оппонент, после трехдневных размышлений, ответил отказом.. Причину отказа он объяснил так:

В личных письмах тебе я иду на риск и приоткрываю забрало. Но если мы сделаем нашу переписку публичной, из неё исчезнет важнейший элемент — искренность.

В чём же заключался риск? В том, что, приоткрывая забрало, Игорь мог утратить «расположение друзей и близких», что, по его словам, для него было страшнее, чем лагерный срок (до пяти лет), грозивший ему в СССР за публикацию трудов в Сам- и Тамиздате.

---

* **Игорь Маркович Ефимов** (8 августа 1937, Москва — 12 августа 2020, США) — известный русский и американский писатель, философ, публицист, издатель. В эмиграции сначала работал в издательстве «Ардис», а затем основал издательство «Эрмитаж» (1981), которое выпускало стихи, романы, мемуары, эссе, не имевшие шанса быть напечатанными в Советской России. Здесь же выходят новые романы Ефимова: «Как одна плоть» (1980), «Архивы Страшного суда» (1982), «Седьмая жена» (1990), историческое исследование об убийстве президента Кеннеди (1987), сборники статей. Пять книг Ефимова изданы в Америке в переводе на английский.

После 1991 года почти все книги Ефимова были перепечатаны в России. В частности, философский труд «Стыдная тайна неравенства» вышел в Москве в 2006). В 2005 году вышли воспоминания Ефимова «Нобелевский тунеядец» об Иосифе Бродском, а в 2006 — роман «Неверная».

«Я внял твоим доводам,— написал я в ответном письме,— и отказываюсь от своего предложения обменяться открытыми письмами».

После длительной паузы я опубликовал две статьи в журнале «Времена» («Диссиденты — охранители путинского режима», 2017 № 4, и «Хотят ли русские свободы?», 2018 № 2), в которых коснулся нашего спора, не цитируя формулировок и выражений, которые Игорь позволял себе в частных письмах. В первой из этих статей я даже имени его не назвал. Между тем, читая новые работы Ефимова, я то и дело натыкался на знакомые по его письмам «рискованные» пассажи, которые я комментировал в своих ответах. Похоже, что к концу жизни мой друг начисто избавился от страха «утратить расположение друзей и близких» и не просто приоткрыл забрало, но предстал перед читателем без каких-либо защитных доспехов. Я окончательно убедился в этом, прочитав его последнюю журнальную публикацию («Прогулки по музеям», «Семь искусств», сентябрь 2019),— и решил, что не погрешу против воли и памяти Игоря Ефимова, если отправлю предназначенные ему письма редакции журнала «Времена».

1. МЕТАМОРФОЗА

Началось всё дело с песенки,
А потом — пошла писать!

А. Галич. «Гусарская песня»

Дорогой Игорь!

Вот и у нас с тобой всё с песенки началось. С той, где Моцарт на старенькой скрипке играет. Очень удивило меня твоё толкование одной её строфы, где говорится: «Но из грехов нашей родины вечной / не сотворить бы кумира себе». Подумать только: почти полвека мне казалось, что смысл этой слегка загадочной фразы очевиден для всех и вряд ли вызовет кривотолки. Пока не получил твоё электронное письмо от 28 мая 2017 года…

К песенке этой я ещё вернусь. А сейчас — обращусь к другой твоей ремарке из того же послания, которая удивила меня ещё больше.

Она — о главном грехе мыслящей интеллигенции, о её прямо-таки пагубной страсти: «сладкой похоти ниспровержения». Страсть эта, настаиваешь ты, особенно вредна для незрелых народов, которые становятся неуправляемыми, если власть позволяет ***интеллигентам поносить её с утра до вечера***. К таким незрелым народам ты относишь народ России.

Возможно, тут ты прав. Складывается впечатление, что российский народ не дозрел до классической, полноценной демократии. И одному Богу известно, когда дозреет и возжелает ли её вообще. Согласен и с тем, что насильственное ***свержение*** управляющей таким народом власти ничего хорошего не даст. Мы это уже проходили: «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем…». Разрушили царскую власть — и стало хуже. Намного хуже. Но значит ли это, что мыслящая часть сегодняшнего российского общества, как бы она ни была мала и раздроблена, должна последовать твоему совету и заткнуться, чтобы не раздражать власть? Прекратить критику и просветительство? Перестать говорить и писать правду о своей стране и окружающем мире? Как мне представляется, критиковать и просвещать в надежде хоть чуть-чуть оздоровить глубоко больное общество — вовсе не значит «ниспровергать» или «поносить с утра до вечера», принуждая несчастную власть обороняться и ещё туже закручивать гайки. Где ты видишь в России, — скажем, среди выступающих на «Эхе Москвы» или пишущих в «Новой газете» и заблокированных Кремлём «Гранях.ру» и «Каспаров.ру», — радикальных революционеров, зовущих народ к топору? Нет там таких радикалов. Слишком памятен кровавый опыт русского революционного терроризма и их наследников — большевиков.

Перечитал я твоё письмо и недавние статьи — и подумал: если ты прав, и главную угрозу стабильности общества представляют «высоколобые бунтари», то я должен немедленно посыпать голову пеплом и погрузиться в раскаяние. Глубоко сожалея о том, что когда-то присоединился к критикам режима. К тем, кто своими стихами и песнями под звон гитары с утра до вечера потихоньку расшатывал устои официальной идеологии и культуры. Странно, что ты, прочитав рукопись моей книжки, львиная часть которой посвящена «гитарной поэзии» и критике государственной «массовой» песни, не только не указал мне на мою роковую ошибку, но и предложил напечатать книгу в своём «Эрмитаже». И даже название придумал, «Певцы и вожди», под которым она и вышла в 2005 году в нижегородском издатель-

стве ДЕКОМ. Как видно, в то время ты ещё не осознал до конца, какая опасность таится в свободолюбивых интеллектуалах, живущих среди политически незрелых народов.

И вот когда это знание окончательно в тебе оформилось и созрело, ты решился на поразительный по смелости поступок: совершил ещё одну эмиграцию. Идеологическую. Из мира бескомпромиссных проповедников свободы — в мир охранителей государственного порядка, которые, произнося добрые слова о преимуществах демократии, плюрализма и прав человека, более всего озабочены поддержанием стабильности и сохранением той власти, какая имеется на сегодняшний день. Потому что завтрашняя будет наверняка ещё хуже этой. И если ты когда-нибудь, на минуточку отставив прозу, напишешь свой, ефимовский вариант нерукотворного Памятника, то он, я уверен, окажется более близким державинской версии («…Что первый я дерзнул в забавном русском слоге / О добродетелях Фелицы возгласить…»), нежели версии пушкинской («…Что в мой жестокий век восславил я Свободу…»). Твой стих расскажет потомкам, что ты, во всю силу своих лёгких и таланта, призывал своих современников смириться и терпеть, сидеть тихо, не рыпаться и не раскачивать лодку. Поскольку в незрелой и ненадёжной России любая власть есть благо, и те, кто её разрушат, первыми же и погибнут под её обломками.

«Поглядите на те два фонаря. На одном из них будете висеть вы, на другом я — если мы будем раскачивать стихию. Дудинцев этого не понимает, ему хочется вызвать бурю. А те, кто хвалит его роман, дураки и самоубийцы. Только твёрдая власть может защитить нас от ярости народных масс».

Эти слова критик Александр Дымшиц сказал Ефиму Эткинду, который пришёл в ярость, прочитав в «Ленинградской правде» разгромную статью Дымшица о романе Дудинцева «Не хлебом единым», «где впервые была сказана правда о новом господствующем классе — о номенклатуре, душившей всё живое, как написал Эткинд через много лет в своей „Барселонской прозе“».

Во время другого спора с Дымшицем Ефим Григорьевич, возмущённый лживым до безобразия предисловием Дымшица к книжке стихов Мандельштама, воскликнул: «Не удивляйтесь, если вам не станут подавать руки!» Тот в ответ назвал его «горе-рыцарем» и добавил, что напиши предисловие он, Эткинд, или его единомышленники-демократы, никто бы эту статью не увидел, как не увидел бы и стихов

Мандельштама. «А я их напечатал,— гордо произнёс Дымшиц.— И навлёк на себя упрёки и даже плевки всяких ханжей».

Судя по нижеследующему пассажу из твоего «Высоколобого бунтаря», написанного три года назад, ты прекрасно сознавал последствия твоего решения взвалить на себя неблагодарное бремя усмирителя вольнолюбивых интеллигентских инстинктов и борца против губительной социальной патологии — «сладкой похоти ниспровержения»:

> ***«Живя в Советском Союзе, я точно знал, что мои политические взгляды следует скрывать от властей предержащих и от людей посторонних. Какой парадокс! На Западе я дожил до того, что должен скрывать их от людей дорогих мне и близких по духу, по вкусам, по жизненной судьбе, если не хочу утратить их доброе ко мне расположение».***
> (http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer7/Efimov1.php)

Не знаю, насколько для тебя это важно, но моё доброе расположение к тебе никуда не делось. Твоя философско-политическая метаморфоза вызывает у меня не отторжение, не возмущение, а острое желание понять её генезис. Говоря проще, разобраться в том, какие свойства твоего мощного интеллекта заставили тебя покинуть одну традицию русской мысли и примкнуть к другой, во многом противоположной.

И, наконец, просьба: не стоит записывать в свои единомышленники наших ушедших друзей, которые уже не могут тебе ответить. Цитирую твоё письмо от 28 мая, где говорится, что «многие друзья, включая Гордина и Арьева» (к ним слово «ушедших», слава Богу, не относится.— *В.Ф.*), прочитав твою (вышедшую недавно в России) книгу «Сумерки Америки», ***«отнеслись неодобрительно к тому, что я описал болезни США, в то время как нужно заниматься критикой Кремля. На это мне хочется напеть им строчку из Окуджавы: „И из грехов нашей Родины вечной / не сотворите кумира себе“. Сознаюсь, мы с Мариной становимся непростительными „болельщиками“ за Россию».***

В ответ я заметил, что «удивлён тем, как ты цитируешь и толкуешь строчки из „Песенки о Моцарте“: У тебя они представлены так:

И из грехов нашей **Р**одины вечной / не **сотворите** кумира себе.

А у Булата (вместе с контекстом) так:

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе.
***Но** из грехов нашей **р**одины вечной*
*не **сотворить бы** кумира себе.*

Мне кажется, что ты понял эти две строки ровно наоборот».

Вскоре пришёл ответ:

«Володя, „сотворить кумира из грехов“ невозможно. Кумира создают из борьбы с грехами и разоблачения их. Есть такая вещь — „сладкая похоть ниспровержения“»…

Вот те раз. По-твоему выходит, что Булат тут льёт воду на твою охранительную мельницу. И призывает интеллигенцию (вот для чего ты переделал сослагательно звучащее «не сотворить бы» в повелительное «не сотворите»!) не впадать в грех инакомыслия и критиканства. Не зацикливаться на плохом и тёмном, не «заниматься критикой Кремля». Но ведь сам-то он и не думал молчать в тряпочку! И много чего наговорил такого — и в песнях, и в стихах, и в прозе, и в своих интервью. Вспомни хотя бы это:

В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди
Лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди…

Или это:

Римская империя времени упадка
Сохраняла видимость полного порядка:
главный был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам…

Метафоры, аллюзии, намёки, но достаточно прозрачные для того, чтобы все всё поняли. И читатели-слушатели, и цензоры-редакторы.

За почти 50 лет, прошедшие с тех пор, как Окуджава сочинил «Песенку о Моцарте», я никогда ни от кого не слышал такого при-

чудливого толкования её второй строфы. Когда стихотворение под названием «Моцарт на скрипке играет» появилось в альманахе «День поэзии» (Москва, 1969), «мыслящая интеллигенция», уже слышавшая эту песню благодаря «магнитиздату», удивлялась: как, мол, цензура не заметила крамолы в ***«загадочной строфе о грехах Родины вечной?»*** (цитирую монографию Дмитрия Быкова об Окуджаве). ***«Конечно, о „перегибах“ и „ошибках“ ещё ритуально вспоминали, но всё неохотнее; сама мысль о том, что у Родины могут быть грехи, выглядит кощунственной по советским меркам… Остаётся предположить, что магия этой песни Окуджавы была такова, что действовала и на чиновников отечественной цензуры (в 1976 году, на пике застоя, „Песенка о Моцарте“ была включена в первый советский диск-гигант Окуджавы) — либо их расслабила туманная формулировка. Смысл-то понятен — не следует безоглядно превозносить Родину за то, что достойно осуждения, и как раз шестьдесят девятый год в этом смысле показателен: реабилитация сталинизма шла полным ходом, после Пражской весны последние иллюзии шестидесятников развеялись, „как на кострах“»*** (там же).

Я с Диминой трактовкой согласен. А ты?

И последнее, также относящееся к цитированию и толкованию. В уже упомянутой статье «Высоколобый бунтарь» есть такой пассаж:

> ***«Только горстка русских интеллигентов, собравшаяся в сборнике „Вехи“ в начале 20-го века, была способна осознать, что они „должны были быть благодарны царской власти за то, что она своими штыками и нагайками охраняла их от ярости народной“».***

Слова о спасительных штыках и нагайках произносит в «Вехах» один из авторов сборника, Михаил Гершензон. Ты не только лишил их контекста, но и слегка слукавил: преподнёс от имени всех авторов этой замечательной книги. Нехорошо. И не типично для твоего авторского метода…

2. ОСНОВЫ ЕФИМИЗМА

Власть отвратительна, как руки брадобрея…
О. Мандельштам

Вспомнилось мне вдруг, где и как мы познакомились. Встреча наша произошла в Энн-Арборе, в издательстве «Ардис», которое согласилось издать мою книжку «65 песен Булата Окуджавы». Ты, только что приехавший в США, работал у Профферов то ли корректором, то ли наборщиком, то ли и тем, и другим. И помог этой книжке — первому изданию окуджавских песен с нотами — выйти в свет в весьма приличном виде. Такое не забывается. Спасибо тебе!

Моя трудовая жизнь в Америке началась за несколько лет до этого, жарким летом 1974 года. На фабрике зимних нейлоновых мужских курток в Де-Мойне, столице штата Айова, где проживал мой американский дядя Герман Фрумкин. Устроился я туда, чтобы подзаработать и купить машину, без которой, как мы с Лидой быстро сообразили, в Америке — как без ног, особенно — в маленьких городках, в одном из которых нам предстояло жить.

Взяли меня разнорабочим, платили по тогдашнему минимуму — 3 доллара 29 с половиной центов в час. Я перерабатывал отходы стекловаты, которая шла на подкладку. Бросал бесформенные грязные куски в оглушительно гремящую машину, и, когда специальная камера размером с просторную комнату до отказа наполнялась белоснежным пухом, останавливал агрегат, набивал ватой большие пластиковые мешки и оттаскивал их в другой цех. Я частенько оставался на сверхурочные и пахал, как вол, почти не делая перерывов — думал, что в Америке так вкалывают все. Допускаю также, что во мне сработал глубоко засевший с детства комплекс доблестного стахановца…

Я так увлёкся, что не замечал неодобрительных взглядов, которые бросали на меня мои коллеги. Расплата за мой дурацкий трудовой энтузиазм наступила быстро. Ко мне подошёл президент фирмы Фред Лорбер, велел остановить мою грохочущую машину и произнёс извиняющимся тоном: «Володья, relax! Don’t work too hard! Рабочие

жалуются, говорят, что тебя, наверно, подослала советская госбезопасность с целью помешать свободным американским профсоюзам бороться за права трудящихся!»

Оказалось, что я мог отдыхать не только во время ланча (30 минут), но делать небольшие coffee breaks!

Проработав около месяца, я уволился и купил за 500 долларов подержанный Ford Galaxy 500, на котором мы укатили в штат Огайо, где меня ждала работа директора Русского дома, в котором жили студенты Оберлинского колледжа, изучающие русский язык.

Несмотря на краткость моей карьеры машиниста, я успел подружиться с некоторыми из рабочих моего цеха, у одного из них мы побывали на ужине. Зарабатывали мои коллеги, конечно, гораздо больше моего и совершенно не походили на вколоченный в нас с детства образ пролетариев, угнетаемых безжалостными эксплуататорами-капиталистами и мечтающими, как поётся в «Интернационале», «отвоевать своё добро».

Ещё меньше походил на пролетария молодой негр Рик, с которым я познакомился в спортивном зале Оберлинского колледжа. Он работал сборщиком на заводе Форда милях в 20-ти от нашего городка и приезжал по уикендам позаниматься на снарядах и погреться в сауне. Там, разомлев от сухого тепла, мы и вели наши неторопливые беседы. Рик обо всём судил спокойно и взвешенно, говорил, что работа и зарплата его устраивают, в политике придерживался умеренной линии.

В начале 90-х годов, когда я уже жил в Вашингтоне и работал на «Голосе Америки», судьба свела меня с американскими тружениками села. В качестве переводчика талантливого украинского животновода, приглашённого министерством сельского хозяйства США для изучения основ частного фермерства, я проехал по значительной части Канзаса и Иллинойса. Удивлялся я увиденному там, пожалуй, не меньше, чем украинский гость из совхоза в Киевской области. В особенности — тому, как эти хлеборобы и животноводы разбирались в экономике, финансах, политике. Поразило нас и то, что почти все они оказались миллионерами. Тем не менее, правительство критиковали: за обилие сковывающих бизнес государственных «regulations» и, как ни странно, за чрезмерную щедрость: некоторые субсидии, выплачиваемые государством американским фермерам, они считали ненужными и даже вредными…

Не знаю, как ты, но я не замечал у тех, кого здесь называют «working Americans», проявлений зависти к своим более успешным согражданам. Не ощущал я их и в Европе. Весной 1974 года Боря и Наташа Шрагины привели в квартиру, которую мы снимали вместе в Ostia Lido под Римом, итальянского коммуниста-функционера Энцио, неплохо говорившего по-русски. Он жаловался на то, что итальянский рабочий класс обрастает буржуазным жирком и настропалить его на борьбу за построение социализма становится всё труднее. И вот — придумал новую форму агитации, наглядную, эффективность которой проверяет в Милане, среди рабочих завода Fiat. Энцио и его собратья по партии останавливают работяг у проходных и спрашивают, на каких машинах они приехали на работу. «И тогда мы им говорим: Ага! Посмотрите, на каких роскошных автомобилях подкатывают к заводу ваши начальники! Разве это справедливо? Разве это можно терпеть?»…

Ты наверняка догадался, к чему я клоню. Да, меня смущает твоя формула-схема, призванная объяснить механизм государственного устройства, существующего, в различных вариациях, «последние пять тысяч лет»:

> ***«В любом человеческом обществе существует расслоение, связанное с врождённым неравенством, которое я в своих других писаниях охарактеризовал терминами „высоковольтные“ и „низковольтные“. Между этими слоями будет неизбежно возникать противоборство, непонимание, напряжение. Роль и задача верховной власти состоит не в том, чтобы быть умнее, талантливее, честнее, „высоковольтнее“ всех остальных, а в том, чтобы быть арбитром между этими вечно противостоящими друг другу слоями, чтобы не дать их скрытой вражде выплёскиваться наружу, доходить до кровопролитий».*** («Высоколобый бунтарь», http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer7/Efimov1.php)

Да, природа несправедлива, одни люди умнее, одареннее, энергичнее, честолюбивее других, с этим спорить не буду. Ты подробно и интересно развил этот тезис в своей книжке «Стыдная тайна неравенства» (2006) Но есть в твоих рассуждениях о «высоковольтных» и «низковольтных» нечто такое, что кажется мне перебором, излишней драматизацией, претензией на универсальность. Ощущение это вызыва-

ют такие обороты, как «будет неизбежно возникать противоборство, непонимание, напряжение», «вечно противостоящие друг другу слои», «не дать их скрытой вражде выплёскиваться наружу» и т.п.

Что-то мне это смутно напоминает. Да, вот оно:

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов».

Так начинается первая глава Манифеста коммунистической партии (1848): «Буржуа и пролетарии». Марксизм, религия времён нашей юности, учил нас видеть в любом обществе вечный и неустранимый антагонизм между классами, между угнетающими и угнетаемыми. В изобретённом тобой ефимизме слово «классы» заменено эвфемизмом: у тебя вечно противоборствуют не угнетающие и угнетённые, а «высоковольтные» и «низковольтные». Или «умные» и «дураки», как ты написал в недавнем письме, пытаясь популярно объяснить мне своё учение при помощи «Песенки о дураках» Булата Окуджавы. Заметив попутно, что песенка нуждается в поправке: природа назначила не по одному, как сказано у Булата, а «по десять дураков на одного умного».

Весьма выразительна другая твоя метафора («Закат Америки. Саркома благих намерений». http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php), где современное государство уподоблено плывущему по океану кораблю. На этом корабле имеются лоцман, дозорные на мачтах, ***«на мостике стоит капитан, окружённый помощниками, мичманами и боцманами, отдаёт приказы рулевому, выслушивает дозорных, принимает решения, вершит суд над ослушниками и нарушителями дисциплины». А «в трюмном помещении гребцы налегают на вёсла, кочегары бросают уголь в топки, пушкари чистят пушки, повара готовят обед».***

Ну, и каково этим трудягам («угнетённым», «низковольтным», «дуракам») там, в трюме?

«Гребцам и кочегарам будет казаться, что их перегружают надрывным трудом, заставляют двигать корабль неведомо куда,

когда в трюмах ещё полно запасов еды и пресной воды, львиная доля которых достаётся бездельникам, окружающим капитана или болтающимся в своих комфортабельных смотровых гнёздах на мачтах».

Эти настроения — вечный источник напряжённости, чреватой взрывом. Того и гляди, случится **«новый „Бунт на Баунти“ или „Броненосец Потёмкин“»**.

И здесь мы подходим к самому интересному, самому пикантному элементу твоей теории. Кто же, по-твоему, главные зачинщики смут и кровавых социальных взрывов? Кто затевает корабельные бунты, революции и гражданские войны? Отчаявшиеся несчастные работяги, которым «нечего терять, кроме своих цепей»? Никак нет! Виновники всему — лоцманы, боцманы и дозорные, которых ты в другом месте называешь «высоколобыми хозяевами знаний». Которые ***«не в силах разглядеть глубинную суть верховной власти, описанную Томасом Гоббсом в его главном труде „Левиафан“: её главная роль состоит не в том, чтобы господствовать над всеми и вести народ за собой, но в том, чтобы служить арбитром между враждующими группами населения, между дальнозоркими и близорукими, между управляющими и управляемыми»***.

Непонимание этой глубинной сути верховной власти превращает высоколобых интеллектуалов в бунтарей, охваченных, как ты выразился в письме от 29-го мая, «сладкой похотью ниспровержения».

Ох, как ты их не жалуешь, этих витийствующих борзописцев и бумагомарак!

«***Нет, не может интеллигент полюбить правителя — хоть ты его режь!»*** — восклицаешь ты в начале своего программного очерка «Высоколобый бунтарь». — Российский интеллигент — тем более.

Разве что великий Пушкин в зрелые годы сумел с сочувствием вглядеться в судьбу Бориса Годунова, восхититься Петром Первым, даже найти слова одобрения для Николая Первого: **«он честно, бодро правит нами»**. Но друзьям его молодости, которые потом вышли на Сенатскую площадь в Петербурге, больше нравились его юношеские строчки про Александра Первого: **«кочующий деспот»**, **«плешивый щёголь»**, **«враг труда»**.

Что ж, поздравляю. Ты умудрился избавиться от этого родового изъяна русской интеллигенции, заглушить в себе зловредную и слад-

кую «похоть ниспровержения» и полюбить правителя, определив для него спасительную нишу: арбитра между вечно и повсеместно враждующими высоковольтными и низковольтными. И, наплевав на риск потерять понимание и уважение своих многолетних друзей, громогласно и многократно призываешь разобщённую и отнюдь не могучую кучку критиков российского режима умерить пыл и не «поносить с утра до вечера» кремлёвского диктатора, каким бы ужасным он им ни казался. Ты едко иронизируешь над теми, кто ***«со страхом замечают феномен так называемой „сталинизации“. И предаёшь анафеме политических комментаторов, которые „ищут, кому это выгодно, кто подспудно толкает страну в сторону возрождения страшного режима“»***.

Но вот что странно, Игорь. При всей пытливости твоего ума и поистине гигантской эрудиции, ты прошёл мимо других, отличных от твоих, толкований природы и происхождения революций. Есть, например, такая теория, которой придерживается целый ряд серьёзных историков, как на Западе, так и в России: революции совершаются радикалами, но происходят они по вине консерваторов.

«Очень часто огромный вклад в развитие революции вносят те люди, которые любой ценой хотят её предотвратить**,** — заметил недавно Борис Колоницкий, профессор истории в Европейском университете (Санкт-Петербург). — Если ничего не делать, соблюдая жёстко консервативный курс без какого-либо развития (а совместить консерватизм и развитие довольно сложно), то это очень часто приводит к революции». (https://charter97.org/ru/news/2017/1/22/238505/)

В книге американского писателя и историка Семена Резника «Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына» имеется большой раздел, занимающий львиную долю первого из двух томов этой книги. Озаглавлен он так: **«Коронованный революционер»**. В нём — подробно и в высшей степени убедительно — рассказано о том, что мог сделать (и не сделал!) император Николай Второй, чтобы содействовать *эволюционному* развитию России и предотвратить катастрофу 1917 года. Рассказ этот — отличная иллюстрация мысли профессора Колоницкого о роковых последствиях «жёстко консервативного курса без какого-либо развития».

Но теории теориями, споры спорами, а российский корабль плывёт себе и плывёт, всё более отдаляясь от материка под названием

«Западная цивилизация». Мы с тобой сбежали на этот материк, когда на мачте корабля развевался красный флаг с серпом и молотом. Теперь там полощется триколор, который всё больше смахивает то ли на красно-коричневый, то ли на чёрный, пиратский. Те, кому это активно не нравится, один за другим перемещаются на наш материк, чтобы не повторить судьбу тех, кого сбросили с корабля, предварительно отправив на тот свет. Оставшиеся в России «высоколобые бунтари» продолжают говорить, писать, кричать о том, что кораблю нужен капитальный ремонт, и что идёт он ложным, гибельным курсом. Между тем ты, из своего безопасного далека, призываешь их уняться, обуздать свою «похоть ниспровержения» и посочувствовать пахану-капитану, взвалившему на себя труднейшую и неблагодарнейшую роль арбитра между трюмом и верхней палубой. Роль эта до того обременительна, что капитану на мостике порою чудится, что он заброшен в самый низ, в трюм, на самую тяжёлую работу:

«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил». Это было сказано моим тёзкой и бывшим соседом с Баскова переулка 12 (я жил на Баскова 6) в Кремле 14 февраля 2008 года. Девять с лишним лет минуло с тех пор, а он, болезный, всё ещё пашет. И, надо думать, долго ещё будет пахать, грести, рулить и отдавать приказы с капитанского мостика. Он ведь там — «наше всё», властная вертикаль в одном единственном лице, так что не тревожься, Игорь: арбитраж обеспечен, режим не рухнет. Корабль, правда, будет ржаветь, дно обрастать ракушками и водорослями, ход его замедлится, но потонет он не скоро. На их — капитана и его сатрапов — век хватит вполне.

Вот такие пироги, дорогой друг.

А мы тут витийствуем, ломаем копья в спорах и доживаем свой век в погружающейся в сумерки, но пока ещё благополучной Америке.

Всех благ,
Твой В. Ф.
Июнь 2017

3. ОТБОЙ

Дорогой Игорь!

Я внял твоим доводам, изложенным в письме от 18-го июня, и отказываюсь от своего предложения обменяться открытыми письмами. Хотя, честно сказать, не всё в этих доводах понимаю. Письмо это ты начинаешь так:

> ***Дорогой Володя, я обдумал твоё письмо от 15-го июня и выбрал трусливо отклонить твоё предложение. Ты знаешь, что в СССР я публиковал в Сам- и Тамиздате труды, за которые мог получить до пяти лет лагерей. Но сегодня мне грозит более страшное наказание за мои «неправильные идеи»: утрата расположения друзей и близких. В личных письмах тебе я иду на риск и приоткрываю забрало. Но если мы сделаем нашу переписку публичной, из неё исчезнет важнейший элемент — искренность.***

Я перечитал твои письма, относящиеся к нашему спору, и нашёл в них всего лишь три-четыре выхода за рамки твоих опубликованных работ. Вот они:

1. ***Есть такая вещь «сладкая похоть ниспровержения». Мыслящая интеллигенция с одинаковой страстью предаётся ей и в России, и на Западе, это естественно, в этом она видит своё назначение.*** *(письмо от 29 мая 2017),*

Ты, возможно, полагаешь, что эта броская и едкая «сладкая похоть» больно кольнёт оставшихся в России близких друзей, выражающих недовольство нынешним российским режимом. Не знаю, может быть.

2. Продолжаешь ты эту свою фразу так: ***Но на Западе они устроились хитро: противоборствующие партии ниспровергают друг друга по очереди. Однако в каждой стране есть ещё трудная работа, называемая «управлять народом». И есть незрелые народы, которые не умеют, не станут подчиняться власти, позволяющей кому-то с утра до вечера поносить себя (пресловутая и бесценная «свобода слова»)***.

Здесь бросается в глаза резкое словечко «поносить» и то, что столь высокое понятие, как ***свобода слова***, ты снабдил снижающим эпитетом «пресловутая» да ещё и заключил в иронические кавычки. От этого могут поморщиться многие. Как на Западе, так и в России.

3. В письме от 8-го июня ты популярно объясняешь мне своё учение о вечном конфликте между «высоковольтными» и «низковольтными» при помощи «Песенки о дураках» Булата Окуджавы. И предлагаешь, для наглядности, заменить высоковольтных на умных, а низковольтных на дураков.

Заметив попутно, что песенка нуждается в поправке: природа назначила не по одному, как сказано у Булата, а ***«по десять дураков на одного умного»***.

Не исключаю, что эта метафора представляется тебе рискованной потому, что в недоумки попадает весьма обширный сегмент общества. Который, согласно другой твоей метафоре, уподобляющей государство бороздящему океан кораблю, располагается в трюме. Там, в самом низу социальной лестницы, «***гребцы налегают на вёсла, кочегары бросают уголь в топки, пушкари чистят пушки, повара готовят обед».*** («Закат Америки. Саркома благих намерений». http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php)

4. ***Мы оба на девятом десятке выстроили себе домик для души, то есть картину мира, и я вовсе не хочу разрушать твою и требовать чтобы ты сменил свои страхи — превращение правителя в тирана — на мои — разгул победившей майдановской черни.*** *(18 июня 2017)*

«Майдановской черни»… Тут я более, чем поморщился — вздрогнул. Почудилось, что читаю не Ефимова, а какого-нибудь Прилепина или, прости господи, Проханова.

Риторические вольности такого рода ты выносить на публику не намерен. Почему? Потому что считаешь, что если нашу полемику лишить откровенных пассажей, допустимых в частной переписке, ***«из неё исчезнет важнейший элемент — искренность»***.

Ну, насчёт искренности я с тобой полностью солидарен, поскольку сам терпеть не могу притворства. Нам осточертело лукавить и кривить душой там, в оставленном нами мире. И правда, зачем же заниматься этим здесь, на подходе к последней черте? На мой взгляд, ты этим грехом не страдаешь, хотя в твоих официальных публикациях ни про сладкую похоть не говорится, ни про дураков-работяг, ни про

«пресловутую» «свободу слова», ни про «майдановскую чернь». Зато в них есть нечто иное.

Вспомни: ещё три года назад, ты, не таясь и не притворяясь, громогласно произнёс следующее: ***Живя в Советском Союзе, я точно знал, что мои политические взгляды следует скрывать от властей предержащих и от людей посторонних. Какой парадокс! На Западе я дожил до того, что должен скрывать их от людей дорогих мне и близких по духу, по вкусам, по жизненной судьбе, если не хочу утратить их доброе ко мне расположение.*** («Высоколобый бунтарь». http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer7/Efimov1.php)

Прочитав эту статью, я подумал: «Надо же! До чего смело! С такой прямотой признаться urbi et orbi в своём инакомыслии наоборот! В отказе от либерализма и переходе в охранительство!»

Судя по твоим книгам и статьям последних лет, ты отбросил обуревавшие тебя страхи и бьёшь прямой наводкой по «мыслящей интеллигенции», охваченной пагубной страстью ниспровержения власти, которая позарез нужна любому обществу в качестве арбитра между готовыми пожрать друг друга высоковольтными и низковольтными. Но ты пошёл на ещё больший риск — в статьях, где ты скрылся под придуманным тобой именем. И если ты рассчитывал, что «дорогие тебе люди» не узнают в них твой почерк, манеру, интонацию и лексику, то ты проявил поразительную наивность, которой я в тебе прежде никогда не замечал. Прочитав эти статьи, написанные с открытым настежь забралом, я тут же вспомнил галичевский «Красный треугольник»: ***«Вот стою я перед вами, словно голенький»***…

Но и в тех работах, где ты выступаешь под своим именем и где, по твоим словам, ты **не приоткрываешь забрало**, легко прочитывается твоё, изумившее меня, учение о причинах общественных катаклизмов и путях достижения пусть шаткого, но более или менее сносного социального равновесия. Подтекст всех этих работ тоже предельно ясен:

«Прислушайтесь к моим „Основам ефимизма“, вникните в открытые мной рецепты, и человечество навсегда избавится от кровавых социальных конфликтов».

Ты обходишься без экивоков и недомолвок, не прибегаешь к «эзопову языку». Так что читатели вполне адекватно понимают твои идеи. С чем-то они соглашаются, с чем-то — нет. Вот что мне написал недавно твой и мой знакомый, прилежно читающий все твои труды:

Конечно, позиция Игоря для меня неприемлема, но не потому, что он против свободы и демократии (тут мы все вроде бы согласны, что это не для России), а потому, что он как-то игнорирует огромный масштаб экономических преступлений против народа, совершаемых правителями. Почему для него это не важно, почему он этих правителей поддерживает и уважает, я понять не могу. Возможно, потому, что он идеолог, а практические вопросы его не интересуют. Если бы в России был правитель авторитарного толка, но честный, у меня никаких возражений не было бы. Но этого просто не может быть, потому что система такова, что честному человеку наверх не пробиться.

Автор письма, критикуя тебя, не пощадил и твоего оппонента, то есть меня:

Кроме того, мне кажется, что вы с Игорем преувеличиваете роль интеллигенции в российском политическом процессе. Он боится, что дай ей волю, и она опасно расшатает ситуацию, приведёт к майдану. (Я лично ничего страшного в майдане не вижу, кроме волеизъявления народа.) А ты думаешь, что путём просвещения можно постепенно воспитать народ так, чтобы он без всяких революций и кровопролития сделал из России свободную страну. Я в этом вопросе скептик, циник и пессимист.

Эх, если бы только этим ты и ограничился: преувеличивал роль интеллигенции! Куда там! Она почему-то тебя жутко раздражает, и ты обрушиваешь на неё всю мощь своей риторики, сочащейся иронией и сарказмом. Твоё отвращение к витийствующим высоколобым бунтарям напомнило мне фразу Ленина из письма Горькому от 15 сентября 1919 года о том, что интеллигенция, на самом деле,— не мозг нации, а говно. У тебя эта «прослойка» смахивает, скорее, на другую субстанцию — радиоактивные отходы, угрожающие здоровью и стабильности общества и чреватые катастрофическим взрывом. Владимир Ильич, как известно, вышвырнул цвет русской интеллигенции за пределы России. На так называемом «философском пароходе», хотя на самом деле пароходов было больше: два из Петрограда и несколь-

ко из Одессы и Севастополя. Да ещё и поездами этих умников везли — из Москвы в Латвию и Германию. Будь твоя воля, ты, надо думать, поступил бы примерно так же, но обошёлся бы одним судёнышком. Вполне подходящим, чтобы разместить то, что чудом уцелело от мыслящей и честной русской интеллигенции за советские и путинские годы. Не сомневаюсь, что тебе охотно помогли бы осуществить эту операцию такие деятели, как Никита Михалков и примкнувший к нему брат и коллега — недавний либерал Андрей Кончаловский. Да и многие другие мастера культуры, решившие воздержаться от этого непотребного (и опасного) занятия — критики властей предержащих.

Как я заметил в первом из моих открытых писем, меня всерьёз заинтриговала твоя метаморфоза. В эти дни я много думал о том, какие же свойства твоего незаурядного ума заставили тебя покинуть одну традицию русской мысли, которая превыше всего ставит свободу личности и её права, и примкнуть к другой, во многом противоположной. Вот моя гипотеза.

Твой философского склада интеллект нацелен на выведение категорий, формул, схем, которые настолько тебя увлекают, настолько тебе дороги, что ты делаешь их универсальными, годными для едва ли не всех общественных формаций за последние пять тысяч лет. В результате ты нередко приходишь к весьма сомнительным выводам, как, например, в вопросе о том, по чьей вине происходят революционные взрывы. Подробнее об этом говорится во втором открытом письме, которое, как и первое, я оставляю закрытым, идя навстречу твоей просьбе.

Посылаю их тебе в приложении к этому письму. Для твоего семейного архива. А я их сохраню в своём. Кто знает, может быть ими заинтересуются наши потомки, роясь в сегодняшнем интеллигентском… Помню, помню: у Маяковского речь о другом говне — окаменевшем.

Давай на этом и завершим затянувшийся ***спор двух славян[?] между собою***. (Да простится мне вольный парафраз строки из печально знаменитого пушкинского стиха…)

Твой В. Ф.
22 июня 2017

Дмитрий БОБЫШЕВ

ИЗ КНИГИ «ЗЫ, ИЛИ POST SCRIPTUM»

1
ТЕКСТ О ЧЕЛОВЕКОТЕКСТЕ

Нет, это не мемуары в традиционном понимании,— скорей художественная проза, автобиографический роман, основанный на реальной жизни и подкреплённый фактами и документами. Художественным является сам метод воспроизведения былого,— таким, как оно воспринималось тогда, когда происходило,— то есть с тогдашними запахами, вкусом, неожиданностью, с тогдашними обидами и ошибками. Но и с теперешним знанием и оценкой. Метод был впервые применён и описан Марселем Прустом в романной эпопее «В поисках за утраченным временем». Надо ли напоминать знаменитый эпизод? Повествователь окунает в чай подсохшее бисквитное печенье «мадлен», и этот вкус и запах вдруг переносит его в далёкое детство, в минуты чаепития у бабушки, то есть делает само прошлое ощутимым, как если бы оно происходило сейчас.

Подобный пустяк случился и со мной. Я взял в руки семейный альбом, и оттуда выпала довоенная фотография: голый малыш идёт по кромке пляжа с сачком в руках. Мариуполь, Азовское море. Тем мальчиком когда-то был я. Зачем же у меня сачок? Ведь бабочки у моря не водятся. И тут я вспомнил: сачком я вылавливал из воды жуков-плавунцов. Вдруг один из них пребольно укусил меня за палец, потом приподнял блестящие надкрылья, выпростал прозрачные крылышки, да и улетел прочь. Боль, слёзы, обида… И — хлынувшие потоком воспоминания. И, как результат,— книга под названьем «Я здесь», далее превратившаяся в начало трилогии «Человекотекст».

Это составное слово появилось в моих писаниях давно, в конце 70-х, когда я готовил для Тамиздата первую книгу стихов. Рукопись я предварил сонетом (на счастье), из которого процитирую два катрена:

Строка — совсем дитя. А кто отец-то?
Ведь я расчеловечусь, я впоюсь
в смертельное братанье с ней, в союз,
и стану вовсе человекотекстом.
С полусобою сросток, лёгкий груз,
пока меня имеючи, примите!
Так из каких же уст я отзовусь,
когда Создатель позовёт: «Димитрий»?

Здесь надо пояснить глагол «расчеловечиться». Обычно его понимают односторонне, как переход человека в более низкое, животное состояние. Но ведь возможен и переход в противоположное, более высокое состояние — например, в текст.

Когда я стал переводить былую жизнь в буквы, слова, страницы, мне стали вспоминаться такие детали и факты, которые я, казалось, не мог помнить, да и не вспоминал ни разу. Но они всё же вспоминались, и я их не придумывал, но возрождал в письменном виде с наибольшей правдивостью.

К разговору о правдивости следует вспомнить о замечательной книге Георгия Иванова «Петербургские зимы», которую часто упрекали в отсутствии этого столь необходимого для мемуаров свойства. Причём, критиковали такие авторитетные современницы Иванова, как Ахматова и Н. Я. Мандельштам. Я слышал эту критику непосредственно от каждой из них. Я тогда ещё не читал этой книги, но много о ней слышал, и потому попросил у Ахматовой привести пример какой-нибудь недостоверности. Она сказала:

— Ну, например, он пишет, что мы с Колей и с ним на двух пролётках ездили в Царское к графу Комаровскому. Ложь! Не было такой поездки. Далее он пишет, что Комаровский, встречая у дверей, крикнул лакею: «Жирандоли, несите жирандоли!» Какие жирандоли? Можно подумать, что он жил во дворце с зимним садом… Комаровский жил в келье! Этого мало? Вот ещё пример: он утверждает, что Блок, якобы, вдохновлялся вином, и даже описывает шкаф, где оно держалось. Я думаю, у Блока были иные источники вдохновения.



У памятника Ахматовой в снегу, СПб

Надежда Яковлевна тоже отозвалась довольно категорично сразу о двух Георгиях — Иванове и Адамовиче:

— Жоржики остаются жоржиками даже тогда, когда начинают писать немного лучше.

Эти суровые отзывы не помешали мне насладиться великолепной прозой Георгия Иванова, когда я, наконец, достал эту книгу. По моим впечатлениям, атмосферу послереволюционного Петрограда он воссоздал убедительно, хотя и пользовался порой образами, которые сейчас кажутся недостоверными. Но тогда фантастикой была сама реальность. Память избирательна, той поездки могло и не быть, вместо неё могла быть другая. Жирандолей у Комаровского не было, но слово это могло прозвучать. А некоторые другие сомнительные детали позднее нашли подтверждение в дневнике у Блока.

Я думаю, дело было в другом: в иерархии, которую нарушил Георгий Иванов, младший современник в глазах Ахматовой и Мандельштам. Портретам старших он придал много «человеческого, слишком человеческого», и это воспринималось как шокирующий контраст к их дальнейшим судьбам. Но всё же совсем молоденького Иванова доверительно принимал у себя Блок, а Мандельштам посвятил ему одно из лучших, самое мажорное из своих стихотворений — «Поедем в Царское село!»

Я не боюсь признаться, что ивановские «Зимы» стали для меня ещё одним образцом мемуарной прозы. Да, для читателей-скептиков я постарался оснастить мой «Человекотекст» документами и свидетельствами других людей, но при этом воспользовался некоторыми художественными приёмами.

Например, я заимствовал у Анатолия Наймана одного персонажа — наполовину условного, наполовину реального. Это — Германцев из «Поэзии и неправды» — прозы, сходной по жанру с теми же «Петербургскими зимами». У Наймана Германцев составлен из нескольких реальных прототипов и, поскольку наши повествования в некоторых точках сходятся, я «пригласил» его к себе. Да Найман и не возражал, поскольку мои прототипы почти совпадали с его, и в некоторых щекотливых ситуациях я их прикрывал этим вымышленным именем.

Первая книга «Человекотекста» писалась легко и с удовольствием. Перевод жизни в текст оказался очень увлекательной игрой. В памяти открылись неведомые пазухи, где обнаружились залежи забытых сцен, разговоров, красок… Во всём этом появилась структура, повествовательное движение и в какой-то момент чувство законченности. Оставалось найти издателя.

Здесь неоценимую помощь оказал Найман. И человек, и текст ему понравились. Правда, сочетание двух этих слов показалось громоздким, но мы оставили его как обозначение жанра: пусть это будут не мемуары, не воспоминания, а именно *человекотекст*. И название книги придумали совместно: «Я здесь». У него оказалось много значений.

Во-первых, моя географическая удалённость не значит, что меня нет в российской литературной ситуации. Человек с пером, я мысленно здесь с вами, и с моим присутствием надо считаться. Во-вторых, я свидетель и участник давних событий, у меня есть собственный взгляд на вещи и попыткам солгать о себе или о других я воспротивлюсь.

Журнал «Октябрь» напечатал эту книгу в трёх номерах. Правда, вылетело мариупольское детство, бегство от войны в Закавказье, ленинградская послевоенная школа, первые литературные опыты и ещё многое. Зато начало было динамично: Техноложка, ранний Рейн, молодой Найман, поэзия, юный Бродский. Наши дебюты, дружбы, влюблённости. Встречи с Ахматовой. Противостояние с идеологией и конфликт с Бродским. Похороны Ахматовой.

Я оказался в Москве как раз перед второй публикацией — это был № 9 за 2002 год, и журнал пригласил меня зайти, чтобы взглянуть на корректуру. Я едва разыскал редакцию в квартирном комплексе у Белорусского вокзала; уборщица открыла дверь, но никого более там не

оказалось. Спустя полчаса явился зеленовато смуглый брюнет и раздражённо представился моим редактором Виталием Пухановым. Часа полтора мы дискутировали с ним о необходимости или, наоборот, о ненужности предлога в выражении «признать за гения»,— причём брюнет настаивал на правильности выражения «признать гением», почуяв у меня скептический, даже крамольный нюанс: ***признать за гения того, кто им не является***. Ведь в подоплёке была очевидная для него и совершенно не очевидная для меня «гениальность» Бродского. Такую позицию стоит пояснить.

Пора моего возмужания совпала с двумя историческими событиями: смерть Иосифа Сталина и разоблачение его культа. Эти события внесли будоражащие перемены в жизнь страны и, конечно, сказались на умозрении многих, если не каждого из тогдашних молодых людей моего поколения. Разумеется, эти уроки были усвоены и мной: стало ясно, что вся система отношений в «стране рабочих и крестьян» основана на лжи, на советских мифах. Увенчивал эту ложь культ Сталина, то есть обожествление его всезнания и всемогущества,— мол, Сталин это победа, это «гений всех времён и народов», ведущий человечество к счастливому будущему. А ведь сказано: «Не сотвори себе кумира»,— за нарушение этой заповеди советские народы принесли гекатомбы жертв, но даже ГУЛАГа им оказалось мало,— фуражка и усы Иосифа Первого до сих пор соблазняют умы политиканов и не только… Видимо, кумиротворение живёт в крови народа (неважно даже какого), ибо идолы сотворяются «повсеместно и повсеградно» не только в политике, но и в спорте, в кинематографе, на эстраде, даже в пушкиноведении и, конечно, в литературе. С одним из таких примеров мне пришлось иметь дело почти всю мою уже довольно долгую жизнь.

Будущим кумиром оказался мой младший приятель, симпатичный парень, который был рад, что его старший товарищ готов почитать ему свои и, главное, выслушать его стихи, которых становилось всё больше, и они делались всё длиннее, потому что парень этот ничем, кроме стихов, не занимался. Очевиден был его талант и рвение, но были видны и недостатки: стёртый словарь и некоторая вторичность содержания. Отец его Александр Иванович Бродский, человек старой закалки, при рожденьи назвал сына в честь тогдашнего кумира и вседержителя, вот он и стал в своём роде Иосифом Вторым. Он быстро, просто семимильно развивался, и скоро его стихи стали не только восхищать, но и озадачивать своими умозрительными сюже-



С Иосифом на дне его рождения в 1962-м году

тами: Джон Донн, считанный с эпиграфа к хемингуэевскому роману; выдуманный холмистый пейзаж, где вдруг произошло необъяснимое убийство; дотошно описанный библейский эпизод… К тому же он освоил очень напористую, почти экстатическую манеру чтения, которую впервые опробовал у меня на квартире, где вдруг перед горсткой слушателей предстал… неужели и вправду гением? Хотелось, но не верилось, иначе зачем бы эта нарочитая агрессия, голос на полную глотку в небольшой комнате, как не на подавление слушателей, на внушение им заветного слова?

Для меня вопрос о степени таланта так и остался открытым, я навсегда решил держаться изначального, эллинского определения: гений это не сам «певец», не носитель и собственник гениальности, а дух высокого вдохновения, осеняющий его в минуты великого творческого подъёма. И, кстати, не только его. Вообще такое самоощущение годится в литературе как рабочая гипотеза, позволяющая замахиваться на крупные темы и осуществлять дерзкие замыслы. Надо только не подавать другим виду и оставлять свою гениальность дома, когда выходишь на люди.

Вот этого Иосиф Второй не умел, и отношения наши стали разлаживаться. Времена были паршивые в смысле идеологического давления, мы все нервничали, но он однажды без всякого повода рассорился со мной в непростительной манере.

Вскоре между нами возникло соперничество, а затем «нашему рыжему стали делать биографию», прежде чем он достиг многих и многих земных почестей. А на меня наклеили невидимое клеймо, которое прочитывалось тем заметней и негативней, чем пуще раздувалась молва о сверхчеловеческой, «выше, выше Пушкина!» гениальности Иосифа Второго. Очевидные успехи его «в миру» делали эту молву неоспоримой. Культ оказался агрессивным, охранительным, не терпящим инакомыслия.

Любопытный пример его формирования можно найти в переписке Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым (оба — ревностные «бродскисты»). Довлатов в одном их писем похвально упоминает поэта Алексея Цветкова, но далее пишет: «Иосиф, мне кажется, не любит соизмеримых авторов». Ефимов приходит в ужас от одной мысли, что кумира можно сопоставить с кем-то из современников. Он отвечает: «Серёжа, я люблю Ваши письма и храню их для потомства, поэтому будьте, ради Бога, осторожнее — не пишите, что Бродский и Цветков соизмеримые поэты». Осознавший глубину своей оплошности Довлатов раскаивается: «За аналогию Бродский — Цветков извините. Даже не знаю, как вырвалось…»

Публикация в «Октябре» многим показалась спорной, но я предполагаю, что она хорошо подняла тираж журнала. Во всяком случае, издательство «Вагриус» заинтересовалось человекотекстом и вскоре выпустило книгу «Я здесь» уже в полном виде. В газетах появились довольно темпераментные отзывы о ней. Но критики совершенно обошли вниманием бо́льшую часть книги, их заинтересовали «жареные факты». Всплыла старая сплетня о моём соперничестве с Иосифом, несмотря на то, что я как раз хотел нейтрализовать эти домыслы, рассказав со своей стороны, каковы были обстоятельства и как они складывались на самом деле. Не тут-то было! Меня сравнивали с Сальери, отравившем Моцарта из зависти. Следовало бы им помнить, что и Пушкин, увы, использовал недостоверную версию. Но это ещё что — бесстыжие критики называли меня Дантесом, застрелившим самого Пушкина!

Вся эта шумиха помогла выйти в свет второй книге человекотекста — московское издательство «Время» заключило со мной договор на неё, а заодно и на книгу стихов. Название «Автопортрет в лицах» хорошо подошло к книге. Там описывались 70-е годы, это была эпоха брежневского застоя. Находясь по-прежнему в глухом неофициозе,

я всё ещё стремился к признанию, но ни за что не хотел поступиться внутренней свободой. Были искушения, которые я отверг. Были малые и редкие публикации в периодике, книги стихов мурыжились в издательствах, а затем отвергались. Я и не знал, что мои стихи к тому времени оказались напечатаны в западногерманских «Гранях», и моё имя попало в чёрный список.

В подобном тупиковом положении находились многие знакомые литераторы и художники. Но в ответ на зажим расцвело самиздатское движение, устраивались подпольные чтения и выставки, как, например, эпатажная фото-выставка у Константина Кузьминского. В моей коммуналке на Петроградской стороне тоже прошла однодневная выставка живописи Тюльпанова с наплывом посетителей. Я закрыл её, прежде чем соседи вызвали милицию. Борис Иванов стал выпускать машинописный альманах «Часы», Виктор Кривулин — журнал «37», несмотря на угрозы и препоны властей.

В книге описаны встречи с такими людьми, которых теперь называют «маргиналами», но которые были гораздо ярче и талантливее так называемого «мейнстрима». Это — Игорь Тюльпанов, великий искусник и иллюзионист в живописи. Или Михаил Шварцман, духовидец, иконописец и при этом авангардист. Или ссыльный поэт Сергей Владимирович Петров, переведший на русский язык весь «Часослов» Рильке. Или заштатный священник отец Сергий Желудков, мечтавший о Церкви доброй воли.

Многие из друзей, отчаявшись в душной атмосфере, эмигрировали на Запад. Уехала Наталья Горбаневская с сыновьями, уехал Яков Виньковецкий с семьёй. Для меня это была большая утрата, но я решил держаться, оставаясь дома. При этом я начал печататься за рубежом в парижском журнале «Континент», а вскоре переправил туда большую рукопись книги стихов. И стал ждать.

Тут Провидение послало мне очень определённый намёк в виде молодой женщины, которая меня очаровала. Это была американка русского происхождения из семьи Первой волны эмиграции, осевшей сначала в Югославии, а затем перебравшейся в Штаты. Целый год мы проверяли чувства друг друга, роман продолжался в письмах и телефонных звонках, а потом она приехала ещё раз, и мы поженились.

К тому времени вышла в Париже моя первая книга стихов «Зияния», и я решил больше не испытывать судьбу. Эта часть повествова-

ния кончается моим прыжком в неизвестность по воздушному пути «Москва — Нью-Йорк».

«Автопортрет в лицах» вышел вместе с книгой стихов «Ода воздухоплаванию» в издательстве «Время» в Москве. Но вышел как-то странно. В качестве гонорара я получил «натурой» несколько копий «Автопортрета» и всего 1 (один) экземпляр «Оды». И это при том, что книга была объявлена к продаже во многих магазинах, а вскоре стала доступна для скачивания в Интернете. В отличие от Первой книги, Вторую встретило полное молчание критиков. Я помню только одну заметку Ольги Кучкиной, напечатанную в *«Ex Libris'e»*, внутри которой было напечатано это письмо:

«Хочу написать Вам, Дима, по-русски, не будучи уверена в оттенках и значениях английских слов и не тратя времени на словарь. Вот уж и впрямь: в России — впрочем, как и в Америке — писатель должен жить долго. Как хорошо, что Вы дожили до этой Вашей второй книги. Мне была крайне интересна и первая. Но интерес к этой — иного толка. В той превалировала фактура, прелестная и любопытная. В этой — то, что за фактурой. Читала её с жаждой читать дальше и с сожалением, что стопка страниц справа всё уменьшается. Хотелось ещё быть в Вашем мире, с автопортретом в лицах, с „человекотекстом", о котором как термине и прежде говорила Вам как о несомненной удаче. Глубина этой книги, глубина и особость пути её автора и героя стали для меня открытием. Вам удалось в Вашей незаурядной стилистике запечатлеть свой духовный путь, что большая редкость. Что-то читать было скучно, но это драгоценная скука, которую не променяешь на грошовый блеск никакой развлекательности. Книга высветила то, что оставалось скрытым — может быть, не для близких, но для читателей, для литературы в целом, и теперь это останется в литературе как самоценность. Останется эпоха. И вся эта ленинградская тусовка, как сказали бы теперь, а на самом деле жизненное варево тех дней, отмеченное поиском себя, самоосуществления, Бога. Ленинград, с его уникальным обликом, как формообразующее человека просвечивает сквозь. Ну и так далее… Радуюсь Вашей книге и поздравляю с ней себя как читателя и Вас как писателя».

Совсем иначе получилось с Третьей книгой, получившей окончательное название «Я в нетях» — симметричное Первой («Я здесь»). Она вышла в нескольких изданиях, — правда, периодических. Некоторые главы появились в нью-йоркском «Новом Журнале», другие — в калифорнийском альманахе «Связь времён». Но полностью из номера в номер публиковал эту книгу московский журнал «Юность», тот самый, где когда-то напечатали моё первое стихотворение. На всю публикацию потребовалось более двух лет. А затем ею заинтересовался довольно-таки элитарный интернетский портал «7 искусств». Там было много отзывов, — как резко негативных, так и преимущественно хороших.

Многим было интересно читать об опыте моей американской жизни — от первых эйфорических впечатлений от Нью-Йорка до вхождения в жизнь среднезападной глубинки, об опыте выживания русского литератора на узких площадках эмигрантской печати. О встречах с представителями трёх волн эмиграции: послереволюционной, послевоенной и третьей (псевдо-израильской). О сотрудничестве с замечательным художником Михаилом Шемякиным и о совместной книге «Звери св. Антония». О вхождении в академический мир университетских кампусов. И о крахе моей американской семьи после двенадцати совместных лет. О поездке в критические времена на родину в эпоху Перестройки. О встрече с былой однокурсницей, доброй подругой ранних лет и всей дальнейшей жизни, о нашем решении уже никогда не расставаться. И, наконец, о возвращении в Америку, домой, как говорится, «с новыми песнями», надеждами и новой семьёй.

Итак, весь «Человекотекст» оказался так или иначе опубликован, хотя и в разных местах. Но мне хотелось бы иметь его объединённым под одной обложкой или в виде трёхтомника.

У тут получилось то, что прежде бывало лишь у таких эксцентричных писателей, как Михаил Булгаков или Курт Воннегут: ко мне обратился издатель с предложением напечатать целиком эту трилогию! Им оказался пожилой славист из Калифорнии Чарльз Шлакс, который единолично издаёт книги и журналы из одной лишь любви к русской литературе. Всё это он делает своими трудами, не требуя за работу ни пенни. Правда, автору пришлось ему немало помогать, чтобы выверить текст или выправить форматы страниц, но в результате трилогия «Человекотекст» вышла в свет! Это дало мне чувство завершён-

ности, исполненности… Правда, я мечтаю ещё о том, что где-нибудь в России найдётся подобный Шлакс, и мы с ним издадим корпус моих стихов на хорошей бумаге.

«Я ЗДЕСЬ» — ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МОСКВЕ

Ради такого дела потащились мы с Галочкой в бывшую советскую, уже постперестроечную, евразийскую столицу из столицы северной, европейской и тоже бывшей, и приехали — куда? — вестимо, на Ленинградский вокзал, пред которым наблюдалось естественное оживление приезжих и прохожих, но уже совсем не то, что в лихие 90-е. Куда-то делись копошащиеся тела бомжей, серые в сумерках, залёгшие прямо перед вокзалом на мостовую, исчез и призрак Венички Ерофеева, люмпен интеллигента, стремящегося к утреннему опохмелу. А между тем, именно тут бы и слепить, отлить и установить его в виде памятника отечественному Алконавту, ибо — достоин! Увы, на этом видном месте переминались таксёры, которые запросили с нас за недалёкую ездку столько, что мы поволокли наш чемодан к троллейбусной остановке по слякотной, но родной земле.

Всё дальнейшее хотелось бы заключить в иронические кавычки. Уже давно иностранцы, мы легко вспомнили прежние времена и сунулись было в заднюю дверь троллейбуса, набитого людьми в толстых пальто. Ан нет — теперь у них сделано по-западному, как у нас: вход в переднюю дверь. Так, да не совсем! Впереди — пустой тамбур и турникет, отделяющий толпу от водителя. Платить надо в кассу, водитель денег не берёт и не меняет. Я обращаюсь к народу, который безмолвствует. Водитель не едет, пока мы не заплатим. В народе раздаются недовольные возгласы, но потом начинаются солидарные действия: деньги нам разменивают, мы платим за проезд, втискиваемся в давку и, наконец, троллейбус трогается…

Но приключение только начинается. Вышли мы на правильной остановке, и надо теперь пересечь Дмитровское шоссе. Мокрый снег, темень. В руке чемодан. Галя. И по существу — хайвей: тройной поток автомобилей в одну, и тройной — в обратную сторону. Зелёный свет, мы устремляемся поперёк и наперекор потоку. Чемодан, хоть и на колёсиках, то и дело застревает в снегу, выкручивает мне руку. Мы успеваем достичь лишь середины дороги. Красный свет, потоки рванулись по обе стороны от нас, обдавая грязными вихрями. Вновь зелёный,

и мы опять едва успеваем оказаться в безопасности. За угол во двор, и — у Наймана.

Но пусть дальше рассказывает репортёр «Московских новостей» (МН) Игорь Шевелёв:

Мне скучно без Бродского

В новом литературном клубе ВООКафе прошла презентация книги Дмитрия Бобышева «Я здесь. Человекотекст», выпущенной издательством «Вагриус». Книге предшествовали публикации в периодических изданиях, в том числе и во «Времени МН», из которой, кстати, по словам автора, он узнал, прочитав её по Интернету, что книга, действительно, к его удивлению, выйдет и достаточно скоро.

Сомнения его, возможно, были связаны с тем, что пишет он на самую, наверное, «горячую» после дуэли Пушкина с Дантесом «литературно-любовную» тему — о «треугольнике», связанном с личной драмой Иосифа Бродского и оказавшем огромное влияние на творчество Нобелевского лауреата. Достаточно посмотреть по собранию сочинений Бродского, сколько его стихов посвящено «М. Б.»

Оказавшись одной из вершин этого любовного треугольника, Дмитрий Бобышев отнюдь не собирается выступать в роли оправдывающегося. Глубочайший жизненный спор продолжается на страницах книги с ревнивым ожесточением. Достаточно взглянуть на последнюю страницу книги, где автор пишет о затеянной к 300-летию Петербурга кампании по установке памятника Иосифу Бродскому. И это в то время, пишет Бобышев, когда в Питере нет памятников Блоку, Мандельштаму, Ахматовой, Клюеву, Есенину, Вяч. Иванову… И вдруг Бродский становится впереди всех. И памятник Анне Ахматовой говорит ему: «Извините, Иосиф Александрович, вас тут не стояло!»

Ирония, шутка, самоирония? Не думаю. Во всяком случае, не только.

Понятно, что написанная на таком накале страстей книга будет прочитана с особым интересом. Тем более что она, прежде всего, не только и не столько о взаимоотношениях «ахматовских сирот», сколько о самом времени — о необыкновенном питерском

пятнадцатилетии: 1956–1971. И, по уверению автора, это всего лишь первая часть задуманной им автобиографической трилогии.

Замечательное совпадение, что во время краткого визита в Москву Дмитрия Бобышева, который ныне живёт в США и является профессором литературы в одном из тамошних университетов, в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник избранных его стихов «Знакомства слов». Кстати, и в клубе «Авторник» состоялся творческий вечер поэта, связанный с выходом сборника.

Во время презентации в ВООКафе Дмитрий Бобышев ответил на несколько вопросов обозревателя «Времени МН».

— Дмитрий Васильевич, не боитесь скандала в связи с выходом вашей книги? Все-таки многие герои её ещё живы и имеют свой взгляд на описываемые вами события?

— Я очень благодарен издательству «Вагриус» и моим редакторам, которые оказались достаточно прозорливы, чтобы понять, что в этой книге, наверное, всё-таки есть что-то и помимо скандала. Что касается ревности и связанных с нею мотивов, то я советую читателям просто вникнуть в написанный мною текст, который и есть, на самом деле, жизнь в её полноте, ничего больше.

— Был ли у вас дневник, записи, современные описываемым вами событиям, или вы даёте оценки, исходя из сегодняшнего взгляда на них?

— Систематически я дневника не вёл, но записи отдельных эпизодов были. Но дело не в них. Меня захватил сам процесс воспоминания. Я следовал правилу: передавать факты так, как я воспринимал их тогда, но при этом видеть их из сегодняшнего дня в случившемся развитии. То есть для тогдашнего себя я выступаю человеком из будущего. Помню, как в Париже вышла книга «Памяти Ахматовой». Там были напечатаны стихи Наймана, «Сретение» Иосифа Бродского, мои «Траурные октавы». И вот среди этих «Траурных октав» была одна, которая как бы отвечает на ваш вопрос: «Тогдашний и теперешний — нас двое. И, горькая двойная благодать,— я вижу вас, и я вплываю вспять сквозь этих слез в рыдание былое». Вот и эту книгу писали двое — тогдашний и теперешний.

— Биографически вы разошлись с Бродским в середине 60-х годов. Как вы воспринимали его поэтическое развитие в течение последующих тридцати лет, чем оно для вас было?

— Да, я хотел бы сказать и об этом. Знаете, несмотря на явное соперничество, которое не только я к нему испытывал, но и он ко мне, я, быть может, больше всех скучаю,— назовём это так,— по тому, что его нет. Без него словно ослабилось какое-то высшее требование ко мне, исчез высокий образец. Поэтому, как Рейн написал, что ему скучно без Довлатова, так и я могу сказать, что мне скучно без Бродского.

Но скучать не пришлось. Меня в это время самым нахальным образом объедал некий прожорливый метафизик… Причём, буквально! Пока я отошёл, чтобы дать интервью, а затем и ещё два или три, к моему столику подсел Юрий Мамлеев, автор романов «Шатуны» и «Нужники», тоже своего рода нежить, и съел полную тарелку деликатесов, которых мне заботливо принесла из буфета Галочка. Когда я закончил раздавать автографы и вернулся, буфет уже был пуст. Писатель-мистик, сожравший мою долю, получил впоследствии литературную премию в Кремле и, как подобает всем смертным существам, перешёл в мир иной.

НА ДВА КОНТИНЕНТА

А мы продолжали жить: Америкой и Россией, Россией и Америкой, уже привычно ориентируясь в крупнейших аэропортах мира, там, где мы делали пересадки — в Париже, Лондоне, Праге, Амстердаме, Франкфурте, Стокгольме и Хельсинки, останавливаясь где на часы, а где и на несколько дней. Так, наспех, урывками, в добавок к основной цели и на полпути к ней, мы знакомили Галочку с Европой, и лишь Италию и Мексику посетили целенаправленно и отдыхательно. И — познавательно тоже.

Но в самом начале, пока Галя сидела без документов (их мы сдали для оформления грин-кард), её мать в Ленинграде, тогда уже Петербурге, тяжело заболела, а выехать мы не могли. Для ускорения дел наняли адвоката — чёткую, толковую кубинку Карлину Тапируано, но когда мы одолели все препоны и явились на Васильевский остров, было, увы, поздно. Мою тёщеньку, когда-то улыбчивую, обаятельную женщину уже похоронили. У родных на Таврической улице тоже ви-

тал траурный ангел. Я едва узнал нашу няньку Федосью Фёдоровну, — настолько её облик, с детства знакомо-неказистый, избезобразил вцепившийся в неё рак-злодей.

Вернувшись из Рашеньки, я получил оттуда ещё одну мрачную весть: пока домашние пребывали на даче, Тавригу ограбили, взломав дверь и утащив всё, что было можно, включая ордена моего отчима Василия Константиновича и его кортик.

Тамошняя жизнь ветшала, изнашивалась, как одежда, заменяясь турецкими тряпками в блёстках, которых завозили челночными рейсами торгаши с огромными клеёнчатыми сумками. Сумки были сделаны на совесть: лёгкие и прочные, и я купил одну как сувенир эпохи, сейчас она, так и не побывавшая в деле, пылится где-то на полке в гараже.

И тут — час от часу не легче — мать упала с табурета на кухне, сломала шейку бедра, а это для «людей в возрасте» звучит как приговор. Но она выдюжила: больница, дом, костыли… Инвалидной коляски в России для неё не нашлось. А здесь они выдаются нуждающимся бесплатно, но по страховке. Купить новую, на электрическом ходу — невподым, и по весу, и по деньгам. Нашли по газетному объявлению, ручную, вполне подходящую. Удачно её переправили. Но… Выезжать на улицу с четвёртого этажа она не могла: лифт бездействовал намертво, с него были похищены медные клеммы.

Кража цветных металлов превратилась тогда в эпидемию, и не только в городе, ещё не привыкшем к своему имперскому наименованию. В Москве воздвигались бессмысленные и многотонные памятники, в том числе полу-Колумбу и полу-Петру с мачтами и парусами на берегу довольно скромной Москва-реки («Чёрная речка» по-вепски), явно не пригодной для дальнего плавания. Многократно воровали даже такую мелюзгу, как бронзовый чижик на Фонтанке. Ну, этого-то, скорей всего, похищали как сувенир подгулявшие лодочники, а вот массивные статуи монархов и святых, которых ваял скульптор-монументалист Зураб Церетели, требовали многих и многих медных клемм, подсвечников, дверных ручек, электропроводов, анодов, катодов и кабелей. Стало быть, некий таинственный заводик, на который намекали тогдашние газеты, не стоял без дела…

И в результате такого бурного творчества моя мать оказалась месяцами безвыходно заключена в своём дому. Не юридически, конечно, но фактически — под домашним арестом!

Видимо, это была умильная картинка, когда я приехал, и мы с братом спустили мать в наконец-то починенном лифте на первый этаж, а затем, взявшись за тележку с боков, снесли её с последнего пролёта на землю (до аппарелей и пандусов ещё не дошла строительная мысль), после чего чинно прокатили её по дорожкам Таврического сада.

Но, может быть, не только ваятель был заинтересован в отъёме цветных металлов у населения? На эту тему есть интересные сведения в интернетской Википедии…

Как я понимаю, происходило следующее: на новопровозглашённый Санкт-Петербург надвигался ленинградский блокадный голод. Тогдашний заместитель мэра изобрёл схему: цветные металлы двинуть на Запад с помощью, может быть, тех, кто грабил ранее ордена и кортики, и сделать это якобы в обмен на продовольствие. «Якобы» — потому что оттуда и так шла гуманитарная, то есть бесплатная помощь. Стало быть, клеммы и подсвечники можно было гнать за валюту, деньги себе, а жителям продавать уже не бесплатные, но всё же доступные куриные окорочка, обозвав их иронически «ножками Буша», и опять же получать с них навар.

Всё же новые времена принесли, помимо хищнических, ещё и драгоценные виды свобод: прежде всего — свободу слова и, конечно, свободу передвижений, — причём, даже через «священные рубежи»: и туда, и оттуда… Это особенно оценила литературная братия. Из России потянулись на Запад сначала группки оробелых делегаций, а затем и отдельные вестники перемен. Захлопотал о приезде Евгений Рейн, прислал запрос. И я захлопотал о нём: ведь пускай не реально, пусть чисто риторически, но пригласил же я его ранее, и даже стихи написал «Жизнь Урбанская», которые начинаются со слова «Приезжай!» Надо теперь за свои слова отвечать, а заодно и за Гаврилу Романовича, который не зря же назвал свою знаменитую оду так уточняюще адресно: «Евгению. Жизнь Званская».

Включил я «лобастого Карла», застрочил письма в инстанции, расхваливая нашего потенциального гостя, и получил-таки для него грант на выступление, пребывание и авиабилет — правда, не из самой Москвы, а уже из Нью-Йорка, коль скоро он туда сам доберётся.

Но, видно, там на полпути некто его перехватил и перекупил, он в последний момент отказался, а здесь осталась некая досада и у меня, и у инстанций, осложнившая мне хлопоты по приглашению Анатолия

Наймана, который был следующим. Поскольку он приезжал не один, а с «переводчицей», то и денег на покрытие расходов я запросил больше. С этой целью пришлось обратиться в таинственный и неафишируемый «Дробный комитет», о котором я прежде не слыхал, и это увеличило грант до искомого уровня.

Остановились, конечно, у нас. Были нервы, были взволнованные объяснения, но само выступление прошло прекрасно. Толя был доволен. Далее, как и Рейна, его взял на себя Жозеф, устроив ему гастроли ещё по нескольким местам Восточного побережья, и он впоследствии очертил нас обоих, как на фотографии в овальной рамке: «маленький профессор большого и большой профессор маленького университета»… Ну, вы уже, конечно, разобрались, *who* из нас *who*…

Мы с Галей, как только она обрела нужные документы, тоже пересекали «священные рубежи», и многократно… Останавливались у неё на Васильевском, где ангел с купола собора воздымал десницу, когда-то державшую крест. А без креста эта рука застыла в жесте, посылающем проклятия человечкам, которые бегали внизу, покупая и продавая непонятные ваучеры. Овдовевший Роман Зиновьевич тоже клял «демократиков», их никчёмные обещания и опустошённые сбережения. А те великанские свободы, что широко перехлёстывали через границы и препоны, воспринимал он как очередную газетную блажь, коих нагляделся за век предостаточно. Но и со мной не спорил, видя, как мы с его дочерью зажили, перемещаясь на этих волнах. Зато было хорошо сидеть нам втроём на кухоньке, выходящей окном на помойку, где копошились приодевшиеся с той же помойки бездомные, с той же помойки и питающиеся… Нет, наблюдать чужие несчастья, ко-



Галочка на родном Васильевском острове

нечно, грустно, и это бередило душу вопросом, даже укором, костлявым перстом указующим на цену свобод, которыми я наслаждался.

И всё-таки, разве не весело было заезжему зятьку чокнуться с тестем гранёными стопочками, издававшими благородный старинный звон…

2
МОСКВА БЬЁТ С НОСКА

Телефон на квартире у братьев Гороховских (Галиных двоюродных) надрывался от непривычных звонков — журналисты как-то вычислили моё местонахождение, и много фантастических предложений и предположений я выслушал… Мало, однако, исполнилось.

Но вот мы с Галей в редакции «Эха Москвы» — набиравшей популярность радиостанции с нестандартным стилем и свежими голосами. Прямой эфир. У юной собеседницы прекрасные живые глаза, приятные интонации, гладкая, ручейком журчащая речь и совершенно упоительный московский говор, от которого я отвык в своём «зарубежьи». Приходится даже отводить взгляд от барышни, дабы не засмотреться. За окном — кирпичные стены не самого благоустроенного района столицы. Речь, конечно же, заходит о стихах, но у меня, увы, нет ничего, связанного с этим городом. И я читаю Москве — «Петербургских небожителей»!

«Эхо» — одна из новейших фабрик по выработке известности, но это всего лишь радиоволны, и мои нездешние образы быстро исчезают, растворяясь в нервном столичном воздухе, где каждый чует особый «ощуч»: близкое присутствие власти. Вдруг раздаётся начальственный рявк в матюгальник, мгновение уличной жизни останавливается, поток подержанных иномарок замирает, и по освобождённой магистрали пролетает в сине-красных сполохах властный перун, готовый поразить любого неблагонамеренного, а то и просто нерасторопного зеваку. Но власть куда-то спешит, ей некогда и не до того, она человеческой мелочи не замечает, стремясь к своим запредельно высоким целям, будь то официальный ланч и совещание в верхах или оздоровительная тренировка и массаж с последующей партией в бадминтон.

И вот мы с Галей заходим в редакцию «Знамени», они ещё не съехали с Большой Садовой, вход с Малой Бронной… В перестройку они брали у меня большие подборки стихов. А теперь там напечатана

рецензия на книгу Наймана «Львы и гимнасты», которую он назвал настолько классно, что я аплодировал из-за океана. И назвал свою статью — «Блеск на острие». Удивительно быстро мне оформили гонорар и тут же его выдали. Вот на него мы и пообедаем! Но прежде надо зайти к Наталье Ивановой, поблагодарить…

Хозяйка журнала любезно разлила нам по чашкам чай. И в этот момент открылась дверь и нашим взорам явился-не-запылился Евгений Борисович Рейн собственной персоной. Давненько не виделись! Поседели, поредели, поплешивели. Только глаз на меня смотрит тот же, чёрный, искоса, с неодобреньем из-под густой брови — неестественно, слишком уж чёрной, неужели накрашенной по седине? Мы обнялись, и я едва удержал навернувшуюся скупую, мужскую…

Никаких «здрасьте», подобающих встрече, я от него не услышал. Присев к нам за чайный столик, он объявил без предисловий:

— Я профессор Литературного института… Фул профессор! Я получил Государственную премию в Кремле! Я получил премию «Поэт»! Я получил Пушкинскую премию нашу и ещё получу немецкую Пушкинскую премию фонда Топфлера! Осенью я стану почётным доктором в Йейле.

После таких громовых утверждений наступила пауза. От меня ожидался «симметричный» отчёт. Вспомнилась излюбленная цитата из Пастернака, а верней, из его перевода Тициана Табидце:

Кто взошедшее солнце, как бомбу,
На рассвете огнём набивал?
Что ты скажешь похожего, в чём бы
не сказался болтун-самохвал?

Воистину… Мог бы я припомнить и язвительную пьесу Наймана о том, какими путями добываются литературные премии. Но мой ответ был нарочито смиренным:

— Что ж, поздравляю тебя, Женя, с такими большими достижениями. И я тоже, как ты знаешь, профессор Иллинойского университета. К наградам я не стремился, но кое-какую известность в литературе имею. Ты, возможно, слышал о таких справочниках, как «*Who is who* (кто есть кто)», — например, кто есть кто в Америке, в Мировой поэзии, в Мире, наконец. Так вот, они для переизданий засылают мне свои анкеты, и там в графе «награды» я неизменно вписываю: «Анна

Ахматова посвятила мне как поэту стихотворение „Пятая роза“». И ты знаешь, это прекрасно выглядит на их страницах, не хуже любых премий!

И тут только я понял, какой глубокий укол в сердце я, даже не подумав, нанёс бывшему другу: ведь как известно, из нашей четвёрки Бродский получил от Ахматовой «Последнюю», Найман — «Небывшую», я — «Пятую», а он, Рейн, никакой розы не был удостоен.

Мы вышли втроём, как в былые институтские времена, и я предложил ему пойти пообедать с нами, но куда? — он ведь теперь москвич, пусть сам укажет.

— Здесь рядом ЦДЛ, — оживился Рейн. — Там подают фирменные, лучшие в мире котлеты де-воляй!

Вскоре мы оказались в том легендарном зале, где писатели с пьяным бесстрашием выясняли, кто есть кто в литературе и мире, где звучали самые ядовитые эпиграммы, где раздавались самые звонкие на свете пощёчины, о чём поведал уже отошедший в лучшие миры Лев Халиф в одноимённом («ЦДЛ») романе, или, как сказали бы теперь — «блокбастере», который послужил последним пинком, отправившем его в эмиграцию.

Зал был тёмен и пуст, свет исходил лишь от витрины буфета, тоже довольно пустой. Советская классика — ресторан закрыт на обед! Вот вам и «де-воляй»... Рейн схватил себе из буфета две последних сосиски, нам с Галей досталось по мини-салатику в скромных фаянсовых мисочках.

Станция метро оказалась на противоположном берегу Садового кольца. Был час пик. «Автодоры, автодоры!» — паниковал размороженный «клоп» из пьесы Маяковского, попавший в Москву будущего. Вот и мы в том же положении. Не автодоры, а мерседесы — подержанные, но «как новые», ауди, лексусы, хонды, внедорожники и прочие седаны и антилопы несутся, виляя, гудя, испуская вопли сирен и отрыжки плохо починенных моторов, занимая шесть полос в одну и шесть в другую сторону... Мы стоим у светофора. Американцев всё-таки трудно смутить дорожным движением, но мы в шоке. Вот пешеходам дают зелёный свет, а машины едут и едут на красный! Наконец, с группкой пешеходов высокого риска мы пускаемся поперёк движению. Двенадцать полос надо пересечь в секунды! Кто-то тормозит, кто-то наезжает, пытаясь проскочить перед нами. Машина инспектора с мигалкой стоит на переходе, но её игнорируют как водители, так

и пешеходы. Э-э, где наша не пропадала? Идём, как будто на смерть, как шли белогвардейцы-доброармейцы на красные пулемёты…

Ужо тебе, столица белокаменная, краснозубчатая, железобетонная!

ЛАБОРАТОРИЯ СВОБОДЫ

В какой бы стране ни оказался путешественник, он не может считать себя эмигрантом, пока у него остаётся право вернуться домой. Невозможность возврата, страшное слово «никогда» превращают изгнание в подобие небытия. Первочеловек Адам был и первоэмигрантом; он и наша праматерь Ева после их изгнания из Рая испытали это чувство во всей полноте. Один из первых литературных эмигрантов Овидий Назон тоже ставил между изгнанием и смертью знак равенства, в степях Гипербореи он тосковал, однако продолжал писать. Наш Пушкин, изгнанный в те же края, тоже грустил и злился, но сочинил «Цыган», начал «Евгения Онегина». Не буду проводить излишних параллелей, хочу лишь расставить внутри темы заметные ориентиры. Великие изгнанники приняли свою судьбу не добровольно, а я сам захотел оказаться впереди своего невыездного поколения. Может быть, поэтому состояние отторженности представлялось мне как естественное продолжение советского бытия и, во всяком случае, не таким уж мрачным, как оно звучит и выглядит в написанном виде. Мне даже казалось, да и до сих пор кажется, что решение уехать было своевременным и удачным, а опыт переживания эмиграции и выживания в ней я стал считать исключительной, даже элитарной школой жизни, своего рода дополнительным «высшим образованием».

Я покидал свою страну с советским заграничным паспортом, выдаваемым на одну поездку. При этом чиновница ОВИР'а довольно любезно предупредила меня, чтобы по прибытию в Америку я обменял его на паспорт другой серии — для многократных поездок туда и обратно. От души поблагодарив чиновницу, я так и попытался сделать. Но из советского консульства мне прислали тот же самый паспорт, только со штампом регистрации и продления. То есть, он оставался одноразовым, и при поездке назад подлежал сдаче, а я в лучшем случае должен был бы начать всю овировскую процедуру сначала. Таким образом, я получил однозначный намёк, что мне ходу назад нет, и в одночасье стал эмигрантом так называемой Третьей волны.

А выдающемуся поэту и историку литературы Юрию Иваску, которого я застал в живых в его последние годы в Америке, привелось

эмигрировать дважды: с Первой и со Второй волной. В предисловии к антологии «На Западе», которую он составил, Иваск писал: «Эмиграция это всегда несчастье, но это и увлекательное приключение на всю жизнь».

Многие изгнанники среди послереволюционной эмиграции охотно соглашались с первой составляющей этой формулы, ибо на чужбине они оказались лишены и состояния, и положения, и привычного уклада жизни. Конечно, это — несчастье. Но тут они сбрасывали со счёта немаловажное обстоятельство, которое прекрасно учитывала военная или послевоенная эмиграция. Свобода — вот что им даровали все несчастливые обстоятельства эмиграции: и во многих случаях безъязыкое скитание по свету, и тяжкий труд (причём, обязательно ниже истинной квалификации), и тяготы неслияния с иноземной культурой, но — всё-таки свобода! Пусть не всем она оказалась по плечу и во благо, недаром Бердяев характеризовал её трагические качества, подчёркивая, однако, что свобода — это воздух для творчества. Кому же, как не писателю, оценить это в первую очередь!

Но остаётся вторая компонента формулы Иваска — увлекательное приключение на всю жизнь. С ней, я думаю может согласиться любой эмигрант, — причём, из каждой из трёх волн, если только он не делает вид, что поселился в скучнейшей «стране зубных врачей». Наоборот, — потоки, потопы новизны заливают на первых порах эмигрантскую жизнь, да и впоследствии весь мир остаётся открыт для вольного странника. Итак, есть свобода, и есть неиссякаемый источник новых впечатлений — что же ещё нужно для писателя в эмиграции?

Остаётся ещё один фактор: язык, языковая среда, а вернее, — её отсутствие. В советские времена существовала легенда о неизбежном оскудении творческой силы эмигрантских писателей, оторванных от источников живой народной речи, но то была только легенда, причём, пропагандистская. Правда, её поддерживал Александр Зиновьев, утверждавший, что в московской очереди к пивному ларьку он мог найти вдесятеро больше сюжетов, чем за все годы жизни заграницей. Однако, его собственная писательская биография это утверждение опровергает: живя на Западе, он издал десятки острых талантливых книг. Теперь он опять в Москве, (надеюсь, в добром здравии), но как-то мало слышно о его новых произведениях. Правда, и очередей за пивом уже нет. Не обязательно приводить великие примеры париж-

ского Тургенева и римского Гоголя, да они и не были эмигрантами, а вот лондонский Герцен всё-таки был. К тому же так получилось, что в XX веке самые большие искусники, самые тонкие стилисты оказались в эмиграции: я имею в виду Цветаеву, Бунина и Ремизова (у них язык отнюдь не оскудел, а, наоборот, расцвёл в отсутствии языковой среды) и, конечно, Набокова, который, по существу, родился как писатель уже в изгнании.

Значит, легенда оказалась изначально неверна, в особенности для Третьей волны, выпущенной из закупоренной брежневской бутылки наподобие джинна. Для них эмиграция не могла не стать школой свободы, полной (психологической, языковой, экономической) перестройкой, случившейся лет на 15–20 раньше перестройки, устроенной Горбачёвым. Творческая интеллигенция, оставшаяся дома, страдальчески воспринимала новизну. Эмигранты тоже не все оказались хорошими учащимися. Найдись в своё время исследователь, литературная жизнь Третьей волны могла бы стать ему опытной лабораторией, чтобы изучать поведение литераторов в условиях перемен и свободы. При этом выводы были бы не только положительными.

В самом деле, возьмём несколько примеров, отступая в прошлое примерно на четверть века назад и сравним с тем, что происходит сейчас в уже, по существу, объединённой современной литературе.

Абрам Терц, написавший свои провокационные «Прогулки с Пушкиным», ещё находясь на лагерных нарах, смог выступить с этим эссе только в эмиграции, где и продемонстрировал целый набор деструктивных приёмов, которыми сейчас широко пользуются критика и литературоведение в родной России. Он также попытался деконструировать (то есть попросту развенчать) две крупнейшие фигуры русского Зарубежья — Солженицына и Максимова, но, к счастью для всех нас, это ему не удалось, хотя оба объекта его нападений, вероятно, понесли значительный ущерб в смысле их репутации и влияния на Западе.

Кстати, об этом влиянии писателя на общественность, о его традиционной для русской культуры учительской, иногда даже пророческой роли: сейчас все с упоением, даже с какой-то радостью от неё открещиваются, а я помню, как в 80-м году в Лос-Анджелесе на эмигрантском конгрессе, который так и назывался «Две литературы или одна?» Лимонов дерзко провозглашал, что слагает с себя звание русского писателя вместе с его учительской ролью и отныне признаёт

лишь коммерческие интересы. Многие его тогда поддержали, и невдомёк, да и некому было сказать, что великие произведения непременно имеют и коммерческий успех тоже, но не обязательно мгновенный, а порой лишь растянутый на годы и даже века.

Лимонов прозвучал тогда раскованно и свежо, но справедливости ради надо заметить, что не он первый объявил войну литературе идей. Первым был тоже эмигрант и тоже этический провокатор Владимир Набоков, великий эстет и злой насмешник, во-всю издевавшийся над именами «священных коров» русской литературы. Вкус, однако, удерживал его от последних соблазнов свободы — от искушения безобразным, от вульгарной лексики и кишечного физиологизма.

Могла ли эта малость удержать от сквернословия такого свободолюбца, как Юз Алешковский? Конечно нет, и при чём тут вкус? Отсутствие цензуры естественно порождает нецензурность. Впрочем, повесть «Николай Николаевич» была рождена ещё в самиздатские времена, но уже начиная с 79-го года все его пересыпанные нецензурными самоцветами произведения стали выходить на Западе. Разумеется, мат — явление сугубо отечественное, но процветал он прежде лишь в быту. В эмиграции нередко могли оскоромить свои тексты Аксёнов или Довлатов, в ту же сторону срывались порой и другие вольные литераторы, но Юз Алешковский сделал сквернословие основным стилистическим приёмом, а сам он стал некоей «анти-звездой» абсценного карнавала и, конечно, ближайшим предтечей карнавала российского. Помню, как в кулуарах того же лос-анджелесского форума я, наконец, решил высказать Алешковскому, да и другим литераторам, там присутствовавшим, своё мнение об этом речевом явлении вообще,— и в быту, и в литературе. Я сказал, что в каждом бранном слове слышу и буквальный, и символический его смысл, и потому совершенно не приемлю словесную похабщину. Как же ответил Алешковский? Глядя в глаза и явно провоцируя, он обложил меня отчётливым матом. На провокацию я не поддался, а лишь сказал, что разделяю взгляд о. Сергия Булгакова, который предполагал, что вот именно это самое расхожее глумление над образом матери и, следовательно, образом Богородицы, а, следовательно, и всей земли нашей, в каком-то тайном, магическом смысле оказалось причиной российских катастроф и злодеяний.

На это Алешковский покрыл матом и христианскую святыню, и нашу с ним общую родину. Я, видя, что он полностью саморазобла-

чился перед братьями-писателями, а в их числе и перед Довлатовым, плеваться посчитал неприличным, повернулся и ушёл. Я был уверен, что уж кто-нибудь из присутствующих такую красноречивую сцену обязательно опишет, и в этом не ошибся. Ошибся лишь в том, что недооценил изощрённого писательского умения лжесвидетельствовать. Тот диалог всё-таки описал Довлатов, (и поздней эпизод был опубликован), только я в нём присутствую под своим именем, а мой оппонент выступает как «писатель Н.Н. с присущей ему красочной манерой». Таким образом, свидетель скрыл имя обидчика, а оскорблённого меня выставил красоваться среди опозоренных святынь. Пользуюсь случаем, чтобы восстановить тот эпизод в его полноте.

Прошли времена, и с тех пор «ненормативная лексика» стала излюбленной не только для современных российских драматургов и прозаиков, которые таким образом воспроизводят «живую речь современников», но и для поэтов и поэтесс (что ещё пикантней), и в особенности для лингвистов, которые во-всю объедаются прежде запретным, но всё-таки ещё желанным, хотя и ядовитым лакомством: появляются энциклопедии, интернетские сайты, целые тома на «сакральные» буквы, происходят соответствующие фестивали и конкурсы.

Что же касается «предтечи», то он получил за все свои заслуги перед родной словесностью немецкую премию Пушкина, отчего сами немцы на несколько лет пришли в шоковое состояние. Конечно, Александр Сергеевич в ранние годы не гнушался ненормативной лексикой, но всё-таки странно: нет ли тут путаницы, не премия ли Ивана Баркова была бы более подходящей для творчества Юза Алешковского?

И ещё одна степень свободы была опробована таинственным писателем эмиграции Юрием Мамлеевым, ещё задолго до общероссийской свободы — он развил особый стиль и язык для изображения в своих фантазиях целого мира безобразных, страшных, попросту отвратительных образов. И это самому писателю и некоторым из его критиков казалось интересным и привлекательным, — может быть, своей необычностью. Мне такая эстетика чужда, но некоторыми почитателями он был объявлен мистиком, что уже ставит его в литературе сверх обычного положения. Их ведь, тайновидцев, исключительно мало. Я мистиками прежде полагал поэтов наподобие Лермонтова и Даниила Андреева, или же английского Уильяма Блейка, видевших

ангелов и демонов, а оказывается — отходы организма и похотливые трупы — это, по мнению ценителей, и есть мистика…

Литературные взгляды Мамлеева, весьма чётко выраженные в статьях, вызывают у меня если не согласие, то понимание, но образы его фантазий никак не делают меня его приверженцем. Однако, в сегодняшней литературной России он оказался окружён не только поклонниками, но и ревнивыми соперниками внутри той же странной анти-эстетики, завораживающей издателей и критиков, и даже коммерчески успешной…

Однако, не отношения между людьми, пусть бы и собратьями по перу,— отношения между языками мне представляются сейчас самой насущной проблемой именно в сегодняшней русской словесности. Казалось, эта сложность должна бы возникнуть лишь в эмиграции с её ежедневным двуязычием, но сейчас она даже острей проявляется в самой что ни на есть метрополии. Я имею в виду засилие в современном русском языке англицизмов, а точней — американизмов, и даже их повальное нашествие на русскую речь. Для эмигрантской бытовой речи — это вполне объяснимо: ведь в советском былом не все слышали о таких понятиях, как дюймы и фунты (хотя они и существовали), поэтому весьма правомерной показалась замена их на «инчи», «паунды» и «майлы» — вместо книжно-морских «миль». И, соответственно, вместо многого ещё. Но, странным образом, эмигрантская русская литература оказалась на редкость строга: никаких «волапюков». Ну, разве что израильские литераторы не удосуживались переводить на русский очевидные для них — «ашкенази», «алия» и подобные понятия.

На удивление, вопреки заметному антиамериканизму, отечественная словесность (или, по крайней мере, молодёжная пресса) оказалась в романтических отношениях с английским. Именно в прессу, ищущую сейчас свой язык — иногда остроумный, частенько развязный и всегда современный — хлынули варваризмы (ничего варварского, разумеется, не содержащие), но всё-таки неудержимо, безвкусно и чрезмерно. Как-то даже угодливо. Сюда же можно отнести и новое литературоведение в его юных пробах. Это похоже на словесный иммуно-дефицит, полную языковую незащищённость. Замечу, что эмигрантская литература тут не при чём. Материковая — тоже худобедно держится, этот диагноз у неё, к счастью, не подтверждается. А вот журналистика, в особенности относящаяся к развлекательной

индустрии, финансам и компьютерной технике, полностью оказалась в плену у английского языка. Подобное явление высмеивал примерно 200 лет назад Иван Мятлев в образе мадам де-Курдюкофф; по поводу той же смеси «французского с нижегородским» язвил Грибоедов. В результате французского нашествия остались в русском языке неудобные, несклоняемые «меню» и «пальто», загромоздили его и немецкие «бутерброды» и «бюстгальтеры», но что теперь нам делать с чудовищными англо-американскими «бодибилбингами», «хитами» и «эксклюзивными перформансами», я ума не приложу. И — «блокбастерами»! А вот и ещё: не хотите ли заняться «армрестлингом»? Впрочем, как преподаватель, я на занятиях предлагаю моим американским студентам задание: переложить эти понятия «с плохого английского на хороший русский», и что ж — они порой успешно с этим справляются. Хороший язык не обязательно должен быть кристальным, он может быть и разнородным, и пёстрым, но всё-таки органичным.

Думаю, что наш «великий и могучий» когда-нибудь рассмеётся над своей добровольной сдачей перед английским и выдвинет новых Грибоедовых и Мятлевых, дабы развеять морок чужеродных дискурсов.

Всё это не беда: была бы только свобода.

НА ДВА ДОМА

Пока были живы родные, мы ежегодно навещали их, а также оставшихся там друзей и сам Город, а, следовательно, и всю страну, которая уже стала не наша, а РАША, если произносить её название по-английски. Эти дальние, порой изнурительные перелёты заранее планировались под какие-нибудь выступления, конференции, доклады, которые надо было сначала сочинять, писать и потом произносить, но именно они притягивали гранты, обеспечивающие, хотя бы частично, наши трансатлантические расходы.

А как же открытый мир, а священные камни Европы, а пальмы и пляжи экзотических островов? На них не хватало ни времени, ни средств, разве что остановиться на денёк-другой по пути в *Рашеньку* то в Лондоне, то в Амстердаме или Париже… Аэропорты с их планетарной архитектурой и толпами пришельцев из иных миров стали нормой, как лес или поле, для наших нагруженных пробежек от одного терминала к другому, либо томительно-нервозных ожиданий между рейсами. Пёстрая картина человеческих рас, лиц и одеяний проходила тогда перед глазами.

Настало время выставить на продажу Галину квартиру, которую она уже много лет сдавала нуждающемуся семейству, сдавала «за так», да ещё и отчисляла со своего счёта на всякие поломки и домашние кризисы: семейство оказалось с проблемами. Пропадали вещи, квартира пошла вразнос. Нет, у постояльцев была своя жилплощадь, которую они, между прочим, сдавали другим, предпочитая жить у нас «на халяву». Когда явился покупатель, медные ручки и замки на дверях оказались свинчены. Тем не менее, сделка состоялась, жильцы съехали. Теперь надо было совсем разорить родовое гнездо: очистить от оставшихся книг, писем, фотографий, комнатных растений, мебели и картин, раздарив ли, продав или выбросив на помойку вместе с оставшимся хламом. Это оказалось по-своему травмирующим и даже опасным занятием: маклаки и скупщики, как грибники в повести Валерия Попова, «ходили с ножами». Черно-сивые волки угрожающе хороводили вокруг ничем не примечательного пейзажа запрошлого века в дорогой раме. Украдут ли, ограбят, убьют — было одинаково возможно и в целом «стрёмно»…

И вдруг — крах! Всё переменилось: Галю сбила машина. Она позвонила мне с улицы и, как бы гордясь удачей, сообщила, что головой не ушиблась… Но, Боже! — рука, плечо, голень, колено… Поехали на Скорой в «Ленинку» на Васильевский остров, ждали час, другой с переломанными костями, и никакой помощи, путь только в морг… Нет, прочь оттуда — в платную клинику *Scandinavia* — авось, моих кредиток хватит на лечение. Их оказалось достаточно.

Теперь предстоял геркулесов подвиг доставить её домой через океан с двумя пересадками до Чикаго, перенести совершенно измочаленную в автобус, добраться в полуобмороке до родного терминала в Шампейн, а дальше что? Ну, хорошо, дождаться такси и — до дому, но как её вознести на четвёртый этаж?

Помогла пожарная команда, состоявшая из четырёх богатырей, которые всё это сделали из чувства долга!

Вскоре мы переселились в одноэтажный дом с лужайкой и садом.

ДВА ГРАФА

«Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?»

Именно эта преамбула к циклу передач по радио «Свобода» надоумила меня обратиться к Ивану Толстому, журналисту и литературному исследователю. Действительно, если он занимается такими непростыми задачами, то не пора ли и нам с ним перетряхнуть застарелые оценки, разобраться в сложившейся мифологии, выдвинуть на свет фигуры, оказавшиеся задвинутыми по углам? Мне подумалось, что у графа Толстого хватит куражу для нестандартных высказываний, и я послал свой «Человекотекст» прямо в Пражскую редакцию ему на отзыв. И что ж? Вскоре он сам появился в нашем «Шампанском графстве», а иначе говоря, у меня дома в городе Шампейн, штат Иллинойс. Вместо печатного отзыва о трилогии, которого я желал бы от него получить, он предложил провести радиобеседу, разделив её на часовые передачи соответственно по каждому тому. Это было гораздо привлекательней для меня, хотя и трудней, поскольку разговор записывался без подготовки, экспромтом.

В самом начале нашего разговора интервьюер пояснил, откуда происходит моё шуточное самозванство: от наименования места, где я живу и где принимаю потомка другого, более или менее настоящего, «красного графа» Толстого. Это не могло не вызвать прилива юмора за столом, когда мы с ним, чокнувшись рюмками доброй водки, выпили за здоровье «их сиятельств». Но если говорить серьёзно, сам я, конечно, не называю себя графом, ибо им не являюсь. «Граф Шампанский» — это всего лишь персонаж, которого я выдумал, наградил титулом и одарил длинной чередой стихотворных поделок: эпиграмм, пародий, побасёнок и каламбуров, жанрово обозначаемых «ягодками».

Вот как он у меня в «Живом Журнале» представлен интернетской публике:

«Не только читатели, но и критики, да и сами коллеги-литераторы мало что знают о графе Шампанском. Можно сказать, что почти ничего. Зато он, судя по его „Ягодкам“, знает о нравах своих собратьев по перу многое, предпочитая, однако, высказываться лишь изредка, да и то в краткой форме. „Ягодки“ — это, по существу, дозревшие „Цветочки“ его неравнодушного внимания к литературной жизни, к тем занимательным позам, что порой она принимает. Его сиятельство и сам бывает не прочь погарцевать на клавиатуре своего „Макинтоша“, хотя и сознаёт, насколько его максимы и афоризмы уступают высоким образцам, которые были установлены в родной словесности вели-

кими предшественниками: Козьмой П. Прутковым и Дмитрием А. Приговым. Будем же снисходительны к его вполне похвальным устремлениям их достичь».

Разумеется, я попотчевал гостя легкомысленными произведениями моего персонажа, выбрав те, что поблагодушней. Ну вот, например, такие, самые из них бархатистые (а любознательный читатель может найти по сноске и другие, тем более, что их уже вышла целая книжка в «Литературном европейце» во Франкфурте-на-Майне):

В доброе подражание Св. Франциску

Я друзей бы пивом да сосисками
потчевал, цветочками ассизскими…
Но для тех из них, кто стали гадкими,
цветики уже созрели ягодками.

Там и сям

В партии сей состоял он и сам:
«Коммунисты, в Нью-Йорк!» — под конец написал.
И — со льготами «беженца» — сям и осёл.
Мол, а ты, диссидент отсидевший, осёл.

Ошибочка

Для безработных с Бруклинского моста
(через Ист-Ривер перекинут он)
перелететь пришлось бы, что непросто,
весь Вавилон манхэттенского роста,
чтоб угодить в чернеющий Гудзон.
Сидел бы, рисовал бы ОКНА РОСТА…
— Не знаешь — не пиши. Таков закон.

Закон естества

Амур порой стреляет мимо.
А антипатия — взаимна.

Поправка к классику

Беспримерный спор когда-то
шёл у самых Райских врат.
— Всё куплю, — сказало злато.
— Всё возьму! — вскричал булат.
— Всех сгною… — смолчало блато,
изливаясь в Ад покато.
В остальном был Пушкин хват!

Как правильно?

Чехов для закусыванья водки
вычистил селёдку с головы…
Или от хвоста? С его наводки,
усомнившись, правильной повадки
я уже не вычислю, увы.

Классик

Умеренность и аккуратность,
в косую линейку тетрадь,
во рту языком упираясь,
он пишет, потея, стараясь…
Четвёрочка, больше не дать!

Бывает и такое

Поэтика поэта.
А этика — поэтика.

Эпитафия

Славу любил, а славян не терпел.
Преуспел.

Ягодки были достаточно терпкими и едкими, чтобы расшевелить гостя, но Толстой снисходительно выслушивал образчики «низкого жанра». Тогда я прочитал ещё:

Переложение с английского

Ты крут, и я ведь крут.
Но кто кому надгробный даст салют?

Такому он весьма подивился, воскликнув: «Да это же Бродский!», и точно процитировал по-английски оригинал:

Sir, you are tough, and I am tough.
But who will write whose epitaph?

«Неужели? Какое удивительное совпадение!» — пришлось и мне, подыграв ему, притворно удивиться. Нет, Толстому решительно не понравился Шампанский, и он удалил его вместе с «Ягодками» из эфира, оставив лишь в заголовке. Таким образом он взял и отождествил автора с персонажем, чего делать в принципе не полагается. Но сама передача была, конечно, о другом…

ПУП ЗЕМЛИ

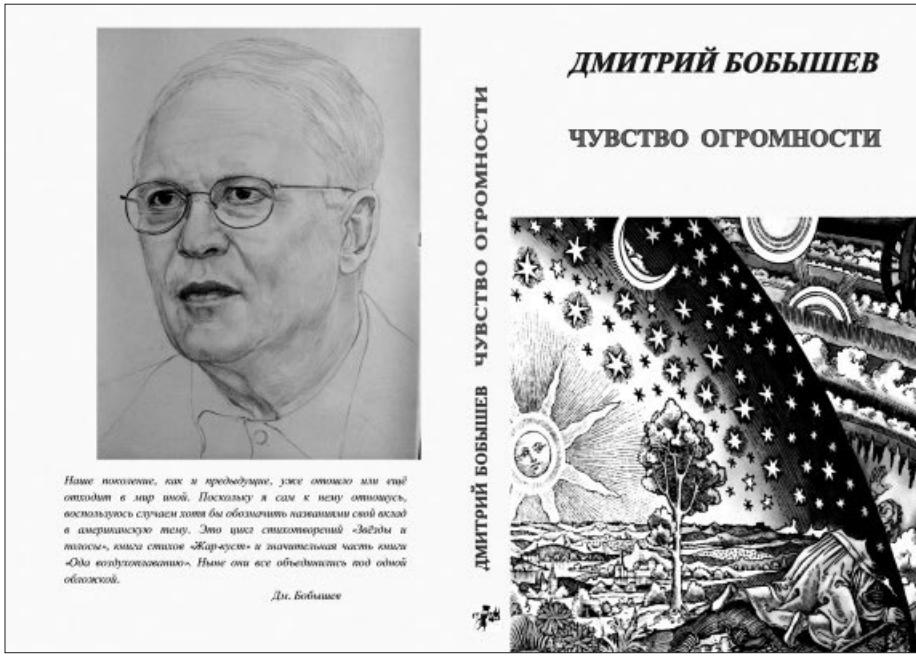
«О, Сад, Сад!» — восхищался Велимир Первый садом Зоологическим, персонажи которого напоминали ему то гримасничающие горы, то героев эпохи. Наш напоминал отдохновение — окончательное и потому особенно сладостное, — безбурную бухту, причал. «Бёклин, Бёклин!» — в один голос произнесли мы с моей Галиной Романовной, когда явились туда на смотрины возможной покупки. Этот вид всё и решил.

Мягкая стена тёмных высоких туй сходилась углом с другой такой же стеной, тем самым образуя совершенный объём: сад с овальной лужайкой, в центре которой, словно молодой князь, высился ясень. Его листва кидала разрезные тени на газон, а основание скрывалось в окружении лопастей декоративной хосты. Бёклин, насчёт которого зубоскалили Ильф и Петров, предстал нам свежим, освобождённым даже от его траурного содержания. Как? Почему? Ведь он же декадент, воспевающий потусторонний мир. Да потому, что он выстроил гармонически совершенное пространство, исполненное покоя, свободное

от перекосов судьбы, от её завихрений. Там хорошо, «в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном»... Туда мечталось попасть, но непременно ещё живым!

И вот оно стало точкой, откуда исходят мои вечерние медитации с бокалом привычного пойла, которое не слишком вредит здоровью. Рецепт его прост: стопка доброй водки, тоник, лёд и кусочек пахучего лайма. С этим напитком мы тут сидели с графом Иваном, закончив дела. Целых три часа наше интервью звучало в эфире, после чего осталось в анналах радиостанции, «где будет храниться, пока светит солнце», — так красочно заверил меня журналист.

Та связь, которая не получилась у меня с Рашей, именно здесь установилась с Америкой. И не через тутошний язык, — он для меня остался служебным, и не через звёздную полосатость политической культуры, которую я, впрочем, почтительно принимаю, а через пуповину земли и собственности, через куб пространства, ограниченного туями и овалом лужайки с этим, увы, засыхающим ясенем, ибо в нём завёлся червь изумрудного жука-короеда, который истребил уже все ясени в двух соседних штатах. Придётся дерево спилить. Жаль. Но останется его пень, а вокруг — хоровод зелёных лопастей. А пень мож-



Обложка книги стихов об Америке

но лишь пнуть по завету Алёши Хвостенко или поставить на него горшок герани и объявить эгоцентрично Пупом Земли, — в отдалённую параллель тому Пупу, что находится в храме Гроба Господня.

«Чувство огромности» — так я назвал последнюю книгу стихов об Америке. На её обложку пошла перевёрнутая слева направо гравюра Фламмариона, где изображён путник, заглядывающий за край Света – туда, где движутся силы и колёса Вселенной. И одновременно внутрь самой книги. Тот путник — это и есть я.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Бобышев *родился в Мариуполе в 1936 году, вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. Анна Ахматова посвятила ему стихотворение «Пятая роза».*

На Западе с 1979 года.

Поэт, эссеист, мемуарист, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

Книги стихов: «Зияния» (Париж, 1979); «Звери св. Антония» (Нью-Йорк, 1985, совместно с Михаилом Шемякиным); «Полнота всего» (Санкт-Петербург, 1992); «Русские терцины и другие стихотворения» (Санкт-Петербург, 1992); «Ангелы и Силы» (Нью-Йорк, 1997); «Жар–Куст» (Париж, 2003); «Знакомства слов» (Москва, 2003); «Ода воздухоплаванию» (Москва, 2007); «Чувство огромности» (Франкфурт-на-Майне, 2017).

Автор трилогии «Человекотекст», вышедшей в малотиражном издании (Idyllwild CA, 2014).Заключительная часть трилогии «ЗЫ, или Post Scriptum» вышла в Ганновере в 2020. В настоящее время планируется объединённое издание всей эпопеи в одном томе.

Юрий Влодов

МЯТЕЖНЫЙ ОСЛУШНИК

Поэт московского андеграунда

ОБ АВТОРЕ



Юрий Влодов почти не публиковался при жизни (его имя было в *СССР под запретом*, часто писал «под заказ» за так называемых «литературных клиентов», позволял публиковать свои стихи под именами других поэтов. Широкому российскому читателю Влодов известен как автор таких остро-политических *эпиграмм* как «*Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это!*»

Юрий Александрович Влодов родился *6 декабря 1932 года* в *Новосибирске* в семье театральных работников. Отец Александр Захарович Влодов являлся племянником известного одесского налётчика *Мишки Япончика* и поэтому сменил фамилию.

Стихи Юрий начал писать рано, с 6 лет. В конце 50-х приехал в писательский посёлок *Переделкино* и с первыми взрослыми стихами ходил к классикам советской литературы. Встречался с *Б. Пастернаком*, *И. Сельвинским*, *К. Чуковским* и многими другими. Стихи Влодова с предисловием Сельвинского вышли в журнале «*Смена*», за эту публикацию поэт стал лауреатом журнала.

В молодости он был связан с *криминальным миром*.

В дальнейшем его практически не публикуют, в основном он выступает со стихами перед различными аудиториями, как слу-

чайными, так и коллегами по цеху. Читал стихи *антисоветского* содержания, после чего привлёк внимание КГБ.

После перестройки стихи Влодова публикуют в различных журналах и газетах, а также в литературных альманахах и сборниках «Истоки», «Приют неизвестных поэтов», «Эолова арфа» и др.

Первая книга Влодова «Крест» вышла в *1996 году* в издательстве журнала «Юность», когда поэту исполнилось 64 года.

О нём снимают два кинофильма: «Я Вам пишу, Ваше величество» (телефильм, канал РТР, 1992 год) и чёрно-белый «А гений — сущий дьявол!» (кино-видеостудия «Человек и время», 1995 год).

В 2008 году вышла в свет вторая книга поэта «Люди и боги». В ней собраны философские стихи на библейско-евангельскую тематику.

Творчество Юрия Влодова разнообразно. Есть стихи о войне, на историческую тематику, литературные портреты. Есть пейзажная, гражданская лирика. Много юмористических, иронических, сатирических стихов. Эти стихи представлены отчасти в книге «На семи холмах».

Умер Юрий Влодов 29 сентября 2009 года в возрасте 76 лет.

* * *

«Как хороша над морем лунность!» —
Вздыхала юность.

«Я пью за дружество и смелость!» —
Басила зрелость.

«Умрёте все!» — глотая ярость,
Шипела старость.

* * *

«Поэт! — поведай свой секрет!»
«Секрет мой — в пачке сигарет!»
«А твой секрет, о плотник, в чём?»
«В хорошей чарке с первачом!»

* * *

Алкаш в этот вечер не принял ни грамма.
Развратник постился под сводами храма.
Безрукий до хруста постельницу стиснул.
Безногий притопнул и дико присвистнул.
Немтырь проорал мировую хулу.
Слепец в поднебесье заметил юлу,
Манящую смутным небесным приветом,
Воспетую неким бездомным поэтом…
А мудрый прохожий решил, что она
Всего лишь — луна…

* * *

Брёл оборванец по земле
В кругу семи ветров,
Он смачно грелся на золе
Притоптанных костров.

Любил он, глядя на дымок,
Ладоши потирать,
И ничего уже не мог
Он больше потерять.

Господь и царь — из сердца вон…
Любимых — чёрт побрал!..
И над золой склонялся он,
И, как дитя, смеялся он,
Ладоши потирал.

* * *

Был послушным послужником
Шёл по жизни за посохом.
Стал мятежным ослушником
Восхитительным ослухом!..

Ждёт смутьяна-художника
Путь нежданный, нечаянный…
И зовёт его Боженька
Сам такой же отчаянный!..

* * *

В зерцало степного колодца
Проникну, как в детские сны…
Я — пасынок русого солнца
И пасынок рыжей луны…

Я — Боженька, гость, полукровка,
Не ведаю сам, кто таков…
Как некая Божья коровка
Всползаю по стеблю веков…

* * *

В русском сердце — терпенья на долгие годы,
И тепла, что идёт от родимой земли.
В русском сердце живут племена и народы,
В нём Европа и Азия место нашли.

В русском сердце — спокойный, размеренный климат,
Не уловишь подчас поворота к зиме…
А кого это щедрое сердце не примет,
Тот действительно лишний на русской земле.

* * *

Война распяла детство.
Оставила наследство:
Сухую ёмкость фраз,
Почти звериный глаз,
Сверхбдительный рассудок,
Отравленный желудок,
Горячий камень сердца
И дух единоверца…

И нет моей вины,
Что я — поэт войны!

* * *

Всё гениальное просто:
Голуби, стены Кремля…
Небо — высокого роста,
Низкого роста земля.

Вспомните Роберта Фроста:
Фермер, крестьянский атлант!..
Всё гениальное просто.
Сложным бывает талант.

* * *

Есть версия о том, что у Пилата
Была ума казённая палата.

Пилату доложили: «Ученик
Учителя запродал». Тот сказал:
«Ученика повесить как собаку!»
И уходя добавил: «Я – солдат».

И много лет протяжно пахнет псиной
То дерево, что мы зовём осиной.

* * *

Гуляло лето по европам…
Там пастернаком и укропом
Пропахли городки.
И фрау — пышные, как лето,
В субботу шли на «Риголетто»,
Взбивая парики.

И натянув тугие гольфы,
Жестяно лаяли адольфы,
Выкатывая грудь!
И присягая кружкой пива,
Густого, злого, как крапива,
Не морщились ничуть.

Шипели праздничные фарши…
В Берлине взвизгивали марши! —
Вибрировал эфир.
И Сталин грыз мундштук устало,
И дабы робость не пристала
Грузинский пил чефир…

В Москве гулящие матросы
Швыряли лихо папиросы
На танцевальный круг!
Послы садились в лимузины,
Стоял горячий дух резины…
Но я родился вдруг!…

Всё это было…было…было…
Ты, мама, всё в земле забыла:
Шекспир, мечты, семья…
На довоенном фото — в раме,
Худрук цветы подносит маме!..
Но тут родился я!

Загадка

Покамест паства мозги ломала,
Пришёл банальный ответ от Бога:
«Кто хочет много — получит мало!
Кто хочет мало — получит много!»

А Дьявол пыхнул срамно и ало,
В проёме ночи возник двурого:
«Кто хочет мало — получит мало!
Кто хочет много — получит много!»

* * *

Задышало поле мглою,
Заходила хмарь,
Будто кто прикрыл полою
Золотой фонарь…
Средь равнины быстротечной
Глух и нем стою,
Будто кто закрыл навечно
Родину мою.
Где любовь моя и сила? —
Райские деньки?..
Мгла ночная загасила
Сердца угольки…

* * *

Талант, по сути, толст.
А гений — тощ как щепка.
Неважно, что там: холст,
Поэма, фуга, лепка.

Судьба — как дышло в бок,
Что дали, то и схавал…
Талант по духу — Бог,
А гений — сущий дьявол!

* * *

О балы мои далёкие!
Колокольца снежный звон!
Неопознанные локоны
В бликах ёлочных окон…

Зажигали свечи чистые…
Заполняли синевой…
Полонезами лучистыми
Плыли зимы над Невой.

И на санные излучины —
В запах милый, меховой —
Опускался кто-то мучаный
С эфиопской головой…

И взлетали галки снежные
Из-под санного ножа!
И была метель мятежная
Оглушительно свежа!

* * *

Светлело, а гусиное перо
Резвилось, как младенец неразумный,
И глаз косил безбожно и хитро
На этот мир — застенчивый, но шумный.

Пищала птаха, тихо зрел ранет,
Сварливый клён под окнами возился…
«Ужо тебе!» — воскликнул вдруг поэт,
И кулаком чернильным погрозился.

«Ужо тебе!» — и весело со лба
Смахнул волос воинственную смуту…
Не знала Русь, что вся её судьба
Решалась в эту самую минуту.

Переделкино

Лесная чаща без приметы.
Вот этой ломаной тропой,
Как сохачи на водопой,
На полустанок шли поэты.

Хрустел звериный шаг скупой,
И были в сумерках заметны
На лбах морщины, как заметы,
Лосиных глаз распах слепой…

Пичуги били из кювета…
Плыла медлительная Лета
Река, невидная собой…

И клокотали до рассвета
Колокола лесного лета —
Зелёной Родины прибой…

* * *

Я ворону крикнул: «Здорово, старик!»
Но ворон степной не услышал мой крик.

Я крикнул утёсу: «Здорово, старик!»
Гранитного слуха не тронул мой крик.

Я солнышку крикнул: «Будь славен твой век!»
И ветер ответил: «Молчи, человек!»

* * *

Пушкин с Гоголем сидели,
Много пили, мало ели.
И, смакуя дым глотками,
Всё чадили чубуками.
Поболтать бы, да о чём? –
Лучше — ноги калачом.
Вдруг ощерился поэт:
«Тридцать лет, а проку нет!
Недоступна мне пока
Глубь родного языка! –
По листу перо бежит,
Но — споткнётся, задрожит,
Что кораблик на волне…
Тайну чует в глубине!..»
У Великого Хохла
Бровь к пробору поползла.
Усмехнулся? — вроде — нет.
Два кивка — и весь ответ.
Поболтать бы, да о чём?
Гоголь, вроде, ни при чём.

* * *

Слепые силуэты Петрограда…
Густой туман, как дым пороховой…
А он поник белёсой головой
Над столиком трактира «Эльдорадо».
Совсем не «Эльдорадо»… Нет, не то…
Пульсирует заточенная жилка.
Роняет блики смрадная коптилка
На чёрное старинное пальто.
Шарманка задыхается за дверью,
Надсадно и застуженно сипит…
И деревяшка адская скрипит.
И чья-то рожа смотрит в окна зверем…
Его рука немыслимо бела…
Нет, он не спит, он только стиснул веки.

Как трудно быть мужчиной в этом веке,
Когда зовут в ночи колокола!
А над кабацкой стойкой Незнакомка
Кокоткой размалёванной грустит…
А он — руками белыми хрустит…
А он смеётся коротко и ломко…
Потом встаёт, и падает стакан,
И он ногой ступает на осколки.
И сразу в грудь ударит ветер колкий,
И двинется над городом туман.
Он у мальчишки спросит папиросы,
А впереди — неясные, как сны,
Горят в тумане красные костры,
Шагают гулко красные матросы.

* * *

Слетают листья с Болдинского сада,
И свист синицы за душу берёт.
А в голубых глазах у Александра
Неяркое свечение берёз.

Суров арап великого Петра!
А внуку — только детские забавы…
Он засмеётся белыми зубами
Под лёгкий скрип гусиного пера.

«Ребятушки! Один у вас отец!»
И на крыльце Пугач в татарской бурке…
А на балах, в гранитном Петербурге
Позванивает шпорами Дантес…

На сотни вёрст густой и гулкий лес…
Тебя, Россия, твой изгнанник пишет…
Вот он умолк… А, может быть, он слышит
Прощальный крик гусей из-под небес?!..

Она всё ближе — тёплая зима,
Где выстрелы, как детские хлопушки,
Где в синий снег падёт руками Пушкин,
И из-под рук вдруг вырвется земля…

И Натали доложат: «Он убит».
Ей кто-то скажет: «Вы теперь свободны».
И с белых плеч сорвётся мех соболий,
И медальон на шее задрожит.

Пробьётся луч весенний, золотой.
И будут бить на празднике из пушки.
И только под Михайловским, в церквушке,
Звонарь встревожит колокол литой…

Ну а пока — туманная пора.
Всё в липкой паутине бабье лето.
И небо — в голубых глазах поэта!
И нервный скрип гусиного пера…

* * *

Я думаю, Исус писал стихи —
Плёл сети из волшебной чепухи…
А жизнь Христа — была душа поэта…
Иначе — как?! — откуда бы всё это?!..

В кругу слепых болезненных племён
Он, как слепец, питал себя обманом…
И не был ли Иуда графоманом,
Неузнанным Сальери тех времён?!

Владимир КОВНЕР

ЗОЛОТОЙ ВЕК МАГНИТИЗДАТА*

1. НАЧАЛО

Пишу «начало», но неожиданно приходится начинать с конца, с воспоминаний достаточно давно минувших дней. 14 марта 2008 года на 86 году жизни скончалась Мария Борисовна Мульяш — звезда первой величины российской эстрады, бессменный организатор и главный редактор концертных программ государственного концертного зала «Россия» с момента открытия этого зала в 1971 году. Её называли «визитной карточкой» этого замечательного концертного зала, «талисманом» российской эстрады. Но что гораздо важнее, все актёры, от начинающих до самых знаменитых называли её «нашей мамой», «нашей Мусей». Вокруг неё всегда царила атмосфера всеобщей влюблённости. Вся жизнь Марии Борисовны Мульяш — уникальная летопись российской эстрады. Многие выдающиеся артисты обязаны ей своим восхождением на «Эстрадный Олимп». Благодаря ей, и только ей, зал «Россия» стал площадкой не только для лучшей российской эстрады, но и оперным залом и балетной сценой. Более того, она мистическим образом умела объединить в одном шоу актёров нескольких поколений эстрады, театра, кино, оперы и балета…

Посещение её московской квартиры дало мне толчок к написанию этих воспоминаний.

---

* Исправленный и дополненный вариант воспоминаний. Первый вариант был опубликован в журнале «Вестник», 2004 г. № 7–9. Некоторые материалы из этой публикации были использованы в чрезвычайно интересном докладе Мартина Дотри (J. Martin Daughtry) «Магнитиздат как культурная практика» (*Magnitizdat as cultural practice*) на конференции «Самиздат и подпольная культура в странах советского блока» в Университете Пенсильвании, Апрель 6-7, 2006 г.

Июнь 2003 года. После двадцати пяти лет жизни в Америке мы с женой едем в Санкт-Петербург, а затем — в Москву. За пару дней до отъезда американский журналист и писатель, независимый режиссёр-постановщик Национального Общественного Радио (NPR), бывший главный редактор известной передачи «Принимая всё во внимание» (All Things Considered) Роберт Рэнд обратился ко мне с просьбой поделиться воспоминаниями о начале Магнитиздата, возникшего в дополнение к Самиздату в конце 50-х годов. В это время он работал над созданием радиопередачи «Снимая маску со Сталина…». Мы договорились о времени интервью после нашего возвращения из России.

Две московские встречи неожиданно и естественно вернули меня к событиям 40-летней давности. Наша первая встреча в Москве — тётушкой моей жены Лены, Марией Борисовной Мульяш — женщиной фантастической энергии и обаяния. За более чем пятьдесят лет своей карьеры она организовывала концерты практически всем, кого Россия любила видеть на концертной сцене — от Целиковской и Руслановой, Утёсова и Бернеса, Майи Кристалинской, Аллы Пугачевой и Людмилы Зыкиной, Мироновой и Менакера, Аркадия Райкина и Андрея Миронова до Надежды Обуховой и Козловского, Майи Плисецкой и Мариса Лиепы, Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Многие из них стали друзьями Марии Борисовны на всю жизнь. Её квартира — это настоящий музей. На книжных полках — масса книг с автографами, все стены, полки и бесчисленные столики завешены, заставлены фотографиями, рисунками, афишами.

Одна афиша бросается мне в глаза — Изабелла Юрьева поёт на своём 100-летнем юбилее. Это имя мгновенно возвращает меня назад к моим первым магнитофонным записям — записям романсов в её исполнении.

На следующий вечер мы — в «Театре у Никитских ворот» замечательного режиссёра и актёра Марка Розовского. В одной из афиш на Интернете я обнаружил такую фразу Розовского: «Мы, конечно, театр для избранных, но вся прелесть в том, что этими избранными могут быть все». Директор и музыкальный руководитель театра Татьяна Ревзина, по счастливому стечению обстоятельств — кузина моей жены. Идёт спектакль «Песни нашей коммуналки». Зрители входят в зал через сцену. На сцене — кухня, на столе — стопочки с водкой и сухарики. Каждый входящий принимает стопочку, заедает чёрным

сухариком и… готов к песням. У меня — полное ощущение, что я возвращаюсь в пятидесятые годы, в нашу коммуналку, и слушаю мои первые записи на моём первом магнитофоне.

Представьте себе четыре комнаты. В двух из них муж, жена и ребёнок, там пьют каждый день. В третьей комнате — ещё и тёща, там пьют только по выходным и в день получки (положительное влияние тёщи!), в четвёртой комнате — тот же полный состав плюс магнитофон, здесь пьют без расписания и гораздо реже (положительное влияние тёщи и музыки!). Это социально-архитектурное образование и есть коммуналка. Комната с магнитофоном — конечно, наша. Тёща, как мы тогда говорили, «врубает телевизор на полную катушку» и говорит: «Да ты включай магнитофон, включай, мне не мешает».

Магнитофон я купил с первой настоящей получки в середине 59-го года. По ночам записывал знаменитые джазовые передачи Голоса Америки Уиллиса Коновера, выспрашивал знакомых и незнакомых о старых пластинках. Результат не замедлил сказаться — у меня быстро собралась обширная коллекция; среди первых записей — песни и романсы, в основном цыганские, в исполнении Юровской, Ляли Чёрной, Тамары Церетели, Изабеллы Юрьевой (Калитка, Прощай мой табор, Очи чёрные, Бирюзовые колечки…), Клавдии Шульженко (Синенький платочек, Челита…). Мне удалось достать и переписать чудом сохранившуюся пробную пластинку Лидии Руслановой, которая должна была выйти в свет незадолго до её ареста. Появились у меня также записи Вертинского, Лещенко, Козина. Каким-то образом просочилась в Россию пластинка цыганских романсов в исполнении американского певца Теодора Бикела и, конечно же, не обошла и меня стороной. (Бикел — ведущий актёр знаменитого Бродвейского шоу «Скрипач на крыше», и каких-нибудь тридцать лет спустя мы получим настоящее удовольствие, услышав его в концерте в Еврейском Центре города Детройта).

Осенью 59-го года мой друг, инженер, певец и гитарист, Леонид Кушелевский приносит записи песен ещё почти никому неизвестного поэта Булата Окуджавы, напетые на вечеринке у ленинградского кинорежиссёра Венгерова. Среди полутора десятка песен: *На Тверском бульваре*, *Девочка плачет*, *Песенка о последнем троллейбусе*, *Не клонись-ка ты головушка*, *А мы швейцару…*, а также его интерпретация известной блатной песни:

Течёт речка, да по песочку;
Бережочек моет.
Молодой жульман, да молодой жульман
Начальничка молит…

Магнитофон стоял под столом, запись была жуткая, но это была первая, известная мне, запись песен Булата, и с этого момента его песни стали неотъемлемой частью моей жизни. Через несколько месяцев — мой первый опыт распространения магнитиздата за границу: я посылаю записи Окуджавы в Варшаву. Неясные в звучании строчки мне пришлось допевать самому. Интересно, что вскоре песни Булата станут в Польше практически так же популярны, как в России. Клянусь, я отнюдь не пытаюсь утверждать, что это произошло благодаря мне, а всё-таки… Шутки в сторону, забегая вперёд, скажу, что в 1964 году в горном студенческом лагере в Польше мой друг, физик и джазовый певец, Сергей Мелещенко и я дали почти двухчасовой «концерт» песен Булата к полному восторгу польско-русской аудитории.

В 60–61 годах быстро налаживаются контакты между любителями «не массовой» песни. На заводе им. Карла Маркса мой сотрудник, в будущем один из самых активных распространителей магнитиздата и самиздата в Питере, Михаил Черниховский, пользуясь моими записями, «гонял» в обеденный перерыв по местному радио песни Окуджавы, Вертинского и др., пока партийное руководство не спохватилось и «серьёзно нам указало».

К 62 году у меня собирается огромная (по тем временам) коллекция песен Вертинского, и Театральный музей предлагает мне обменять мои записи Вертинского на пластинки известной негритянской певицы Махалии Джексон, привезённые из Америки кем-то из труппы балета Мариинского театра. Один из моих хороших знакомых — талантливый профессиональный фотограф Борис Шварцман (в будущем — автор замечательных фотопортретов Ахматовой, Бродского, Акимова, Ростроповича, Володина, Окуджавы, Аксёнова, Твардовского, Ахмадулиной, композитора Слонимского и других наших знаменитых современников), представляет меня журналисту Михаилу Балцвинику, активному «самиздателю», который, среди прочего, тоже имел массу записей Вертинского — на этом собрание Вертинского, можно смело сказать, было завершено!

Несколько лет спустя у меня произошла очень интересная встреча, связанная с моим собранием Вертинского. Опять же через Шварцмана и его жену Софу Финтушал я познакомился с математиком и драматургом Алексеем Смысловским и его женой, художницей Анютой Юнгер, дочерью главного режиссёра Ленинградского Театра Комедии Николая Павловича Акимова и известной актрисы Елены Владимировны Юнгер. Анюта с мужем и матерью жили в одной квартире, где я время от времени бывал, делясь моими магнитофонными сокровищами. Однажды Елена Владимировна попросила меня устроить вечер Вертинского. В тот вечер в гостях у неё была известная ленинградская балерина Татьяна Вечеслова. Здесь меня ждал настоящий сюрприз! Как только зазвучал голос Вертинского, запела и Вечеслова. Она знала практически весь его репертуар. Надо сказать, пела Вечеслова прекрасно, и это был редкий, но, к сожалению, не записанный дуэт! Не могу не вспомнить стихотворение Ахматовой, посвящённое Татьяне Вечесловой:

Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камней.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла.
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.

Летом или осенью1961 года (не помню точную дату) Булат Окуджава гостит в Ленинграде, встречаясь со своей будущей женой Олей Арцимович. Булат, впрочем, как и все мы в то время, мягко говоря, не при деньгах. Чтобы помочь ему, один из его друзей писатель, востоковед Борис Вахтин предлагает организовать его концерт.

Борис Шварцман, человек фантастической коммуникабельности, кажется, знает весь белый свет. Он звонит двум своим подругам, профсоюзным активисткам в Пулковской Обсерватории, и, в результате, выкристаллизовывается историческое событие — первый, собравший несколько сот людей, полуофициальный концерт Окуджавы в Ленинграде, в Пулковской Обсерватории. Накануне, знакомый Бори Шварцмана, тогда ещё молодой писатель Владимир Максимов просит его сделать копию с ещё неизданной повести «Баллада о Савве» и передать её Булату.

Повесть из жизни беспаспортных беглых заключённых, описанных не без сочувствия, да ещё с одним из главных героев Зямой, была «естественно» неприемлема в оригинальном виде для советских журналов, и посему стала типичным произведением для самиздата. Уже упомянутый мой сотрудник и друг Миша Черниховский уговаривает знакомую девушку-секретаршу в милиции, и она прямо под носом у блюстителей порядка перепечатывает за один день эту повесть. На следующий день, спасибо Шварцману, Черниховский и я первыми гордо входим в конференц-зал Пулковской Обсерватории, представленные: «Эти с Окуджавой». Булат приехал на концерт с двумя Борями, Шварцманом и Вахтиным, и с Василием Аксёновым, который в это время тоже оказался в Ленинграде. Перед началом концерта Окуджава, ещё практически не знакомый с большими аудиториями, сидел за кулисами весь какой-то зажатый, напряжённый и всё молил друзей: «Коньячку бы сейчас, рюмочку…».

Не могу сказать, что этот первый концерт Булата прошёл с грандиозным успехом, скорее он прошёл спокойно, не было буйного восторга, но не было и оскорбительных выкриков: «Осторожно, пошлость…», как случилось в Московском Доме Кино в 60-м году. Ленинградцы оказались гораздо интеллигентней сытых московских киношников.

Окуджава начал со стихов: «Берегите нас, поэтов, берегите нас…», «Эта женщина такая: ничего не говорит…», «Дышит воздухом, дышит первой травой…», затем спел три- четыре песни, встреченные молчанием разношёрстной публики. И только после того, как он спел: «Четвёртый год подряд война твой дом, солдат…» и «До свидания, мальчики», зал стал аплодировать, и лёд тронулся… К середине концерта Булат расслабился, стал немножко шутить, вытащил на сцену Василия Аксёнова. Аксёнов чутко разобрался в ситуации, ответил на пару вопросов, дав Булату несколько минут передышки, и переключил зал обратно на Окуджаву. (Если кого-то интересует, сколько заплатили Окуджаве за концерт, где было несколько сотен зрителей, могу сообщить: семьдесят рублей; кстати, зарплата начинающего инженера в то время была сто десять!)

Забавная деталь: после окончания концерта и экскурсии по Обсерватории был поздний вечер, с автобусами, как не покажется странным (!), было весьма напряжённо, и Булат с друзьями, поймав на шоссе какую-то полуторку, не без приключений прогромыхали в кузове до города.



Булат Окуджава. 1962 г.
Фото Михаила Балцвиника

В том же году Клуб Ленинградского Университета пытался организовать концерт Окуджавы с помощью немного знавшей его Нины Аловерт. (Ныне Нина — одна из самых известных балетных фотографов по обе стороны океана, автор многих балетных монографий и альбомов). Но партийное руководство университета затребовало список песен, которые он собирался исполнять. Булат отказался, и концерт не состоялся.

События для Окуджавы развиваются с бешеной скоростью. Уже в декабре того же 61-го года с успехом проходит его выступление в ВТО (Всероссийское Театральное Объединение), где конная милиция пыталась управиться с огромной толпой, жаждущей попасть на концерт. После концерта Нина Аловерт с небольшой группой друзей и с Булатом поехали в гости к балерине Татьяне Михайловне Вечесловой, о которой я уже писал. Сначала всё было замечательно, Булат пел всё, что Нина просила его петь. Он крайне удивился, кода его попросили спеть «А мы швейцару: „Отворите двери!“» Нина объясняла Булату, что он недооценивает силу своих песен. Затем слегка подвыпившая хозяйка дома Вечеслова стала ему подпевать, а затем предложила послушать парочку романсов в исполнении Сорокина. Окуджава справедливо обиделся и петь перестал.

С начала 62-го года он даёт уже десятки «разрешённых» концертов, но одновременно так называемые молодёжные газеты наперебой обливают его потоками грязи, вторя своему главарю, первому секретарю ЦК ВЛКСМ С. Павлову, заявившему в середине 1961 года: «…что касается Булата Окуджавы и иже с ним, то уж таким сподручнее делить свои лавры с такими специалистами будуарного репертуара, как Лещенко».

Летом 1962 года всё тот же Борис Шварцман организует концерт Окуджавы дома у Миши Балцвиника. И не случайно среди более чем трёх десятков прекрасных знакомых и не знакомых нам песен прозвучала его «Гитара»:

Усталость ноги едва волочит,
Гитара корчится под рукой.
Надежда голову мне морочит,
А дождь сентябрьский льёт такой.

Мы из компании. Мне привычны
И дождь, и ветер, и дождь и ты.
Пускай болтают, что не типичны
В двадцатом веке твои черты.

Пусть друг недолгий в нас камень кинет,
Пусть Ардаматский своё кричит —
Моя гитара меня обнимет,
Интеллигентно она смолчит.

Тебе не первой, тебе не первой
Предъявлен веком суровый счёт.
Моя гитара, мой спутник верный,
Давай хоть дождь смахну со щёк.

Я уже не помню, кто такой Ардаматский, наверно, какой-нибудь гнусный секретарь Союза Писателей, особенно нападавший на Булата, и в дальнейшем Булат заменил эту строчку на более общую: «…пускай завистник своё кричит…»

Это был, я думаю, типичный домашний концерт в одной из ленинградских квартир с парой десятков внимательных, понимающих, любящих слушателей и, как водится, с парой магнитофонов. А у меня появились добрых два часа первых сделанных мной самим прекрасных записей песен и стихов Булата. Одну из фотографий с этого вечера, сделанную Балцвиником: Булат у железной, времён войны, печки,— много лет спустя, я дал для публикации в книге Владимира Фрумкина «65 песен Булата Окуджавы». Другие фотографии, насколько я знаю, были представлены в 2000 году на выставке в Музее Анны Ахматовой в так называемом Фонтанном Доме — Шереметьевском дворце в Петербурге и хранятся сейчас в фондах этого музея как часть архива Михаила Балцвиника.

К 62-му году магнитофоны активно входят в жизнь многих семей; магнитиздат так же, как и книжный самиздат, становится всё более

массовым. Я знакомлюсь ещё с одним серьёзным собирателем магнитиздата Борисом Рахлиным, который в то время с женой и двумя детьми жил в одной крохотной комнате коммунальной квартиры. Довольно большую часть этой комнаты занимало фантастическое, по тому времени, записывающее оборудование, списанное с какой-то подводной лодки. С помощью этого оборудования качество наших перезаписей резко выросло, хотя сам процесс перезаписи в Борином доме был постоянным испытанием нашего мужества, ибо каждый раз, когда я появлялся с магнитофоном, Борина жена клялась немедленно и безжалостно нас обоих убить.

2. МАГАЗИН ПОЭЗИИ. ВСТРЕЧА С АХМАТОВОЙ. ТАГАНКА

Вскоре Миша Балцвиник знакомит меня с Геннадием (Гидалием) Моисеевичем Рахлиным, человеком очень красочной и, одновременно, как часто случалось в России, печальной биографии. Рахлин лично знал многих крупнейших деятелей российской культуры (портреты Ахматовой, Шостаковича и Улановой с дарственными надписями Рахлину украшали стену гостиной в его доме). Бывший директор Магазина Союза Писателей на Невском проспекте, с 1949 по 1955 год он отсидел по так называемому «Ленинградскому делу», по которому была арестована и расстреляна большая часть ленинградского городского и партийного руководства. А Геннадий Моисеевич имел несчастье по окончании войны помогать комплектованию их библиотек. По его рассказам он был в одном лагере с погибшим в 1953 г. Николаем Николаевичем Пуниным, крупнейшим искусствоведом и художественным критиком, мужем Анны Андреевны Ахматовой. Вернувшись из лагеря, после реабилитации Рахлин становится директором Магазина Поэзии рядом с Мариинским театром.

При магазине он организовал круг любителей поэзии с «ядром» из десятка 25–30 летних молодых людей, куда попал и я. Первая встреча, в которой я участвовал, состоялась в доме Анны Андреевны Ахматовой под Ленинградом в Комарово летом 1963 года.

Среди приглашённых, кроме постоянных членов нашего кружка, был наш хороший знакомый, солист балета Мариинского театра Ана-

толий Нисневич. В тот день мы впервые услышали целиком знаменитый «Реквием», только что опубликованный на Западе:

Это было, когда улыбался
только мёртвый — спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
возле тюрем своих Ленинград…

Анна Андреевна читала спокойно, негромко, величественная, как императрица. К сожалению, я постеснялся взять с собой мой магнитофон.

Затем она показала нам несколько своих фотографий; на вопрос о встрече с американским поэтом Робертом Фростом отмахнулась: «Свели двух стариков вместе, ни ему, ни мне это было абсолютно не нужно». И вдруг, показав журнал с копией незадолго до этого найденного гравюрного портрета Дантеса, Ахматова воскликнула: «Мы, женщины, чувствуем себя отмщёнными — Дантес оказался некрасивым».

Борис Шварцман попросил у Анны Андреевны разрешения её сфотографировать. Она страшно обрадовалась: «Я уже забыла, когда последний раз фотографировалась вместе с внучкой», и позвала её. Анна Андреевна имела ввиду Аню, которая, на самом деле, была внучкой Николая Николаевича Пунина и всю свою жизнь, до самой смерти Ахматовой, жила вместе со своей матерью Ириной Николаевной Пуниной и Анной Андреевной в разных ленинградских квартирах, а летом — на даче в Комарово. Мой друг, Михаил Юрьевич Евсевьев, автор нескольких работ по произведениям Н. Н. Пунина, профессор кафедры истории русского искусства Петербургского Университета, считает, что есть некая историческая несправедливость в том, что на Фонтанном Доме в Петербурге рядом с именем Ахматовой не стоит имени Пунина. Ахматова познакомилась с Пуниным, бывшим тогда комиссаром



А.А. Ахматова. На даче в Комарово. 1963 г.
Фото Бориса Шварцмана

Русского музея, в 1922 году, а в 1924 году въехала в его квартиру в служебном флигеле Шереметьевского дворца. Из этого дома она ездила в Москву просить за арестованных в 1935 году Пунина и своего сына Льва Гумилёва, и позже из этого же дома она носила передачи в Кресты, ленинградскую следственную тюрьму.

В той злой тишине в той неверной
В тени разведённых мостов
Ходила она по Шпалерной,
Моталась она у «Крестов»…

А. Галич

Ахматова продолжала жить в Фонтанном доме вместе с дочерью и внучкой Пунина до 1952 года

В этот день Шварцман сделал целую серию замечательных — удивительно искренних — портретов Анны Андреевны, впоследствии опубликованных в бесчисленных книжных и журнальных изданиях и уже много позже выставлявшихся на выставках в России и Америке. Одна из фотографий этой серии на обложке книги переводов Ахматовой «Стихи зарубежных поэтов» с её автографом для Бори была передана ему в день похорон Анны Андреевны. Видимо, это был один из её последних автографов.

После встречи с Ахматовой Геннадий Моисеевич приглашал к себе (домой или в магазин) многих из наших любимых поэтов: Окуджаву, Ахмадулину, Бродского, Вознесенского, Соснору, Кушнера. Иногда он проводил нас в Дом Писателей, например, на встречу с Давидом Самойловым и Окуджавой. Естественно, везде, где можно, я был со своим магнитофоном. Записанное на магнитофоне немедленно расшифровывалось и распечатывалось на трёх-четырёх пишущих машинках. Магнитиздат и самиздат слились воедино.

В 1965 году в Ленинград впервые приезжает театр на Таганке. Среди актёров — Владимир Высоцкий. Практически никто ещё не знает Высоцкого как автора песен, хотя у нас уже есть записи нескольких блатных песен в его исполнении. Сразу после спектакля «Добрый человек из Сезуана» главный режиссёр театра Юрий Любимов, директор театра Дупак, завлит Элла Левина и несколько актёров приглашены в дом к Геннадию Моисеевичу и Лие Яковлевне Рахлиным, где, как всегда, — щедрое застолье. Но два магнитофона, мой и журналиста

Славы Попова, на всякий случай, наготове. Наготове и две камеры: Миши Балцвиника и Изи Иоффе. После естественных тостов за успехи молодого театра, Любимов просит Высоцкого спеть несколько своих песен. Но начинает Высоцкий с песни Галича «Это гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот…», а затем на одном дыхании выдаёт нам концерт своих песен минут на сорок пять. В середине вечера Любимов попросил его спеть песню, сочинённую буквально накануне, в поезде из Москвы в Ленинград, «Песню о штрафниках»… Так ещё один великий бард сделал шаг в жизнь.

На второй встрече с таганцами 23 апреля 1967 году Высоцкий, уже известный актёр и автор, поёт опять — один или с Вениамином Смеховым и Валерием Золотухиным. Через две недели 9 мая состоялась ещё одна встреча с таганцами, где все присутствующие актёры подписали общую фотографию, которая хранится у меня. Надо сказать, что несколько фотографий с этих трёх вечеров разошлись по бесчисленным изданиям российских и зарубежных книг и журналов, включая воспоминания жены Высоцкого Абрамовой, «Дребезги» Золотухина, книгу «Михаил Балцвиник. Воспоминания современников» и т.д.

К сожалению, один не очень чистоплотный коллекционер, впоследствии неоднократно печатавший статьи о бардах в нью-йоркском «Новом Русском Слове», «одолжил» у Изи Иоффе оригиналы нескольких фото и благополучно уехал с ними в Америку.

Эти три домашних концерта Владимира Высоцкого и других таганцев в доме Г. М. Рахлина были, несомненно, значительным событием в истории развития и распространения песен бардов.

Расширяется горизонт гитарной песни — у меня уже собралось около трёх десятков песен Александра Галича, весёлые и лёгкие песни Юлия Кима, песни Александра Городницкого, Юрия Кукина, Новеллы Матвеевой, Анчарова, Визбора. В домашнем концерте записываю Клячкина, и хотя песни, написанные им самим, не производят на меня впечатления, он пишет очень неплохую музыку, и хорошо исполняет песни на слова Эренбурга, Вознесенского, Бродского, Кузьминского и т.д. Девушки-слушательницы его обожают. Появляется плёнка с записями песен талантливого сценариста Геннадия Шпаликова. В 1962 году Хрущёв лично разгромил его фильм «Застава Ильича», но в том же году с успехом на фестивале в Каннах прошёл его фильм «Иваново детство» с режиссёром Тарковским, а затем в 1964 году —

«Я шагаю по Москве». Помню наше удивление — две песни в исполнениях Галича и Шпаликова пересекаются: «Слава героям» (У лошади была грудная жаба…) и «За заборами вожди». Тайна раскрылась много позже, когда на одном интервью в Мюнхене Галич рассказал, что эти песни они написали вдвоём, отдыхая в Болшеве, в Доме творчества работников кино. К сожалению, плёнка с записями Шпаликова оказалась его первой и последней — в январе 1974 года в возрасте 37 лет он покончил жизнь самоубийством.

В Ленинграде становится известным клуб Восток, открытый уже в 1961 году и названный так в честь космического корабля «Восток», на котором взлетел в космос Гагарин. Мои друзья и я ходим туда крайне редко (просто не хватает времени), хотя надо отдать должное активистам этого клуба — они сыграли немалую роль в популяризации гитарной песни. Кроме «больших» имён в этом клубе пели десятки авторов, о которых Окуджава как-то сказал: «Ну, это уже совсем другая полочка». В конце 80-х годов один из руководителей клуба Михаил Крижановский подарит мне плакат-буклет, выпущенный к двадцати пятилетию клуба. Плакат — это больше полуметра высотой портрет Окуджавы с посвящением Булата: «Клубу „Восток“ многая лета!!!» На развороте буклета — портреты многих популярных исполнителей, выступавших в клубе. Но вернёмся назад в 60-е годы; Булат ещё дважды поёт и читает стихи на квартире Г. М. Рахлина.

3. НАШИ ПЕРВЫЕ «КОНТАКТЫ» С КГБ

Параллельно с ростом магнитиздата, растёт и, главное, смелеет литературный самиздат. Помните, это был «золотой век» «Нового Мира», уже был опубликован «Один день Ивана Денисовича», в самиздате появились «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, знаменитое письмо Фёдора Раскольникова, письмо бежавшего за границу Аркадия Белинкова со списком около 600 репрессированных при Сталине литераторов. Я позволяю себе роскошь на курсах лекторов по международному положению в Центральном Лектории на Литейном проспекте прочесть учебную лекцию о культе личности Сталина, построенную на базе письма Белинкова. Эпиграфом к лекции я выбрал следующее стихотворение:

Один король в былые годы
Был ростом ни высок, ни мал,
И уж таков был грех природы —
Он с детских лет слегка хромал.
И царедворцы — род лукавый
Такой обычай завели:
Кто левою ногой, кто — правой
Хромали дружно, как могли.
Обычай сделался законом,
Все подчинились — стар и млад
В парламенте и зале тронном.
Весь двор хромал, хромал, хромал… и т.д.

Это стихотворение в те годы казалось очень смелым. В зале стояла глубокая тишина. Прочитав всё стихотворение, я сообщил, что оно написано французским поэтом Гюставом Надо, умершим в 1883 году. Стихотворение было переведено на русский язык поэтом-сатириком Абрамом Арго. Затем я стал зачитывать сокращённый список писателей и поэтов, репрессированных при Сталине, и некоторые произведения которых только-только стали появляться в книжных и журнальных изданиях. Руководитель семинара прервал меня примерно через 15 минут, мотивируя необходимостью обсуждения технической стороны лекции (организации материала). Текст лекции у меня забрали для оценки, и так и не вернули. Легко представить, где этот материал закончил свой путь. После разгромного выступления Хрущёва по поводу молодых писателей и поэтов поэтесса Юнна Мориц прочитала в Доме учёных Ленинградского Политехнического института взрывные стихи «Кулачный бой» (кажется, это было в самом начале 60-х годов):

Мне узкоглазой и ширококостной,
Февральским утром в год бы високосный,
Когда по небу мечется заря
В тулупе красном, речью бы несносной
На лобном месте мне б гневить царя
И крикнуть: — Царь! Ты много войска маешь,
Но ни черта в стихах не понимаешь,
Черства твоя порода и глуха…

Опричнина — жестокая затея,
Кровопролитье — до-о-о-лгая затея,
Опричник зря кровавый бой затеял
Со мной на понимание стиха.
Вот он впрягает шею, руки, плечи
В дилемму — не убить, так искалечить,
Но — не читать, не слышать, не видать.
Столкнуть с земли, покончить с днём рожденья,
В то солнечное яркое сплетенье
Строфы, — ногой, обутой в хром, поддать!

И далее:

Поэт — это священная корова,
И если государство нездорово,
Ты песню топором не отрицай!

Юнне Мориц тогда едва перевалило за двадцать лет! Это стихотворение произвело на меня такое мощное впечатление, что я запомнил его со слуха на всю жизнь, как теперь выяснилось, с крошечными изменениями. Поразительным оказалось послесловие, написанное Юной Мориц много лет спустя: «...Эти стихи немедленно попадают в чёрные списки, их запрещают читать, никогда ни в одну из книг они не войдут и не будут изданы».

Но в шестьдесят каком-то году поэт Владимир Цыбин, ведавший отделом поэзии в журнале «Молодая гвардия», печатает эти стихи, прекрасно зная, что немедленно будет уволен. Этот номер журнала автору не достался, весь тираж расхватали, в архиве у автора нет этой публикации. **СТИХИ ВОССТАНОВЛЕНЫ ПО МАГНИТОФОННОЙ ПЛЁНКЕ.**

Как я уже писал, магнитофон стал мощным инструментом самиздата.

Мы собираем и печатаем (особенно активен в перепечатке Михаил Черниховский) сборники стихов Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Заболоцкого и молодых Иосифа Бродского, Виктора Соснору, Глеба Горбовского. Миша Балцвиник делает несколько фотокопий «Доктора Живаго» и книги Ильи Эренбурга «Бурная жизнь Лайзика Ройтшванеца». Про эту книгу Эренбурга Хрущёв однажды «тепло» заметил в та-

ком духе, что в своё время буржуазная пропаганда долго носила её на своих знамёнах. Интересным примером самиздата было несколько экземпляров книги, выпущенной друзьями Бориса Шварцмана: четыре молодых писателя Борис Вахтин, Владимир Марамзин, Игорь Ефимов и Владимир Губин собрали свои рассказы под одной обложкой «Горожане». Обложка представляла из себя сделанную Шварцманом фотографию ночных городских окон.

Возвращаясь к нашим сборищам — на одной из вечеринок Виктор Соснора неожиданно поёт очень простую, но «ох! неправильную» для советского поэта песенку: «Шатаясь, как основы государства, я выхожу один из кабака. Я пропил всё: и бобочку, и галстук, да и любовь почти наверняка ...» и, как говорят, так далее, в том же духе. На маленькой книжке стихов, опубликованной в 1962 г. в издательстве «Советский писатель» и подаренной мне, Соснора мощными росчерками пера исключил «Советский», выделил «писатель» и направил стрелку к автографу В. Соснора. Мы и не подозреваем, что атмосфера над нашей компанией сгущается. На одной из вечеринок Миша Балцвиник читает вслух книгу, написанную выпускниками Ленинградского химико-технологического института Валерием Ронкиным и Сергеем Хахаевым: «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата».

К сожалению, в этот день среди всех своих, в гостях оказалась какая-то знакомая из Риги, оказавшаяся стукачкой. В мае 1965 года Геннадия Моисеевича Рахлина вызывают в Большой Дом (КГБ), повод, по словам Рахлина,— вернуть ему ордена, отобранные при аресте в 1949 году. По ходу разговора расспрашивают его о нашей группе, называют (сверяют) имена постоянных участников: Михаила Балцвиника и его жены журналистки Галины Зябловой, журналиста Славы Попова и его жены Лины, Михаила Евсевьева, в то время техника института Полярной Гидрографии, участника нескольких арктических экспедиций и, одновременно, студента вечернего отделения Ленинградского Университета, и его жены Тамары, работавшей в НИИ синтетического каучука вместе с будущим «преступником» Валерием Ронкиным, дочери Рахлина Инны и Вашего покорного слуги Владимира Ковнера с женой Лялей. Из всех нас только Миша Евсевьев уже имел опыт «контакта» с КГБ: в 1963 году на американской технической выставке в Ленинграде он познакомился с Зоей Бриннер из Института Гувера в Стэнфорде, Калифорния (двоюродной сестрой знаменитого

американского русскоговорящего актёра Юла Бриннера), и получил от неё книжные подарки. Сразу по выходе с выставки «тяжёлая рука советского правосудия» легла сзади на его плечо — он был немедленно арестован, а книги отобраны. (Сорок лет спустя мне удалось поговорить с Зоей Бриннер, и я был поражён её изумительным «набоковским» русским языком.)

Вернувшись из Большого Дома, Рахлин немедленно собирает нас и предупреждает: «Поверьте моему опыту, будет обыск». 12 июня 1965 года сотрудники КГБ нагрянули на несколько десятков ленинградских квартир. Впоследствии вся эта история получила название Дело «Колокола», группы, распространявшей вышеупомянутую книгу «От диктатуры...», выпустившей два номера журнала «Колокол» и другие политически взрывчатые материалы, что было достаточно подробно описано в Выпуске 1 Исторического Сборника «Память» (Москва 1976 г. — в Самиздате, Нью-Йорк –1978 г.). Мне частично повезло: жили мы в квартире жены, где хранилась большая часть самиздата, особенно, нового, а прописан я был у родителей, где мы часто бывали, и где я держал материалы, накопленные годами, старые фото и часть магнитофонных записей. Туда и заявились непрошенные гости в шесть утра, о чём я, естественно, не имел ни малейшего представления. Появились они и в Текстильном Институте, где я преподавал.

Часам к 11-ти я уже знал об обыске в квартирах трёх моих друзей (по телефонному звонку Балцвиника мы все встретились у Казанского собора), и я немедленно поехал к родителям, чтобы забрать оттуда возможные «обличающие нас» материалы. Сюрприз, сюрприз! Как только я открыл дверь, за ней стоял огромного роста мужчина, выхвативший у меня из рук портфель. Мне дали подписать ордер на обыск, уже подписанный моей матерью. Четыре человека перевернули всю квартиру («Хоть антресоли почистили», — позже шутила мать), не поленились разобрать радиоприёмник и даже почему-то будильник. Из печки, оставшейся от старых времён, вытащили комсомольский билет моей жены. Я объяснил, что у неё как раз кончился комсомольский возраст — 28 лет, и я посоветовал выбросить билет в печку. К моему удивлению, их это объяснение вполне удовлетворило. Было в комнате и два «понятых». Лицо одного из них было мне ужасно знакомо. Вдруг я вспомнил, что в течение последних нескольких дней я встречал его всюду в городе, мы даже ехали с ним одним поездом в пригород Ленинграда Зеленогорск и обратно, и я подумал тогда:

«Что значит теория вероятностей!» И на самом деле — «понятые» сотрудники КГБ — какое простое решение!

Случился при обыске и забавный эпизод. Один из кагэбэшников взял с полки книгу «Поэты Израиля» и спросил: «Где это вы её отыскали?» К моему ужасу из меня выскочило: «Наверно, не там ищете». Ни малейшей реакции не последовало. Всё прошло вполне цивильно. Забрали массу фотографий и всё, что было из печатных материалов. Мои магнитофонные плёнки с записями песен бардов в первый, но не последний раз оказались в руках КГБ. Затем был допрос в Большом Доме, а перед допросом — несколько часов в глубочайшей тишине маленькой комнаты, наедине с портретами Ленина и Дзержинского и с одиноким журналом на столе, открытым на статье «Последние дни маршала Тухачевского». Чтоб не потерять концентрацию, я заставил себя читать «Теоретическую механику» Лурье, которую штудировал для приближающегося кандидатского экзамена. На допросе, несмотря ни на какие свидетельства, впрочем, все косвенные, я твёрдо стоял на своём: «Ничего не знаю». (Помните знаменитую фразу из «Шведской спички»: «Жила только с вами и больше ни с кем…»?) К концу третьего часа допроса в комнате вдруг откуда-то сзади меня появился какой-то, очевидно, более высокий чин, который сделал мне неожиданный комплимент: «Ваше поведение сегодня воспринимаем, как разведку боем!».

Два месяца спустя — второй вызов в Большой Дом, к следователю по особо важным делам города Калинина (своих уже не хватало!). Через пару часов вместе с вежливым «поучительным» разговором я получаю назад мои магнитофонные записи и фотографии, на обороте каждой из которых красуется: «Изъято при обыске» и моя подпись. Печатные материалы они оставили себе, конечно же, с моего согласия.

— Владимир Яковлевич, вы уверены на сто процентов, что это действительно письмо Раскольникова? — Нет. — Представляет ли оно для вас какую-то особую литературную ценность? — Нет. — Тогда вы не возражаете, если мы оставим его себе? — Нет, что Вы! Какие могут быть возражения?

Примерно так же развивались события для моих сотоварищей по этому делу. Михаил Евсевьев сохранил по сию пору «Протокол обыска» в его квартире и «Повестку в КГБ».

Как мы узнали много позже, кроме бригады, состоящей из девяти следователей, в их работе принимал непосредственное участие и на-

чальник следственного управления полковник М. М. Сыщиков. Какое удачное имя! Ровно через три месяца после нашего обыска арестовали Синявского и Даниэля. Брежнев закручивал гайки. В сентябре закончился процесс по делу группы «Колокол». Девять человек получили от двух до семи лет заключения и были отправлены в лагерь Дубровлаг в Мордовии. Никто из моих близких друзей не был привлечён к уголовной ответственности, но, тем не менее, журналистов Балцвиника, Зяблову и Попова и меня как преподавателя института (не достоин воспитывать молодёжь!) выгнали с работы; Балцвиника и Попова — с лишением права работать журналистами вообще. После окончания процесса по многим учреждениям были разосланы официальные уведомления о «криминальных» действиях их работников. Попытались меня выгнать и с завода, куда мне помог устроиться, не задавая никаких вопросов, мой институтский профессор Иосиф Исаакович Вульфсон, но чья-то «высшая санкция» была — «неосуждённых» трудоустроить. Труднее всего для КГБ, я полагаю, было придумать наказание для техника Евсевьева. Выслать его в Арктику, где он и так постоянно работал? Не разрешить ему ездить в Арктику? А кто туда рвался? Оставили в покое.

Вскоре ко мне на улице подошёл один инженер (большой книжник!), хорошо знакомый по моей предыдущей работе. Прямым текстом он сообщил, что приставлен следить за мной — такое простенькое профилактическое мероприятие, чтоб знал, что «органы» всегда обо мне помнят (недавно я прочитал в «Аквариуме» Виктора Суворова, что открытая слежка была стандартной в «спецназе»). К этому времени я выработал в себе железную привычку ничему не удивляться и ничем себя не выдавать. Внешне, до конца 70-го года меня оставили в покое. Надо сказать, что это «Дело» закалило меня чрезвычайно. Но, пожалуй, самый главный для меня положительный опыт всей этой истории был такой: неважно, сколько людей служило карательным органам государства, чтобы разрушить наши жизни, гораздо важней — сколько нашлось людей, готовых немедленно прийти нам на помощь.

В первые месяцы моей работы на новом месте в конструкторском бюро Станкостроительного завода им. Свердлова, во время суда и бесконечных митингов по моему «преступному» поводу жизнь моя могла легко стать абсолютным кошмаром, если бы не поддержка нескольких сотрудников и особенно моего начальника отдела Игоря

Андреевича Гидаспова, затем профессора Петербургского Северо-Западного политехнического института. А ведь жизнь этого человека, талантливого инженера, умного и, главное, честного руководителя, была куда тяжелее моей. Его дед, православный священник, расстрелян в 1938 году, так же, как брат деда, тоже священник (у меня хранится документированная история их жизни — я хотел написать о них); отец, начальник планового отдела на заводе, умер в тюрьме в 1941 году — до суда, в 1949 году вспомнили и о детях — старшего брата, молодого офицера, понизили в чине, а самого Игоря выбросили из военного училища во флот. Чудом удалось матери вырвать его, 17-летнего пацана допризывного возраста, из когтей армии.

В КБ волей судьбы собралась группа замечательных людей: математиков, механиков — теоретиков, блестящих конструкторов, одним словом — инженерной элиты. В то же время многие из них были любителями искусства и литературы, людьми сходных интересов и, как оказалось, в определённой степени сходных судеб (расстрелян тесть, тёща отсидела 19 лет в лагерях; арестована жена; раскулачена семья деда; сидел сам, но всего три года — в сорок первом выпустили и на фронт, выжил — повезло! — как в микрокосмосе, отразилась здесь страшная судьба миллионов людей в Стране Советов). С некоторыми из моих коллег мы стали друзьями на всю жизнь. Надо сказать, что, несмотря на различие в возрасте, титулах и степенях, увлечение «гитарной песней» захватило всех. Вспоминаю крошечную комнату, четыре пары друзей (не без пива, конечно), вместо воздуха синий табачный дым, и магнитофон с плёнками Окуджавы, Высоцкого, Галича… — до 2–3 часов ночи. Полагаю, такая сцена была вполне типичной для тех времён.

Историю знаменательного 65-го года я хочу закончить на оптимистической ноте. В этом же году, несмотря ни на что, мы рвёмся и, конечно, попадаем на первое представление «Зримой песни» театра-студии при Театральном институте (в Театре Юных Зрителей), спектакля, название которого придумал зам. главного редактора журнала «Театр» Александр Свободин. Инсценировка двух десятков песен Окуджавы, Кима, Городницкого, Дулова и др., а также известного романса «Калитка», исполненная с естественным студенческим энтузиазмом, была принята с восторгом.

4. МИР, СТОЯЩИЙ НА ТРЁХ КИТАХ

Присутствуя на десятках домашних и официальных концертов, я заметил, что многие воспринимали «гитарную поэзию» исключительно эмоционально, не осмысливая её, то есть гитара часто становилась важнее слова. Какая-нибудь песенка типа:

Сигаретой опиши колечко,
Спичкой на снегу поставишь точку.
В жизни что-то надо поберечь бы,
Да не бережём — уж это точно! —

и удивительные стихи-песни Булата принимались такими людьми с одинаковым восторгом. А «гитарных песен» к 65-му году было столько, что уже пора было осмыслить их роль в жизни нашего поколения. Мне хотелось бы здесь очень коротко передать мои первые ощущения от встречи с песнями Окуджавы, Галича и Высоцкого — трёх китов, на которых стоял мир русских бардов.

Через много лет на радио «Свобода», Галич сказал: «Для России 60-х годов поэзия под гитару была открытием, потому что оказалось, что песня может вместить огромное количество человеческой информации, а не только „расцветали яблони и груши…“ А вот какие замечательные строки написал Юрий Нагибин: „Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней…, нам открылось, что… уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми“».

Песни Булата вошли естественно в наши умы и души; всё, о чём он пел, было близко ему и нам в одинаковой степени, только он лучше других знал, как это выразить простыми словами и удивительной мелодией.

У Шекспира есть такие строчки (пишу по памяти):

Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может быть изменником, лгуном,
Грабителем. Его души движенья темны,
И, как Эреб, темна его приязнь.
Такому человеку не доверяй…

В полную противоположность этому шекспировскому образу Окуджава носил в себе музыку: музыку скрипки, музыку трубы, музыку слова, музыку жизни и потому, я думаю, он так легко и непринуждённо смёл советскую «массовую» песню со своего (и нашего) пути. Только глазами стихи не прочтёшь. Стихи создаются, чтобы быть услышанными. Даже читая молча, мы читаем их «вслух», в голове. Стихи Булата всегда поются. Его стихи — сама музыка.

— Весёлую полночь люби — да на утро надейся…
Когда ни грехов и не горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.
О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарёй из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды
свистят менуэты… И улица Росси поёт!

Однажды драматург Александр Володин сказал: «Некогда поэтов называли певцами… Окуджаву надо было так и назвать — певец. Но возник другой термин, который означал то же самое, но и ещё что-то вдобавок, важное каждому, личное для многих. Этот новый термин просто — „Булат“».

Я очень люблю Булата и не боюсь повторить сказанное уже много раз: несмотря на очень нелёгкую жизнь, гибель родителей от рук сталинских палачей, войну и ранение, травлю партийно-писательской бюрократии, он остался честен и бесконечно добр и ждал того же от других людей. Не случайно написал он: «Спасибо за доброту», на фотографии, подаренной Г. М. Рахлину, человеку доброму и щедрому.

Александр Галич — процветающий драматург, сценарист и поэт («Автор популярных песен о молодёжи», — сообщила о нём Краткая Литературная Энциклопедия) не умел прятаться за символами. Называя вещи своими именами, он ошеломил нас сарказмом, трагической остротой своих песен. Начал он, как бы шутя: «Леночка», «Красный треугольник», «Баллада о теории относительности»… «Тонечка» чётко ассоциировалась с известной в то время поговоркой: «Не имей сто друзей, а женись, как Аджубей» (зять Хрущёва). Шутки Галича стали быстро тянуть на семь лет плюс пять «по рогам», как говорили бывшие лагерники.

…И жену его, и сынка его,
И старуху — мать, чтоб молчала, блядь!
Чтобы знали все, что закаяно
Нашу родину сподниза копать!

Поэзия Галича — грозная, беспощадная, без оглядки, достигающая бешеного эмоционального накала, поражала меня своей точностью, единственностью, абсолютной необходимостью каждого слова.

В 2003 году во время интервью об истории Магнитиздата редактор Национального Радио (NPR) Роберт Рэнд спросил меня, как отразилась в Магнитиздате память о докладе Хрущёва «О культе личности Сталина», реакция на Венгерские события в 1956 году и на захват Чехословакии в 1968 году. Мой ответ был прост: «Галич, Галич и ещё раз Галич!» Достаточно вспомнить такую последовательность событий. 20–21 августа 1968 года 200 000 войск Варшавского пакта при поддержке 2000 танков оккупировали Чехословакию. Уже 23 августа Александр Галич написал посвящённый декабристам «Петербургский романс», неприкрытую песню-призыв:

И всё также — не проще —
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?!
Смеешь выйти на площадь?!
Смеешь выйти на площадь?!
Можешь выйти на площадь
В тот назначенный час —
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки:
От Синода к Сенату —
Как четыре строки?!

25 августа восемь человек ответили на этот призыв — вышли на Красную площадь и на Лобном месте развернули транспаранты: «Руки прочь от ЧССР», «Свободу вам и нам» и др. Среди этих восьми бесстрашных была замечательная поэтесса Наталия Горбаневская и Павел Литвинов — внук бывшего Министра иностранных дел СССР Максима Литвинова.

Как я уже писал, песни Высоцкого появились для меня вместе с театром на Таганке. Характерно, что его песни зазвучали именно на Таганской, официальной и одновременно удивительно неофициальной театральной сцене. Они не просто зазвучали, они как с неба свалились, не по одной — потихоньку, а, казалось, сразу десятками, под аккомпанемент то одной, а то и нескольких гитар, то весёлые, то печальные, иногда чуть-чуть с блатным привкусом, всегда ритмичные и мгновенно захватывающие фантастической энергией. Тридцать лет спустя, Марк Розовский поставит в Театре у Никитских Ворот «Песни нашего двора» и «Песни нашей коммуналки» — во многом по песням разных авторов тех лет, когда Высоцкий появился на сцене. Думаю, что немедленная необычайная популярность песен Высоцкого и определилась тем, что это были песни нашей улицы, нашего двора, нашей коммуналки.

5. ПОД ЗНАКОМ ФРУМКИНА

С середины 60-х годов и далее на десятилетия вперёд, судьба «гитарной поэзии», её распространение и пропаганда всё теснее связаны с именем Владимира Фрумкина. Благодаря своей музыкальной и литературной эрудиции, исполнительскому мастерству и исключительной коммуникабельности, он дружен или близко знаком с Окуджавой, Галичем, Высоцким, Кимом, Городницким, Новеллой Матвеевой… Выпускник Ленинградской Консерватории, специалист по музыке Шостаковича, в начале 60-х годов Фрумкин заразился нашей общей болезнью — песнями бардов. Музыковед и литературовед в одном лице, с 1964 по 1968 год он стал постоянным ведущим в клубе «Восток», но мне случилось в первый раз увидеть его на студенческом вечере в ЛЭТИ (Ленинградском Электротехническом Институте). Тема вечера — песни бардов против «массовой» (читай — сочинённой профессионалами) песни. Как представители профессионалов на сцене — композитор Александр Колкер и поэт Ким Рыжов, оба — выпускники ЛЭТИ и, честно говоря, гораздо ближе по духу к молодёжи, чем большинство профессионалов, и певица Пахоменко. Бардов, насколько я помню, представлял Кукин; показали также фильм Славы Чаплина «Срочно требуется песня» с Кимом, Высоцким и Окуджавой, поющим

Владимир Фрумкин



у себя дома «Песенку о ночной Москве». Наш бард неосторожно заметил, что был он в походе, приболел, целый день лежал в палатке и написал песню (он так и сказал: «Песню», а не стихи), а музыка никак не вязалась. «Был бы Колкер рядом, не было бы проблем», — мгновенно среагировал, смеясь, Ким Рыжов. В зале — буря. Студенты — горой за бардов. На сцене — два ведущих, музыковеды Бялик и Фрумкин. Бялик теряет самообладание и близок к истерике. Фрумкин берёт дело в свои руки: «разводит борцов по углам», раскладывает проблемы по полочкам, мгновенно успокаивает бушующую аудиторию, обещает ещё не такое — в ближайшем будущем, и мы расходимся, возбуждённые и счастливые, чтобы запомнить этот вечер и Володю Фрумкина на всю жизнь.

Уже в 1965 г. он задумал и семь лет безнадёжно пытался пробить в советскую печать первую книгу с нотными записями песен Булата. Цитирую Фрумкина: «Опубликовать стихи Окуджавы в том виде, как они исполнялись автором, то есть в естественном соединении с его напевами и гитарой, значило официально признать сомнительный жанр, появившийся каким-то возмутительным образом; нигде не запланированный, никем не утверждённый, вне всяких норм и правил, согласно которым сочиняются, отбираются и распространяются песни в Советском Союзе. До Окуджавы государственная монополия на песню казалась незыблемой. И вдруг открылось, что сочинить песню и сделать её известной может один человек — без Союза композиторов с его творческими секциями и отделом пропаганды, без помощи популярных певцов, хоров и оркестров, без издательств, без радио и телевидения,... без кино и фабрик грампластинок, без редакторов и цензоров...» И только в Америке осуществилась эта мечта — в издательстве Ардис в 80-м году вышла составленная Фрумкиным, богато иллюстрированная фотографиями (в том числе и из моей коллекции) книга «65 Песен Булата Окуджавы». В 86-м году увидела свет вторая,

составленная им, книга песен Булата. В мае 67-го года в Петушках Владимирской области состоялся семинар по проблемам самодеятельной песни. Владимир Фрумкин выступил там с первым, как говорят, основополагающим теоретическим исследованием поющейся поэзии «Музыка и слово», для чего в те годы требовалась, прямо скажем, значительная смелость. По этому поводу на 70-летии Фрумкина в 1999 году остроумнейший человек, поэт и бард Александр Городницкий заметил: «Володя, конечно же, основоположник, как один из первых, кто „положил“ на основы».

Именно на этом семинаре Фрумкин познакомился с Александром Галичем, который 22 мая дал совместный концерт с Юлием Кимом. Выступление Кима в Петушках — событие неожиданное. Зять только что арестованного Якира, Юлий Ким преподносит аудитории абсолютно новый цикл песен, остроумный и остро политический. Я называю это неожиданным событием, так как ничто в предыдущем творчестве Кима не предвещало такого мощного «политического» всплеска. Очень скоро этот цикл — в домашнем исполнении — распространился по России.

К сожалению, мне не удаётся попасть на знаменитый фестиваль бардов в Новосибирске в марте 1968 года. Нет ни отпуска, ни денег. 12 июня 1976 года на радио «Свобода» Галич сказал: «Была минута счастья в 68 году. Весной того года безумцы из Новосибирского Академгородка решили организовать у себя фестиваль песенной поэзии… В Новосибирске …встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: „Барды, Вас ждёт Сибирь“» (У микрофона Александр Галич. Эрмитаж,1990). После окончания фестиваля Галич получает приз — серебряную копию пера Пушкина и почётную грамоту Сибирского Отделения Академии Наук СССР: «Ваше творчество предвосхищает и подготавливает грядущее нашей Родины… Мы восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим мужеством». Подробности о фестивале мы узнали по рассказам очевидцев и по пышущей ненавистью статье «Песня — это оружие» некоего журналиста Николая Мейсака, перепечатанной разными газетами из «Вечернего Новосибирска». Власти этот фестиваль Галичу никогда не забыли и не простили. А со вступительным словом и представлением перед сольным концертом Галича выступил, конечно, не кто иной, как Владимир Фрумкин.

6. МАГНИТИЗДАТ И КГБ

Оглядываясь назад, я вижу, что как-то так удивительно случилось в советском государстве, что за распространение магнитиздата, насколько я знал, (слава Богу!) никого не сажали, хотя и ходили слухи, что можно было получить до трёх лет. Я думаю, что с точки зрения подрыва государственных основ самиздат был гораздо опасней. Большая часть самиздата была остро-политической (для КГБ — синоним антисоветской). Достаточно взглянуть на популярные произведения самиздата: «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, книги Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, работы Сахарова, Амальрика, Буковского, Турчина… На том же взрывоопасном уровне в магнитиздате — это, пожалуй, только песни Галича, включая две песни, написанные вместе со Шпаликовым, и цикл песен Кима, где всё называлось своими именами. К ним можно прибавить пару песен Окуджавы: «Чёрный кот» и «Мастер Гриша», где Булат говорит весьма прозрачными намёками:

…В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме —
сквозняки, сквозняки.
Да под ветром корёжится крыша…
Ну-ка, вынь из карманов свои кулаки,
Мастер Гриша.

Общий антивоенный настрой Булата, конечно, страшно раздражал все виды советских властей (для коммунистов путь к «светлому будущему» — всегда через войну), но всё же это не «антисоветчина». «Охоту на волков» и пару военных песен о лагерниках из Гулага написал Высоцкий:

…И другие заключённые
Пусть читают у ворот
Нашу память застеклённую —
Надпись «Все ушли на фронт».

Конечно, нельзя не вспомнить записанную на тысячах лент песню Юза Алешковского «Товарищ Сталин, Вы — большой учёный…»

Борис Алмазов пел о страданиях казачества, но это — о далёком прошлом.

Вот, пожалуй, и всё — с точки зрения «заботы» КГБ о сохранности государственных устоев. Другая сторона вопроса — скорость и масштабы распространения «сам» и «там»-издата, и магнитиздата. Из нашего опыта, когда мы доставали и перепечатывали что-то в 4–5 экземплярах на тонкой бумаге или фотоспособом, новую книгу читали родственники, друзья, знакомые… После нескольких десятков читателей книги сплошь и рядом становились нечитаемыми, и, при всех вариантах, в большинстве случаев возвращались к нам (издателям) без перепечатки. По сравнению с магнитиздатом, работа по распространению самиздата была страшно трудоёмкой и медленной, поэтому для КГБ было гораздо легче найти и изолировать «издателей» (я уж не говорю об авторах), и, как мы знаем, в некоторых случаях — читателей тоже. С другой стороны, магнитиздат нарастал, как снежный ком. После каждого выступления барда в домашнем концерте или даже на концертной сцене немедленно появлялись новые источники магнитиздата, после каждой переписки всё больше людей становилось «издателями». Конечно, КГБ всегда мог отыскать десяток людей, наиболее активных, но в массе, если «брать», надо было бы брать сотни тысяч, если не миллионы, обладателей записей песен бардов. К нашему счастью, кажется, ни у Хрущёва, ни у Брежнева не было аппетита к репрессиям сталинского масштаба… А скорость распространения магнитиздата мы проверили на собственном опыте. Мой друг Борис Рахлин в Ленинграде задумывает и осуществляет прелестную шутку — голосом Леонида Утёсова под собственный аккомпанемент на пианино он исполняет и записывает цикл блатных песен: «Гоп-стоп, Зоя…», «Всю Россию я объехал с Алёхой…», «Мальчики на девочек не бросайте глаз…» и др. Не более, чем через месяц заведующий кафедрой, где я подрабатывал вечерами, приглашает меня к себе домой с сюрпризом — послушать полученную откуда-то с Украины (!) плёнку «Утёсова». Забавный эксперимент показал, что, похоже, магнитиздат распространялся по России примерно со скоростью звука.

Так или иначе, я должен повториться, что за магнитиздат, насколько я знаю, никого не сажали. Последний раз я слышал эту фразу, сказанную не без сожаления, прямо из уст кагэбэшного человека примерно за год до моего отъезда, но об этом — позже.

7. ВСТРЕЧИ С ГАЛИЧЕМ. ГАЛИЧ И ФРУМКИН

В начале 70-х годов резко меняется картина политической жизни в России. Уже в ноябре 1969 года Солженицина исключают из Союза Писателей. В декабре 1971 года исключают Галича, сначала из Союза Писателей, а вскоре и из Союза Кинематографистов, и из Литфонда. 4 июня 1972 года изгнали из СССР Иосифа Бродского. До «отъезда» Бродского писатель Владимир Марамзин делает попытку собрать всё написанное к тому времени И. Бродским с комментариями к текстам и вариантами, издаёт книгу в 12-ти экземплярах и оказывается под судом. В 71-м году начинается борьба евреев за возможность эмиграции. «Дело самолётчиков». Растёт диссидентское движение. У всех на слуху имя академика Сахарова. Тамиздат и Самиздат идут непрерывным потоком, не отстаёт и Магнитиздат. К сотням песен известных авторов добавляются песни новых бардов, например, очень интересного и необычного Бориса Алмазова. В фонотеке активиста клуба «Восток» Михаила Крыжановского, думаю, самого крупного коллекционера в Питере, насчитываются песни 104-х авторов.

Летом 1973 года на даче Дома композиторов под Ленинградом у моей свояченицы Софы Финтушал (жены Бориса Шварцмана) собирается группа друзей. Люда Штерн (ныне писательница и журналистка, живущая в США) знакомит нас со своим двоюродным братом Александром Штромасом. Штромас — человек удивительной судьбы. Сын литовского посла в предвоенной Германии, убитого во время войны, он вместе с сестрой оказался в конце войны в гитлеровском концлагере. Оба бежали из концлагеря и чудом выжили. После освобождения сестра вышла замуж за бывшего солагерника и уехала с ним в Англию, где впоследствии английская королева пожаловала её мужу титул Лорда за заслуги в развитии английской промышленности. Алик оказался в Москве, стал юристом и основателем института криминалистики. К моменту нашей встречи, как и многие другие, он готовился эмигрировать, но, в отличие от других, к своей сестре в Лондон — по вызову, подписанному английской королевой.

Возвращаясь к нашей встрече — как обычно, включён магнитофон, слушаем песни Галича. Затем я прочитал стихотворение Галича, только что опубликованное в каком-то зарубежном журнале (кажется, «Время и мы»):

Мы ждём и ждём гостей незваных
И в ожиданьи ни гу-гу!
И всё сидим на чемоданах,
Как на последнем берегу…
И что нам малые утраты
На этом горьком рубеже,
Когда обрублены канаты,
И сходни убраны уже!

Алик поразился, что не слышал раньше этих стихов. Оказывается, он близкий друг Галича и, обладая феноменальной памятью, знает буквально всё, написанное Галичем, наизусть. После нескольких телефонных разговоров я пишу письмо Штромасу с анализом песенного творчества Галича. Штромас показывает это письмо Галичу. Вскоре сам Александр Аркадьевич приглашает меня в Москву с магнитофоном!

Встреча в квартире Александра Штромаса состоялась в конце лета 1973 года. Собралось около десятка друзей Галича, включая композитора Николая Каретникова (крёстного Галича). Сразу стали обсуждать все «за и против» приглашения Галича в Норвегию. Затем Александр Аркадьевич сказал, что он страшно зол на Солженицына. Европейский писательский союз Пен-клуб решил издать сборник «Десять заповедей» и каждую заповедь предложил написать одному из известных писателей. Предложили и Солженицыну. Он отказался, сославшись на занятость, а на вопрос, кого бы он мог рекомендовать из русских писателей, ответил: «Никого». Не говоря о нескольких хороших писателях, Галич был особенно обижен за Владимира Максимова, которого очень ценил. Помню, как друзья убеждали Галича, что два таких человека, как он и Солженицын, должны быть выше личных обид, личной неприязни. Невозможно не отвлечься здесь от моего рассказа и изложить, что я думаю об их отношениях. Галичу было на что обижаться: после его исключения из Союза Писателей в декабре 1971 года многие литераторы немедленно навестили и поддержали его, Солженицын, живший на одной с ним улице в Жуковке летом 72 года, отказался с ним увидеться. Много раньше, когда судили и выслали на север Иосифа Бродского, Солженицын, бывший тогда в фаворе у Хрущёва, отказался вмешаться. По словам Ефима Эткинда («Процесс Иосифа Бродского», Лондон. 1988 г.) он безапел-

ляционно заявил: «Ни одному русскому писателю преследования не повредили… Злее будет».

Теперь, 30 лет спустя, гораздо легче оценить силу Галича. «В одной из своих первых песен „Старательский вальсок“ — в 63 году! — приговор Галича: „Промолчи, попадёшь в палачи…“, — требует от людей большего, чем просто жить не по лжи. Он требует непримиримости ко лжи, готовности к жертве ради жизни по правде» (А. Штромас. В мире образов и идей Александра Галича. Новый журнал, 1988 г. #170). Его собственная жизнь — пример такой жертвы. Для Галича общее дело правозащитников, борьба за свободу, за права человека — каждого человека! — в России, конечно же, были важнее личных разногласий и обид. Поэтому он, среди других 80-ти писателей, подписал в 1967 году письмо протеста против преследований Солженицына в Президиум 4-го Всесоюзного Съезда советских писателей. Поэтому он, выступая на «Радио Свобода» в Мюнхене 11 февраля 1975 года, в годовщину изгнания Солженицына из России, сказал: «Пожалуй, первый среди тех…, кто возглавил этот процесс уничтожения страха, был Александр Исаевич Солженицын».

Солженицын же конца 60-х, начала 70-х годов был уже совсем не тем человеком, который создал «Ивана Денисовича». Роль крупного писателя была ему, очевидно, мала. Он видел себя пророком, «единственным человеком, кто знает, как надо».

…И не ветошь века, не обноски —
Он им даст начала всех начал!..
И стоял слепой на перекрёстке,
И призывно палочкой стучал.
. . . . . .
Много ли на свете этих истин,
Что способны потрясти сердца?!
И прошёл пророк по мёртвым листьям,
Не услышав голоса слепца.
. . . . . .
Над вселенской суетнёй мышиной
Засияли Истины лучи!..
А слепого, сбитого машиной,
Не сумели выходить врачи…

(А. Галич «Пророк», 1 февраля 1973 г.)

По словам Соломона Волкова (*Testimony. The memoirs of Dmitri Shostakowich*. Harper & Row, Publishers. New York. 1979, pp 186–187. Перевод с английского — мой) Дмитрий Шостакович высоко ценил Солженицына как писателя, в то же время отказывался воспринимать его как «патентованного спасителя и пророка». «Я встречал людей с больным воображением», — пишет он о Солженицыне, — «которые были убеждены, что призваны направить человечество на правильный путь,... ну уж по крайней мере своих соотечественников... Таким патентованным спасителям — не противоречь! Разнесут в пух и прах самыми последними словами... Ошеломляет презрение таких пророков и спасителей к тем самым людям, которых они планируют спасти... Есть у них и другая общая черта — фальшивая религиозность, о которой они кричат на каждом шагу...»

О том же пишет и Владимир Лакшин — выдающийся литературный критик, заместитель Твардовского в Новом Мире в 60-е годы, когда «Новый Мир» вывел Солженицына на орбиту мировой славы. В благодарность Солженицын в своей книге «Бодался телёнок дубом» облил Твардовского и редакцию журнала грязью. «Твардовский был слепым инструментом Провидения», написал Солженицын, уверовавший в свою божественную роль. «В своём смехотворном безрассудстве и яростном высокомерии Солженицын осознавал себя центром вселенной... Я не верю в Его Христианство... Никто с таким человеконенавистническим уклоном и самообожествлением не может быть христианином», — пишет Лакшин в книге «Солженицын, Твардовский и „Новый Мир“». Именно этот Солженицын как-то высказался в том духе, что, дескать, не бардам — представлять Россию. И уж, конечно, в его пророческом высокомерии — не Галичу и Бродскому, русским писателям еврейского происхождения, — представлять Россию. Судя по тому, что Солженицын писал о Бродском, могу предположить, что ему было легче принять присуждение Нобелевской премии подонку Шолохову, чем Иосифу Бродскому.

Пророку не нужно общение с людьми, поэтому он и укрылся на долгие годы в своём «замке» в Вермонте. Жизнь наказала пророка — в своём добровольном заточении он не создал ничего равного по силе его первым рассказам и романам, по словам Марии Розановой «его эксперименты с русским языком — чудовищны, они показывают его полную глухоту, как и его стихи и его публицистика». Задуманное им возвращение в Россию на «белом коне» — на поезде Транс-

сибирской магистрали с запланированными остановками и предполагаемыми митингами восторга и пророчеств обернулось фарсом. А с того момента, как антисемитизм стал едва ли не движущей силой его «творчества», Солженицын, с моей точки зрения, просто перестал быть писателем. Его очерк о Галиче во 2-м томе книги «Двести лет вместе» выглядит, как злобный антисемитский пасквиль с заведомо лживыми нападками на религиозность Галича. Солженицын не мог не знать написанную о Галиче статью Отца Александра (Александра Меня), думаю, самого известного московского священника, убитого 9 сентября 1990 года по пути в храм:

«Нет, вера его была не слепой, не способом убежать от жизни, она была мудрой и смелой… Это было прекрасное целомудрие души… Однажды, когда он (Галич) прочёл нам стихи о том, что надо бояться человека, который „знает, как надо“, Н. К. (Каретников) спросил его: „А Христос?“ Александр Аркадьевич ответил: „Но ведь он не просто человек…“ Этот поиск привёл его и к внутреннему пути и к внешнему изгнанию, поэтому слова Христовы о том, что „блаженны изгнанные правды ради“, справедливо написаны на его гробнице, на его могиле…» («Заклинание добра и зла». Прогресс, 1992)

Пора вернуться к знаменательной встрече с Галичем в доме Александра Штромаса летом 1973 года. Галич включил телевизор, начали показывать фильм по его сценарию «Верные друзья». «Смотрите,— сказал Галич,— теперь в России фильмы выходят без сценаристов», и точно, на экране — список всех участников, а сценаристов нет. «Саша,— сказал Алик Штромас,— хватит трепаться, тебя весь Ленинград ждёт». Мой магнитофон был наготове. Галич, оглядываясь на пустой стол (спиртное было спрятано): — Я что — сегодня в аптеке пою? — Потом, потом,— говорит Штромас, а то ведь на речитатив перейдёшь.

Я подвесил микрофон на проволоке перед Галичем. Алик –ко мне: — Следите за микрофоном. Он же артист — сейчас начнёт физиономией крутить во все стороны.

Галич смеётся.

В этот вечер Галич пел по крайней мере часа полтора. Под конец я спросил, есть ли у него какая-нибудь абсолютно новая песня.— Есть,— ответил он, и я посвящаю её всем Вам,

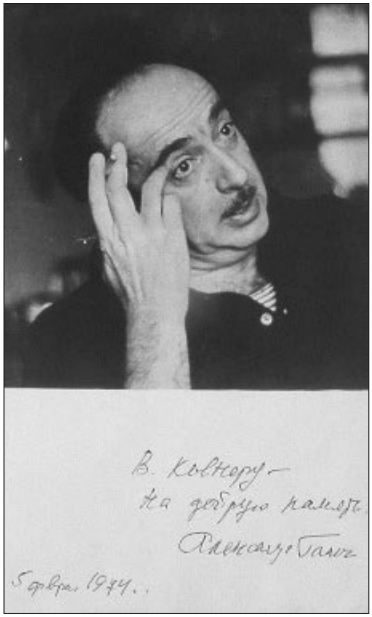
И спел одну из самых известных теперь песен:

…Когда я вернусь,
Я войду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо…

Прощаясь, Александр Аркадьевич пригласил меня к себе домой и рекомендовал встретиться со своим ленинградским другом Владимиром Фрумкиным и коллекционером Михаилом Крыжановским, что я и сделал немедленно по возвращении в Ленинград. Узнав о моём знакомстве с Галичем, Миша пообещал на следующий раз дать мне свой знаменитый «Грундиг» (немецкий магнитофон).

Случай не заставил себя долго ждать. Но сначала о встрече с Фрумкиным. Познакомившись, мы стали друзьями на всю жизнь. В первый же вечер он дал мне прочесть первое теоретическое исследование творчества Галича, написанное Львом Венцовым (Борисом Шрагиным), и до самого отъезда Володи из России в марте 1974 г. мы постоянно с ним встречались. К этому времени Алик Штромас уже был в Лондоне и, переговариваясь с ним по телефону, мы втроём составляли первую пластинку Галича, которую Штромас планировал выпустить за рубежом.

В конце 73-го года мой друг Миша Черниховский составляет сборник песен Галича, разбитый тематически на части и иллюстрированный сделанными Балцвиником фотографиями с картин Гликмана. Я еду к Галичу на одобрение сборника. Александр Аркадьевич лежит, сердце побаливает… Говорит очень тихо (уверен, что квартира прослушивается, прячет телефон под подушкой), проглатывая концы фраз: «Собираемся выйти на Красную площадь в защиту отказников, Сахаров с нами, может быть Володя Фрумкин… Присоединяйтесь…»



Александр Галич. 1974 г.

Книгу Александр Аркадьевич принимает целиком, иллюстрациями очень доволен.

Теперь мне хотелось бы рассказать пару историй о Фрумкине-исполнителе, ибо я не знаю никого, кто исполнял бы песни бардов лучше, чем он, за исключением самих бардов, конечно.

Первая история связана с известным скульптором и художником Гавриилом Гликманом, автором скульптуры на могиле Михоэлса. Нервный, всегда возбуждённый, ненавидящий Советы Гликман: «Бандиты, пауки… Перехожу дорогу. Милиционер. Чувствую — едва удерживается, чтоб не убить меня — старика сапогом в живот. Неужели Вы не видите?..» Его кисти принадлежат жуткие до сумасшествия, страшной болью исполненные портреты Шостаковича и Пастернака, Мандельштама в тюремной рубашке, Цветаевой с петлёй на шее, как будто специально созданные как иллюстрации к стихам Галича:

…Ну, какой-то там чайник в зоне
Всё о Федре кричал — делов!..

…Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле — делов!..

В 1971 году Гликман пишет новое полотно «Песни Галича», на картине — Володя с гитарой. Можно ли оценить мастерство Фрумкина лучше?!

В марте Володя Фрумкин с женой Лидой получили разрешение на отъезд. С этого момента мы практически не расстаёмся. Первый прощальный вечер — в Ленинграде, в доме драматурга Александра Володина. Володин подходит ко мне и предлагает организовать запись его песен. У него есть аккомпаниатор, хорошее оборудование и даже оператор из какого-то театра. Соблазн велик, но время для меня неудачное, и я вынужден отказаться. Затем мы едем с Фрумкиными в Москву, на этот раз прощальный вечер — в доме Ады Лазо (внучки Сергея Лазо). Опять масса гостей и Александр Галич. Я, конечно же, с магнитофоном — «Грундигом» Миши Крыжановского. Галич — красивый, элегантный, в прекрасном настроении, веселится, поёт весь цикл о Климе Петровиче. Девушки вокруг него — в абсолютном экстазе, обнимают, буквально прыгают к нему на колени. Короче — петь не дают! С трудом уговариваю его спеть пару песен из «Литературных мостков» и «Когда я вернусь…» В конце вечера он показывает только что доставленную с Запада его книжку «Поколение обречённых»

(видимо, это было первое издание, вышедшее в 1972 году, в работе над третьим изданием, вышедшим в 1975 году, он уже сам принимал участие) и даже предлагает мне её взять на один день. Затем Галич рассказывает, что, по слухам, копия его книги «Генеральная репетиция», переданная для публикации на Запад, исчезла, когда бастующие итальянские железнодорожники выбросили всю почту. Галич задумал начитать книгу на магнитофон (легче передать за границу), но одному — не справиться. Он предложил мне роль помощника, а запись начать через пару недель.

Но, видимо, слух оказался ложным, и книга была опубликована в том же 1974 году.

На следующий день я забегаю к Галичу — вернуть книгу. Дверь открывает его жена Нюша (Ангелина Николаевна), вся в слезах: «Володя, уговорите Александра Аркадьевича не уезжать». Видимо, так велико было её отчаяние, что, на всякий случай, она говорила даже со мной, хотя видела меня всего третий раз в жизни. Много лет спустя, я прочёл у Галины Аграновской о последних днях Галичей в Москве: «…Я прошла к Нюше. Она лежала бледная до синевы, настроена нервически, принималась плакать несколько раз. Сказала: „Мы едем умирать…“».

Через день после встречи с Галичем — ещё один прощальный вечер Фрумкиных с друзьями, на этот раз — с участием Окуджавы. Сам Фрумкин достаточно подробно описал этот вечер в статье «Между счастьем и бедой» (Вестник. № 19 (33), 17 сентября 2003 г.), но опустил, по скромности, одну деталь. Булата, естественно, просят спеть, но он неожиданно отказывается: «Вот здесь Володя [Фрумкин]. Пусть он и поёт». И только позже подхватил «Песенку о Моцарте» и спел только что написанную песню «Батальное полотно» (Сумерки. Природа. Флейты голос нервный. Позднее катанье…). В тот же вечер Булат написал на гитаре Фрумкина: «Родина, к сожалению, — везде».

К отъезду Фрумкина из России Миша Крыжановский и я подготовили 12 кассет песен бардов очень хорошего качества. Записи песен Окуджавы и Высоцкого Володя взял с собой, а Галича — решил переслать через американское посольство.

Бдительные советские таможенники размагнитили плёнки, взятые с собой, зато плёнки песен Галича исчезли где-то в недрах американского посольства. Как сказал бы Галич: «Вот такие, брат, дела. Кошка мышку родила…»

В конце мая я собираюсь в отпуск на юг и перед отъездом звоню Галичу. Он говорит: «У меня для вас что-то есть. Приезжайте. Если не застанете меня в Москве, я буду в Переделкино». И тут я допустил дикую ошибку. Я решил сначала съездить в отпуск, а на обратном пути заехать к Галичу. Подлетаем к Москве — наш самолёт не сажают добрых 40–45 минут. Это было 27 июня. Оказывается, в Москву прилетел Никсон, и пока вся дипломатическая кавалькада не рассосётся, нам не дают сесть. Наконец, я в городе. Из первой же телефонной будки звоню Галичу. Голос Александра Аркадьевича отвечает: Он уехал. Я совершенно опешил, но продолжаю: — Он в Переделкино? — Нет, он уехал. По-прежнему ничего не понимая, я вешаю трубку. Начинаю соображать: Голос Галича, но если это не он, наверно, это его брат Валерий Гинзбург, с которым я не знаком. Но где же сам Галич? Я звоню снова: — Простите, а где Ангелина Николаевна? — Они уехали вместе. Тогда я объясняю, кто я, рассказываю про майское приглашение. В ответ я слышу: — Александр Аркадьевич уже за границей. Он должен был уехать до 25-го…

Вот и всё. Ошеломлённый, я попрощался и даже не попросил разрешения приехать, поговорить. Больше я никогда не видел Галича. В 77-м году его не стало, а я выехал из России в 79-м. Александр Штромас многие годы преподавал политологию в разных университетах Англии и Америки. После его смерти большую часть огромного архива Штромаса его жена Виолетта хранила у меня. Сейчас этот архив отправлен в музей Штромаса в Каунасе, где ему поставлен памятник. Часть фотографий из его архива я скопировал. Теперь у меня перед глазами Галич на проводах Штромаса в Москве, с друзьями — в Париже, с женой Нюшей — в Норвегии…

Мне хочется рассказать ещё одну любопытную историю, связанную с именем Галича. Кажется, в 1971 году какой-то корреспондент, интервьюируя крупного ленинградского учёного члена-корреспондента Академии Наук, специалиста по теории колебаний Якова Гилелевича Пановко, спросил: «Если бы был запущен в космос межпланетный корабль, что бы Вы вложили туда, что точнее всего определило бы Россию». Без малейших колебаний Пановко ответил: «Кассеты с песнями Галича».

Я счастлив, что успел рассказать эту историю Александру Аркадьевичу Галичу до того, как он был вынужден покинуть Россию, а затем рассказать конец этой истории и самому Пановко, гостившему у нас в Детройте.

8. ПОРА ЕХАТЬ

75–76 годы. Всё больше моих друзей и знакомых покидают Россию. Уезжает с женой Радой Рабинович литературовед Владимир Аллой, который вскоре станет директором ИМКА-ПРЕСС (YMCA-PRESS) в Париже. Вечерами я начинаю преподавать английский язык. В свободное от работы время я всё чаще встречаюсь с историком Арсением Рогинским. Сеня Рогинский — человек уникальный, талантливый учёный — историк, прекрасный организатор, лёгкий в общении и отчаянно смелый, плюс, обладавший прекрасным для диссидента качеством — никогда не говорить ничего лишнего. Трудно было определить границы его деятельности: через его руки проходил поток книг с Запада. Иногда в его комнате стол и постель, и пол были буквально покрыты книгами, а в садике под окном его квартиры ждали разносчики, он был вовлечён в издание «Хроник текущих событий», как-то он взял у меня том Российских Уголовных Кодексов, сказав просто: «У Солженицына этих материалов нет». Среди его знакомых был Сергей Дедюлин, прекрасный знаток поэзии, знакомый и мне через моего друга Михаила Балцвиника, будущий сотрудник «Русской Мысли» в Париже.

В какой-то момент в 1977 году, Рогинский сообщил мне, что Владимир Аллой издаёт в Париже «Песни Русских Бардов» — монументальный труд, состоящий из сорока кассет песен, представлявших всё лучшее в российской гитарной поэзии, и четырёх томов текстов этих песен. Качество записей первого издания было посредственным, в текстах была масса ошибок. Владимир Аллой обратился ко мне за помощью. В его работе «Записки аутсайдера» (Минувшее. Исторический альманах. Том 22. С.-Петербург. 1997) этому посвящены восемь строк: «По счастью, во втором издании удалось эти просчёты устранить — благодаря доброму ленинградскому знакомому, страстному коллекционеру Володе Ковнеру, который… по выходе „Собрания песен русских бардов“ составил полный перечень ошибок в текстах и переправил мне лучшие варианты записей. Так что при новых изданиях мы уже не имели претензий со стороны заказчиков…» Всего восемь строк, но за этим стояли сотни часов работы и не без помощи уже неоднократно упомянутого мной коллекционера Михаила Крыжановского. А как все эти материалы переправлялись на Запад! Песни

Окуджавы вывезла бывшая ленинградка — жена французского дипломата; молодая француженка, путешествовавшая на машине с тремя детьми, вывезла три кассеты безопасных авторов: Матвеевой, Кукина, Городницкого — в детских вещах; старуха американка, привёзшая весточку от старого друга из Штатов, «на глазах у изумлённой публики» спокойно засунула под блузку и увезла с собой копию поправок к текстам «Песен русских бардов». Но львиную долю кассет и текстов переправила через посольство ФРГ немецкая аспирантка, конечно же, знакомая Сени Рогинского, работавшая несколько месяцев в Питере над Антологией Русской Поэзии. Я познакомил её с поэтом Виктором Соснорой, и своей помощью она десятикратно отблагодарила меня за это. В один прекрасный день её таки выдворили из Союза, но, видимо, за неимением прямых улик, вскоре пустили обратно. Однажды Сеня пришёл ко мне послушать Галича с уже знакомой мне аспиранткой из ФРГ и её русскоговорящей подругой, аспиранткой из Италии. Окна открыты. Из моей комнаты над Питером разносятся замечательные песни. По окончании вечеринки, как рассказал Сеня, его с подругами ждали стукачи на каждом углу моего Перекупного переулка и Невского проспекта, и проводили, по крайней мере, до метро.

За нами непрерывно следят, но Сеня Рогинский считает, что, к счастью, КГБ делает массу ошибок. Не знаю, сколько раз обыскивали квартиру Рогинского, но никак не могли застать его врасплох. Рогинский задумал и стал издавать исторический сборник «Память» и привлёк к этому делу, насколько я знаю, Сергея Дедюлина. Уже после моего отъезда из России Рогинского всё-таки посадили, а Дедюлин эмигрировал во Францию. Арсений Борисович Рогинский многие годы был председателем правления правозащитного общества «Мемориал» в Москве. Возвращаясь к времени рассказа, Серёже Дедюлину тогда повезло меньше — во время обыска у него забрали среди прочего пару пишущих машинок, материалы для «Хроники текущих событий», и несколько кассет моих записей песен бардов, готовых для переправки за границу. Кассеты, впрочем, снова вернули, а у меня вскоре состоялся третий в моей жизни разговор с человеком из КГБ. Разговор крутился вокруг моих «якобы» встреч с вернувшимся из заключения Юлием Даниэлем, которого я, на самом деле, к сожалению, никогда в жизни не видел. «Беседа» переходит к моим встречам с американцами и перепиской с заграницей. Я объясняю это необходимостью совершенствовать мой английский, так как готовлюсь

к отъезду. В ответ — ни малейшего удивления, даже, наоборот, проскользнуло чувство облегчения — одним меньше! И, наконец, «долгожданный» вопрос о распространении песен Галича. «Да, но за Галича никогда не сажали», — замечаю я. «Пока не сажали», — следует многообещающий ответ.

Вспоминается, как Галич на Радио Свобода 13 сентября 1975 года пересказывает чей-то рассказ: «На одесской барахолке молодой человек торгует магнитофонными плёнками. Его спрашивают: „А Галич у тебя есть?“ Молодой человек, скривив рот, негромко сказал: „Нужна мне ещё сто девяностая! (статья за антисоветскую агитацию). Мне сто пятьдесят четвёртой хватает“ (спекуляция)».

Следом за мной вызывают в Большой Дом Мишу Крыжановского — расспрашивают о наших постоянных встречах и распространении магнитиздата (в том числе — на Запад). Его невозможно поймать на противоречивых показаниях — ответы мы репетировали вместе. Зачем же мы всё-таки пересылали записи бардов на Запад? Ведь Галич уже был за рубежом, Высоцкий бывал во Франции и в Америке, Окуджава тоже начал выезжать за границу. Мне кажется, что в концертах Галича и Высоцкого за рубежом, по сравнению с их российскими выступлениями, уменьшился накал, у Галича — пропало возбуждение отчаяния.

Интересная история произошла в момент подготовки песенных материалов для ИМКА-ПРЕСС, история, которая задним числом выглядит довольно смешно. Я закончил правки текстов и писал статью о песнях русских бардов в «Русскую Мысль» в Париже. Комната завалена печатными материалами. Летний субботний вечер. В нашей коммуналке — никого, кроме меня и пьяного соседа. В двенадцать ночи — звонок в дверь. Говорят тихо: «Откройте. Милиция». Я, как могу, спокойно отвечаю: «Ночью не открою, приходите утром». Продолжают звонить. Я отрываю провода звонка, бросаюсь в комнату и до трёх часов ночи рву и спускаю в унитаз печатные материалы. В 6 утра опять звонок. Я отрываю дверь — там таки милиция: «В какой комнате живёт такой-то и такой-то?» Я указываю. Они бросаются туда и через минуту уволакивают пьяницу-соседа. Идиоты! Не могли с вечера сказать, за кем пришли! Сколько труда — коту под хвост, а точнее — в унитаз!

Ещё одну попытку переправить за рубеж полный набор идеального качества записей я проделал в 1978 году. Чикагский джазист Даниэл Мартин, живший несколько месяцев в Ленинграде со своей женой-

аспиранткой Ленинградского Университета, отдал посылку в американское консульство для пересылки в Хельсинки и далее в Нью-Йорк. Как и в случае с Фрумкиным в 74-м году, посылка исчезла. Через несколько лет, когда я уже жил в Штатах, знавшая эту историю директор Международного Литературного Центра Вероника Штейн рассказала мне, что в Нью-Йорке появился набор прекрасных записей русских бардов. Источник — кто-то из сотрудников американского посольства. Тоже красиво!

В начале 1977 года начальника моего отдела, моего многолетнего друга, Игоря Андреевича Гидаспова, вызывают в КГБ и в процессе трёхчасовой беседы показывают копии моей переписки с заграницей, фотографии моих встреч, фонограммы телефонных разговоров, и фактически дают ему понять, что меня надо вынудить (или убедить) отправиться восвояси. Вернувшись на работу, он рассказывает мне все подробности и рекомендует немедленно подавать заявление на отъезд. В тот же день представитель КГБ лично посещает нашу контору. На следующий день начальник конструкторского бюро передаёт в наш отдел фантастический по характеру негласный приказ: работы мне не давать (с сохранением зарплаты), и в тот же знаменательный день — неожиданный звонок от моего персонального наблюдателя из КГБ. Задаётся один вопрос: «Когда ты едешь?» (Как смеялся один из моих друзей, корреспондент «Советского Спорта», используя футбольную терминологию: «Взяли тебя по всему полю…») Объясняю, что мне надо заработать на алименты на двух сыновей. Прямо скажем, не всех радовала моя деятельность в конструкторском бюро. Одна из моих сотрудниц, между прочим, еврейка громогласно заявила: «Скорее бы вы уже уехали. Только воздух здесь портите. Ещё приползёте назад на коленях». (Прямо, как в песне, музыка — её, слова — народные!). Прихотливы движения судьбы — её родимый сынок уже несколько лет живёт в Торонто, Канада. И всё же, это был редкий голос. В мой последний рабочий день меня ждала неожиданная награда. Ко мне подошёл ведущий конструктор, доцент Политехнического Института, человек лет на пятнадцать старше меня, Михаил Иванович Трунин (из семьи раскулаченных), один из постоянных читателей приносимого мной самиздата, и сказал: «Владимир Яковлевич, ты мой крестный отец. Значит, можно жить и не бояться. Спасибо тебе. Вы все (читай — решившиеся на отъезд) — герои!»

Уволившись из конструкторского бюро, я буквально с утра до ночи даю уроки английского языка, а чтобы милиция меня не прихватила за тунеядство (популярный советский термин в то время против отказников), регистрируюсь секретарём одного из моих учеников английского языка профессора Ленинградского университета Бориса Гельчинского. Впрочем, очень скоро он уезжает в Израиль, и я с гордостью рассказываю друзьям, что я единственный в России секретарь профессора, живущего в Израиле. У меня репутация хорошего преподавателя и постоянно около сотни учеников. КГБ, естественно, знает и об этой стороне моей жизни. Время от времени в моих группах появляются кагэбэшники, а один из них, как я узнал за день до отъезда из России, оказался крупным начальником из ОВИР'а (лично проверял!). Но этих людей я, как правило, узнаю немедленно, определяю в нейтральные группы и категорически запрещаю вести на занятиях какие-либо разговоры о политике вообще и об эмиграции в частности.

Наконец, летом 1979 года я подаю заявление в ОВИР и в назначенный день сижу в очереди на приём. Открывается дверь, и кто-то объявляет: «Владимир Ковнер, проходите в кабинет. Всем остальным — прийти завтра в то же время». Вот такая мне выпала честь! И уже внутри: «Быстренько пишите свою легенду!» Вопрос со мной был давно решён. В ноябре 1979 года я приземлился в Нью-Йорке.

На этом эпоха магнитиздата для меня закончилась.

Рассказ о моей жизни в России я должен закончить трагической историей. Перед самым отъездом из России я прощался с моим другом Михаилом Балцвиником. По словам поэта Александра Кушнера, Мишу «отличало какое-то очень трогательное сочетание печали и весёлости». В тот день он был очень печален. Я уговаривал его эмигрировать (единственный случай в моей жизни!), начать жизнь сначала. Миша был страшно удручён тем, что не мог работать журналистом, не сложилась и его личная жизнь. Все свои, по крайней мере, известные мне жизненные усилия он направил на собирание фототеки лучших русских писателей. Собственно, увлечение это началось давно, когда он фотографировал на всех наших сборищах Окуджаву, Бродского, Соснору, Кушнера, Ахмадулину, Самойлова… Познакомившись с семьями Бориса Пастернака, Эренбурга, Наппельбаума и др., Миша собрал — переснял сотни фотографий, относящихся к жизни Бори-

са Леонидовича, а затем собрал множество фотографий Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Блока, Булгакова, Эренбурга и многих других. Фотографии из его собрания были представлены на многих литературных выставках и в различных изданиях. Тем не менее, эти занятия не поглощали его целиком, не могли компенсировать то чувство безысходности, которое и определяло, очевидно, его душевное состояние. Вот одно из его стихотворений, написанное в последний год жизни, «Молитва о смерти»:

Есть минуты такого отчаяния,
И такого безумия дни,
Что становится болью дыхание,—
О, проклятое существование,
Разорвись, уничтожься, усни!

Есть недели такой безнадёжности
И такой напряжённости страх,
Что и память о страсти и нежности —
Генерация мук безутешности
И проклятьем скрипит на зубах.

Есть часы беспредельного ужаса
И такого кошмара порог,
За которым бессмысленны мужество,
Доброты и надежды содружество,—
И уходит земля из под ног.

Есть такая тоска безысходности
И последняя горечь и дрожь,
От которых — мечта о бесплотности
И уверенность в непригодности,—
Моё сердце, Господь, уничтожь!

Пусть беспомощен в жизни и в горе я,
Но, о Боже, прости и даруй
Растворение фантасмагории:
Вознесение в дым крематория
И покой флегетоновых струй.

И ещё несколько строк из его другого стихотворения:

Земля, остановись! Не наступай
Холодное погибельное утро!
Пей чай или коньяк, стихи кропай,
Остановив будильник, засыпай,
И если навсегда, то это мудро.

Как написал друг Балцвиника Сергей Дедюлин: «В ночь с 13 на 14 апреля 1980, находясь один в своей квартире, М.А. (Михаил Абрамович) выбрал для себя путь, показавшийся ему единственно возможным выходом».

В самом начале 1980 года издательство Ардис в Анн Арборе опубликовало книгу «Цветаева. Фотобиография. С материалов собранных М.Б. (Михаил Балцвиник) и И.К. (Ирма Кудрова)». Редактор Ардиса Эллендеа Проффер привезла эту книгу в Петербург специально для Балцвиника, но уже не застала его в живых. По словам Эллендеи, книга опоздала на две недели. Двадцать лет спустя 17 мая 2000 года в музее Анны Ахматовой состоялся вечер памяти Михаила Балцвиника. Фотоархив Балцвиника, хранящийся в этом музее, состоит из 2.5 тысяч фотографий поэтов XX века. В 2006 году в Санкт-Петербурге вышла книга воспоминаний о Михаиле Балцвинике, подготовленная Б. Я. Фрезинским. Все мы, его друзья, внесли свою лепту в эту книгу.

К 80-му году не только гитарная поэзия, но вся русская культура понесла тяжёлую утрату со смертью Галича и Высоцкого, но их песни продолжали жить в десятках, а может, и сотнях тысяч магнитофонных лент. Пройдёт ещё 8–10 лет, и фирма «Мелодия» по инициативе и с помощью Михаила Крыжановского начнёт издавать в пластинках полные собрания песен наших любимых авторов. Сотни и сотни книг с работами Окуджавы, Галича, Высоцкого, Кима, Городницкого, Кукина и многих других, а также бесчисленные издания с работами о них будут публиковаться в России и за рубежом. После смерти Галича Булат сказал: «Стихи Галича оказались счастливее его самого: они легально вернулись на родину. Да будет благословенна память об удивительном поэте, изгнаннике и страдальце». В Москве, на Ваганьковском кладбище и на Петровке воздвигнут памятники Владимиру Высоцкому, а на Арбате — памятник Булату Окуджаве, как иллюстрацию к его замечательной песне:

…От любови твоей вовсе не излечишься,
Сотни тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моё отечество,
Никогда до конца не пройти тебя.

9. ФРУМКИН, К СЧАСТЬЮ — ВЕЗДЕ!

Год 1980, мне повезло: я работаю в Детройте, Мичиган, всего в трёх часах езды от Оберлина, Огайо, где в колледже преподаёт русский язык Владимир Фрумкин, а его жена Лида становится в том же колледже профессором по классу фортепьяно. Фрумкин и здесь остаётся пропагандистом гитарной поэзии, на её базе он строит замечательно успешный метод преподавания русского языка, создав небольшой театр, где все актёры — студенты Оберлинского колледжа поют, а многие и играют на гитарах.

Он ставит спектакли на песни Окуджавы, Райкинские миниатюры, иллюстрированные песнями бардов, «Самоубийцу» Эрдмана и т.д. Скорость и качество усвоения русского языка через музыкальный театр — ошеломляющи. Обучению студентов несомненно помогало замечательное исполнение песен бардов самим Фрумкиным. И в этом качестве, начиная с середины 60-х годов и до сегодняшнего дня, его знали и ценили не только сами барды (ему приходилось петь песни Галича в присутствии Галича, песни Окуджавы — в присутствии Окуджавы, песни Городницкого — в присутствии Городницкого), но и тысячи любителей песен бардов. В подтверждение моих слов я сам организовал три его концерта в Детройте в начале 80-х годов, на каждом из которых было более трёхсот человек. На первый такой концерт я пригласил Фрумкина с его лучшими студентами, зал набит битком, из Анн Арбора приехали Василий Аксёнов с женой и Карл и Эллендеа Проффер (основатели знаменитого издательства Ардис). Три студентки, поющие с лёгким акцентом, и сам Володя в течение двух часов пели песни Окуджавы, Высоцкого, Кима, Новеллы Матвеевой. Зал провожал их овацией. Аналогичную сцену концерта Фрумкина со студентами в Русской Школе в Норвиче, в штате Вермонт, описал Василий Аксёнов в книге «В поисках грустного беби». Через год в том же детройтском зале и с таким же успехом Фрумкин даёт концерт песен Галича.

Много лет спустя, друг и коллега Фрумкина по «Голосу Америки» замечательный журналист Борис Гольдберг «с помощью Окуджавы» подарил Володе четверостишие:

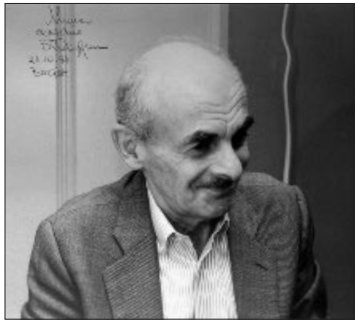
Фрумкин на старой гитаре играет,
Фрумкин играет — гитара поёт,
Аудиторию — не выбирает,
Аудиторию — создаёт.

Сказано исключительно точно: те, кто слышал Володино пение один раз, приходили на его концерты снова и снова.

За многие годы он дал сотни концертов в разных городах Америки и Канады сначала один, а затем к нему присоединилась младшая дочь Майя. В связи с этим мне вспоминается один забытый Володей эпизод. В известной лекции-концерте «Прогулка с бардами» 10 января 1998 года он говорит, что только один раз видел слёзы на глазах Окуджавы, когда в Норвичском Университете штата Вермонт ему вручали почётное звание Доктора, и зал запел: «Возьмёмся за руки, друзья…» Володя ошибся. В Оберлине, в доме Фрумкиных, в мае 87-го года он и его 9-летняя дочь дают небольшой концерт. Сначала они поют русские романсы, а затем «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…», «Виноградную косточку в тёплую землю зарою…» и другие песни Окуджавы. Зрителей всего трое: Володина жена Лида, Булат и я. Исполнители — в ударе. Это было не просто трогательно. Мы были свидетелями настоящего высокого искусства. У Булата на глазах — слёзы.

10. КОНЕЦ ЗОЛОТОГО ВЕКА МАГНИТИЗДАТА

Прошло более пятидесяти лет с момента моих первых магнитофонных записей. Больше нет с нами Галича, Высоцкого, Окуджавы, Визбора, Клячкина, Шпаликова; ушли из жизни энтузиасты гитарной поэзии журналист Михаил Балцвиник и замечательный историк и издатель Владимир Аллой; умер добрейший человек, «книжник», многие годы лидер поэтической молодёжи Геннадий Моисеевич Рахлин; заснул в автобусе и не проснулся крупнейший



Булат Окуджава. Концерт в Бостоне 30 сентября 1994 г.
Фото Михаила Ковнера

коллекционер Михаил Черниховский — доехал до конечной остановки; осталась без хозяина подписанная всеми известными бардами знаменитая гитара трагически погибшего Михаила Крыжановского. Но, как говорится, жизнь продолжается. Настали другие времена. В американских концертных залах мы слушаем Юлия Кима, Александра Городницкого, Юрия Кукина, Вадима Егорова, прекрасных исполнителей гитарной песни Сергея и Татьяну Никитиных, представителя нового поколения бардов Макаревича. Да и сам Булат до самого конца жизни давал массу концертов в разных концертных залах Америки, всегда с постоянным успехом.

На одном из последних концертов Окуджавы в Бостоне мой сын Михаил Ковнер сделал очень хороший фотопортрет, который (с дарственной надписью от Булата) сейчас висит на стене его домашнего кабинета. Надо сказать, что мой сын заразился когда-то от меня замечательной и легко диагностируемой болезнью «гитарной поэзии». Долгое время он организовывал в Бостоне концерты разных авторов. Он собрал гигантский — по любым масштабам — архив магнитофонных записей, пластинок, компактных дисков, видео, фотографий, книг и журналов, изданных в разных странах мира, автографов..., короче всего, что связано с жизнью и искусством бардов. Такая коллекция стала бы гордостью любого музея, посвящённого русской культуре второй половины XX века. Я чрезвычайно благодарен моему сыну за помощь при работе над этой публикацией.

Вместе с XX веком закончился и «Золотой век Магнитиздата», но это уже не имеет никакого значения для авторской песни. Нашим замечательным российским бардам уже ничего и никому не надо доказывать — гитарная поэзия не только вошла в историю, гитарная поэзия сделала историю, вытеснив официальную, так называемую массовую песню. Тем более мне было странно прочесть в израильском журнале «Алеф» интервью с поэтом-певцом Владимиром Капгером. Признаюсь, не знаю, кто он такой и каков уровень его песен, но оттого, что он говорит, последние волосы встают дыбом на моей

далеко не юной голове: «…Гитарная песня давно нуждается в хорошей аранжировке, но она почти никому не удаётся…» Может быть, он пишет хорошие песни и мечтает услышать их аранжированными, как «Бухенвальский набат», для хора и оркестра, и исполненные в Колонном Зале Дома Союзов, если таковой ещё существует. То, что он говорит, не имеет никакого отношения к гитарной песне. Аранжировать (оркестровать) **ГИТАРНУЮ** поэзию равносильно её убийству.

Но гитарная поэзия жива. Её создатели и лучшие авторы стали, несомненно, классиками русской культуры.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Ковнер *родился в 1937 году в Ленинграде. С 1979 года живёт в США. Инженер-механик, журналист, англо-русский переводчик и редактор. Член Ассоциации американских переводчиков. Публикуется в журналах и антологиях в США, России и Германии.*

В 1977 г. принимал участие в четырёхтомном издании «Песни русских бардов» (YMCA-Press, Paris). Начиная с 2005 года, имеет множество публикаций, часто вместе с Лидией Разран-Стоун, в журнале Славянского отделения ААП «SlavFile» и в московском журнале переводчиков «Мосты—Bridges». Участник Антологии поэзии Новой Англии «Заполнение пустоты» (M•Graphics, Бостон, 2006) и «Жизни жгучие печали» (M•Graphics, Бостон, 2009). Участник альманаха «Голос надежды. Новое о Булате. Выпуск 10» (Москва, Булат, 2013 г.).

Книжные публикации: две книги переводов поэзии с английского языка «Приласкайте Льва» (M•Graphics, Бостон, 2010)—детская поэзия и двуязычное издание «Эдвард Лир. Полное собрание абсурдных стишков-лимериков с рисунками» (M•Graphics, Бостон, 2015).

Две книги переводов с русского языка: двуязычное издание «Okudzhava Bilingual» (Montpelier, Vermont, Чтения—Readings, issue 31, 2015)—вместе с Лидией Разран-Стоун и «MagicDreams. Confessions of Drug Addicts» by Sergey Baimukhametov—вместе с Даниилом Векслером (M•Graphics, Бостон, 2016). Последняя публикация—«Sports Idioms. English-Russian & Russian-English Dictionaries» by Vladimir Kovner and Lydia Razran Stone (M•Graphics, Бостон, 2018).

Вита ШТИВЕЛЬМАН

ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО

Это мастерство

(Элизабет Бишоп)

Я овладела мастерством потери.
Что делать: так устроен этот свет.
Пропажа — не беда, ни в коей мере.

Теряем время и ключи от двери.
Терять легко — вот в этом весь секрет.
Я овладела мастерством потери.

Практиковаться: больше, и быстрее,
и дальше отпускать любой предмет.
Я потеряла город, континент.

Теряются слова в своей манере.
Исчез и мамин золотой браслет.
Я овладела мастерством потери.

Теряла даже воздух в атмосфере.
А где мой дом? Его простыл и след.
Мне жаль — но не беда, ни в коей мере.

Уходит в жизни многое, теперь и
тебя — ни голоса ни шуток — нет.
Я овладела мастерством потери.
Я это написала, чтоб поверить.

Просто выбери звезду

(Роберт Фрост)

Звезда, ты светишь — далека,
чиста, прекрасна, высока,
умеешь разгонять туман.
Могу сказать наверняка:
в ночи сияешь — только как?
Ты задаёшь загадки нам.
Звезда, ты слышишь: говорю!
Ну и тебе молчать не дам.
Скажи, а я ведь повторю,
и повторять я буду рад.
И говорит звезда: «Горю».
А сколько градусов жара
по Фаренгейтовой шкале?
И из чего же состоит твоё ядро?
Звезда горит.
Беседа оставляет след.
И что-то всё же говорит:
звезда, не выходя из сфер,
отшельник, как сказал бы Китс.
Она, взирая сверху вниз,
даёт нам высоты пример.
И если выпадет тебе
услышать брань и клевету,—
ты просто выбери звезду.
И сможешь устоять в толпе.

Никто из них…

(Роджер Уоддис)

Никто из них не замечен был
в каких-то грязных делах,
хоть им и выпало от судьбы
сидеть на тёплых местах.

И денег властям не давал никто,
и не было там растрат.
Вы, может, иначе слыхали о том,
но мало ли что говорят.

Никто из них не считал в уме,
с кого бы и сколько взять.
Никто из них не сидел в тюрьме —
и не за что было сажать.

И были безоблачны их пути:
ни взяток, ни тёмных дел.
И компромата на них найти
ни разу никто не сумел.

Не нарушали законов, нет —
чисты как слеза в глазу.
Но каждый, забравшись в свой кабинет,
плевал на тех, кто внизу.

Темагами

(Арчибальд Лэмпмен)

На северо-западе, где не шумят города,
вдали от всего, что построено было людьми,
под пасмурным небом синеет большая вода —
глубокое чистое озеро Темагами.

Его берега покрывают густые леса,
огромные лоси глядят через зелень ветвей.
Бесчисленны здесь острова, и звучат голоса
диковинных птиц или сказочных странных зверей.
А если лиловою тучей приходит гроза,
индейские старые сказки беснуются в ней.

На нашем каноэ на вёслах, часами подряд,
с утра и до вечера плыли и видели мы,
как медленно падает и умирает закат
в молчании озера, озера Темагами.

Момент

(Маргарет Этвуд)

Момент, когда после многих лет
тяжкого труда и долгого пути
ты стоишь посреди комнаты,
дома, квадратной мили, острова или страны,
зная: вот оно наконец,
говоришь: это моё,

это тот же момент, когда деревья
раскрывают руки вокруг тебя,
птицы поют на своём языке,
скалы покрываются трещинами и падают,
воздух уходит от тебя волной
и ты не можешь дышать.

Нет, шепчут они. Ничем ты не владеешь.
Ты здесь в гостях. Время от времени
карабкаешься на холм, ставишь там флаг,
провозглашаешь что-то.
Мы никогда не принадлежим тебе.
Ты не можешь обрести нас.
Вовсе нет, как раз наоборот.

Во Фландрии, в полях

(Джон Маккрей)

Во Фландрии, в полях цветут,
пылают маки там и тут
среди крестов, и это мы,
и тишина среди войны,
и птицы в облаках поют,

а мы мертвы. Ещё вчера
мы жили, верили ветрам,
любили, а теперь лежим
Во Фландрии, в полях.

Теперь пришла твоя пора
принять упавшее ружьё
из наших рук. Ты будешь жить.
Ты знамя подними своё.
Пылают маки. Верен будь.
А нам вовеки не уснуть
Во Фландрии, в полях.

Скептик

(Роберт Сервис)

Когда мне было только семь,
мой Санта Клаус умер.
А веру в Бога — насовсем —
я потерял в раздумьях,
когда мне было двадцать два.
Что хуже, я не знаю:
утрата чуда Рождества
или потеря рая.

ОБ АВТОРЕ

Вита Штивельман *— поэтесса, переводчик, эссеист, профессионал в области хай-тек, руководитель клуба «Et Cetera» и одноимённой творческой группы. С юности пишет стихи и рассказы, делает поэтические спектакли по творчеству любимых поэтов. Выросла в Казани, с 1990 по 1999 жила в Израиле. С 1999 года — в Канаде (Торонто).*

Автор книги «Сказки для взрослых». В издательстве Litsvet вышла детская книга стихов «Калябушки-Балябушки».

В активе клуба «Et Cetera» («союза физиков и лириков») ежемесячные тематические встречи. В активе творческой группы — поэтические спектакли «Николай Гумилёв», «Франсуа Вийон», «Эмили Дикинсон», а также международный фестиваль еврейской культуры «От азой!». За организацию этого фестиваля Вита Штивельман получила почётную грамоту муниципалитета Торонто.

Жорж ВЕЛЛЕР

ОТ ДРАНСИ ДО АУШВИЦА

Главы из книги

Предисловие редактора книги

Автор книги «От Дранси до Аушвица» Жорж Веллер, французский еврей русского происхождения, родился в России в 1905 году. В 1925 году, после окончания Московского Университета по специальности биология, он вынужден был эмигрировать, по семейным обстоятельствам, в Латвию. В 1929 году переехал во Францию, где смог найти работу по специальности. Он работал в Сорбонне в Париже, где занимал должность директора исследовательской лаборатории на медицинском факультете. Удостоенный звания лауреата Академии Наук Франции и Национальной Медицинской Академии, Жорж Веллер являлся автором более 150 научных статей. Он был членом многих научных обществ. Жорж Веллер — кавалер высшей награды Франции — Ордена Почётного Легиона, а также ряда других орденов. К моменту оккупации Франции немцами в 1940 году он уже был учёным с мировым именем.

Жорж Веллер зарегистрировался во французской полиции как еврей, полагая, что ему нечего скрывать или бояться, и был арестован 12 декабря 1941 года немецкими жандармами. Он провёл три с лишним года в немецких концентрационных лагерях — Дранси под Парижем (два с половиной года), Аушвице (около шести месяцев) и в Бухенвальде (около трёх месяцев), откуда он был освобождён американцами в апреле 1945 года.

Чудом оставшийся в живых, он написал книгу о пережитом, которая вышла на французском языке первым изданием в 1946 году. Второе, дополненное издание вышло в 1973 году.

Первая часть книги содержит методическое описание, с научной точностью и достоверностью, существования французских евреев в лагере Дранси.

Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о тех людях, с которыми Жорж познакомился в лагерях. Эта часть представляет собой очень эмоциональное описание товарищей Жоржа по заключению, среди которых были знаменитые и простые люди всех возрастов и разного социального положения.

…Жорж Веллер вернулся в апреле 1945 года из Бухенвальда в Париж, к своим чудом уцелевшим жене и двум сыновьям. Несколько недель он пролежал на кровати лицом к стене. Он забыл, например, как пользоваться вилкой и ножом. Он не хотел общаться с людьми. Но потом он встал и написал эту книгу. Позже он написал ещё несколько книг о Холокосте. Веллер подсчитал фактическое число жертв Холокоста, основываясь на данных СС и на своих собственных расчётах. Он разбил аргументы неонацистов с помощью неопровержимых цифр. Такого рода работа никем до него не была сделана.

Он успешно продолжил свою научную работу в Сорбонне, был участником многих международных Конгрессов по биологии. В частности, на биологическом Конгрессе в Москве в 1961 году он прочёл свой доклад по-русски.

Жорж восстановил связи с той частью своей семьи, которая осталась в 1925 году в Москве, и в один из своих приездов он привёз нам свою книгу «От Дранси до Аушвица», которую мы, следующее поколение семьи Веллер, вывезли в Америку и перевели на русский.

Жорж Веллер был единственным представителем Франции на процессе Эйхмана в Иерусалиме, где он давал показания в течение трёх с половиной часов.

Жорж прожил плодотворные 46 лет после войны и лагерей, вырастил двоих сыновей, врача и юриста, и успел насладиться обществом своих пяти внуков. Он умер в Париже в 1991 году в возрасте 86 лет.

На русском языке его книга издана в США впервые. Мы, группа энтузиастов — переводчик, редактор, корректор, добровольные помощники — считаем, что честная и документальная книга о Холо-

косте по-прежнему нужна людям всех поколений, в особенности молодёжи, чтобы ещё раз напомнить о злодеяниях не такого уж далёкого прошлого. Наша цель — просвещение равнодушных, предотвращение ещё одного Холокоста и нового витка антисемитизма в душах людей и в политике власть имущих в мире.

Мы хотим выразить особую благодарность переводчику книги с французского языка Виталию Колмановскому, чей бескорыстный труд сделал возможным появление этой книги на свет на русском языке в том виде, в каком вы её прочтёте.

Евгения Веллер

РЕНЕ БЛЮМ

Среди многих товарищей, которых я узнал за три с половиной года в заключении, было множество людей замечательных, с точки зрения их характера, ума и знаний. Но память с особым чувством возвращается к благородному облику Рене Блюма. Я неоднократно мог убедиться, как гармонично уравновешивались в нём гражданское мужество с острой чувствительностью, глубокий ум с настоящей искренностью, очаровательная простота с тонкостью хорошо воспитанного человека. Если от моего долгого заключения я сохранил какие-то воспоминания, которые согревают и ободряют меня, то одно из них связано с мыслью об этом человеке.

Он был арестован 12 декабря 1941 года. Ночью фельджандарм, сопровождаемый понятым, явились к каждому из нас домой, и всех нас увели. Фельджандарм действовал согласно отпечатанному на пишущей машинке приказу, куда было вписано имя жертвы. Понятой служил переводчиком и уточнял, что нам даётся 15 минут, чтобы одеться, что он рекомендует взять с собой немного еды, немного белья, одеяло, документы и продуктовые карточки. Потом, под охраной фельджандарма и в сопровождении понятого, каждый из нас был доставлен в мэрию, а оттуда группы по 30–40 человек перевозились на автобусах в Эколь Милитэр (Военное Училище). Входя в училище, арестованные двигались между двумя рядами немцев, хохочущих, орущих, радостно возбуждённых. После недолгого пребывания в вестибюле нас всех направили в один из школьных манежей.

Всё утро большая дверь манежа время от времени открывалась, впуская заключённых небольшими группами по 30–40 человек. Это были евреи из всех парижских кварталов, и только граждане Франции. К полудню прибытие людей закончилось. Нас было примерно семьсот человек.

Сразу после полудня прибыла последняя группа из 50 человек, среди которых было несколько иностранцев. Все они были задержаны на улицах квартала Этуаль, где к полудню немцы устроили облаву. Все те, кто предъявил удостоверение личности со штампом «ЕВРЕЙ», были арестованы, чтобы укомплектовать намеченную тысячу. Немцы больше не обращали внимания на гражданство. Но в этот день иностранцы были всего лишь неудачниками, арестованными вместо трехсот французов, которых фельджандармерия не смогла застать дома.

Мы, 750 человек, не заполняли весь манеж. Сидя вдоль стен на узлах и чемоданах, мы оставляли широкое свободное пространство. Люди, прогуливающиеся, чтобы убить время, посередине манежа, поднимали тучи пыли. У двери старик, растянувшийся на песке и положивший голову на скатанное одеяло, хрипел и задыхался. В глубине у стены, по молчаливому согласию, было оставлено место для отправления естественных надобностей. Повыше вдоль всей стены шёл балкон, с середины которого на нас был направлен пулемёт. К двум часам дня дюжина так называемых «серых мышей» (проституток) нанесла жизнерадостный визит пулемётной команде. Более часа здоровые и весёлые немецкие девицы разглядывали нас с высоты балкона, указывая на нас пальцами и обмениваясь забавными впечатлениями со своими крепкими и обходительными кавалерами.

В 4 часа дня дверь резко открылась, впустив группу из 4–5 немцев в мундирах. Во главе был здоровенный, белобрысый, удивительно бледный парень, он странно подпрыгивал, и лицо его время от времени конвульсивно дёргалось. Бросая свирепые взгляды во всех направлениях, он резко остановился при виде одного из арестованных, на котором был мундир французского военврача. Его арестовали в этом мундире в госпитале Валь-де-Грас, куда он был мобилизован. Взбешённый немец сделал французскому офицеру знак пальцем, чтобы тот подошёл к нему. Несколько любопытных тоже двинулись вперёд, немец мгновенно выхватил револьвер и в приступе ярости завопил: «Назад, или я вас всех перебью!». Развернувшись, крича и жестикулируя, он ушёл ещё быстрее, чем появился. Вот так мы впервые увидели

лейтенанта СС Даннекера, верховного шефа по делам евреев во Франции и Бельгии. Военврач и ещё один из наших товарищей, пожарный, тоже во французском мундире, были мгновенно окружены немцами и куда-то уведены.

Приближался вечер, и мы не знали, что нас ожидает. Из разговоров немцев мы усвоили одно: накануне вечером США объявили войну Германии, и по приказу из Берлина мы были арестованы как заложники. В своей речи 11 декабря Гитлер вспомнил данное несколько месяцев назад обещание: если хоть ещё одна страна ввяжется в войну с Германией, то евреи заплатят за этот позор… Позор произошёл, и мы должны были платить…

Первые контакты люди устанавливали, представляясь, по обыкновению, друг другу. При этом каждый называл свою профессию: адвокат, врач, инженер, журналист, председатель суда присяжных, профессор консерватории, драматург, промышленник или просто полковник такой-то, комендант такой-то и т.д. Настроение было отличное, мы подшучивали по поводу своей значимости и довольно беспечно обсуждали нашу участь.

К 5 часам вечера двое наших «военизированных» товарища возвратились в манеж в штатском. Их, под надёжной охраной, отвезли домой переодеться. Даннекер не желал видеть французских мундиров, но и не хотел отпустить из-за этого тех, кто их носил.

Вскоре после этого в манеже, погружённом в полумрак сумерек, вспыхнули два огромных прожектора. Они бросали два светлых круга в середину манежа, оставляя густую тень вдоль стен. Группа вооружённых до зубов немцев вошла в манеж и построила нас в колонну по пять вдоль обеих стен, лицом к входной двери. Мы образовали две длинные живые змеи, прижатые к стенам и соединяющиеся у этой двери. Нельзя было ни двигаться, ни разговаривать, ни курить. С одной стороны манежа мы едва различали силуэты стоящих напротив, а в центре, в слепящем свете, немецкий начальник, с автоматом на груди и с четырьмя гранатами, висящими на ремне, расхаживал большими шагами, орал и жестикулировал, держа в каждой руке по гранате. Снаружи мы слышали шум моторов нескольких автобусов и поняли, что нас эвакуируют из манежа. До 9 часов вечера мы все были погружены в автобусы, которые совершали челночные рейсы. На площадке автобуса стоял дюжий унтер-офицер СС, который хва-

тал за шиворот первого попавшегося под руку и яростно швырял его внутрь.

Шёл дождь. Париж был погружён в глубокую тьму. Невозможно было узнать улиц, не было видно ни души. Спустя четверть часа автобус доставил нас на Северный вокзал. Всем было приказано быстро выйти из автобуса. Очень быстрым шагом между двумя рядами немцев мы входили внутрь вокзала, потом на перрон и, наконец, садились на места в вагоне. Немцы, с автоматами и ружьями наперевес, поддерживали темп нашего марша ударами сапог и непрерывно вопили: «Быстрее! Быстрее!» К 11 часам вечера поезд тронулся. Мы не имели никакого представления о том, куда мы едем. В молчании и темноте нас везли два часа почти без остановок, и к часу ночи поезд остановился. Вагоны были открыты, и под вопли «Выходи! Быстрее! Быстрее!» мы вышли из вагонов.

Земля была мокрая, но дождя больше не было, и небо блестело звёздами. Мы находились в Компьене. Очень быстро, под постоянный крик «Быстро! Быстро!», мы построились в длинную колонну. К этому моменту мы узнали, что в нашем поезде уже находились триста заключённых из Дранси, доставленных сначала на Северный вокзал. Всего нас было 1050 человек. Немцам удалось собрать предусмотренную тысячу заложников.

От вокзала в Компьене до лагеря было около четырёх километров. Мы пересекли город и, подгоняемые немцами, совершили этот переход почти бегом. Наша многочисленная охрана продолжала испускать оглушительные вопли: «Быстрее! Торопись!» Пожилые люди роняли вещи на дорогу и падали в изнеможении. Их поднимали пинками сапог. Вход в лагерь на 500 метров вперёд был освещён мощными фарами. Мы были буквально ослеплены светом. У входа мы прошли мимо Даннекера и дюжего унтер-офицера, оба орали и пинали ближайших к ним людей. Поздней ночью нас подвели к баракам, где каждый находил себе уголок, не выбирая ни места, ни соседей. Большинство из нас уснуло, оставив заботы на завтра.

Пространство лагеря делилось на три неравные части: несколько зданий у входа, обозначенные буквой «A», были заняты русскими, арестованными в июне 1941 года, в начале войны с Россией. Рядом, вокруг обширной площади, два ряда зданий «B» приютили от 3 до 4 тысяч французов, арестованных как «коммунисты». В самой глубине пять зданий «C» должны были отныне стать «еврейским»

лагерем. Эти три лагеря разделялись двумя рядами колючей проволоки.

С самого начала нам сообщили, что мы не сможем писать семьям и получать письма или посылки. Мы были засекречены. У нашего лагеря не было своей кухни, и снабжать нас едой было поручено русскому лагерю. Утром русские приносили нам кофе, хлеб и маргарин: кружка кофе, около 250 граммов хлеба и 25 граммов маргарина. В полдень нам приносили суп из их пайка, хороший густой суп. Два-три раза в неделю к четырём часам нам давали по кружке травяного чая, который окрестили «Болдо». Это было всё. Через 15 дней наш лагерь организовался, и у нас появилась собственная кухня. Больше мы не зависели от русских. С этого момента суп стал чрезвычайно постным пойлом, в котором плавали редкие кружочки репы. И эту жидкость, у которой теплота была единственным достоинством, раздавали в ограниченном количестве. Бараки были кирпичными. В них было по семь комнат, рассчитанных на шестнадцать человек, и три или четыре маленькие комнатки, предназначенные для 2–3 человек. Нас приходилось 200–250 человек на строение, так что получалось по 30–35 человек на комнату. В комнатах была солома, разложенная на цементном полу в качестве подстилки. И никакой мебели: ни кровати, ни стола, ни табуретки. Нам не давали никакой работы, за исключением каких-то нарядов, и мы проводили дни и ночи на этой соломе в вынужденном безделье. В конце января немцы дали нам кровати и соломенные тюфяки. Не было никаких средств отопления, и в комнатах было чуть теплее, чем снаружи. К нашему несчастью, зима 1941–42 года была очень суровой, и температура внутри часто падала ниже нуля. К 19 января в комнатах установили маленькие печи, и немцы давали нам дрова, которых хватало, чтоб отапливать комнату менее часа в сутки. Мы немножко согрелись, но ни на мгновение, ни днём, ни ночью, не расставались ни с одеждой, ни с пальто.

Через три дня после нашего прибытия Даннекер приехал в лагерь. Он выстроил нас во дворе, каждую группу перед её бараком. Как обычно, возбуждённый, с трясущейся от нервного тика головой, он объявил через переводчика «Sonderführer»'а Кюнтце, бывшего официанта парижского кафе, что все, кто считает себя «инвалидом на 100%», должны быстрым шагом пройти налево. Их имена переписали, и на следующий день эти люди с обнажённым торсом были выстроены в колонну посреди двора. Их должен был осматривать немецкий

врач. Высокий, тощий, затянутый в мундир, он останавливался перед каждым больным и, не глядя на него, поднимал руку с перчаткой. Он выслушивал краткое сообщение о болезни, громко шутил: „Больное сердце? Для работы просто отлично!“ или „Ревматизм? Российский климат удивительно помогает!» и взмахивал перчаткой. Но, тем не менее, 80 стариков старше семидесяти лет были освобождены к концу первой недели.

Остальные были обречены на скорую депортацию в разгар зимы без тёплой одежды. Нам это казалось невозможным, и, несмотря на всё, мы сохраняли убеждение, что немцы хотят запугать нас, но никогда не посмеют совершить подобную гнусность. Позже такое состояние духа сохраняли только мечтатели. Нужно было обладать невероятной долей наивности, чтобы предположить, что соображения гуманитарного порядка будут приниматься в расчёт, когда речь идёт об отношении к евреям! Но в 1941 году это казалось естественным даже самым скептическим умам. Гораздо позже мы узнали, что правительство Виши предприняло демарш в нашу пользу, и что частично мы обязаны им отсрочкой депортации до весны. Однако этот жест правительства Виши не заслуживает того, чтобы уделять ему много внимания. Виши слишком часто действовало совместно с немцами, чтобы можно было всерьёз испытывать благодарность к ним за простую отсрочку даты депортации.

Вначале большинство заключённых выходило днём из бараков и прогуливалось между строениями. Я обратил внимание на немолодого человека, рослого, худощавого, с правильными чертами красивого лица. Его живой и слегка насмешливый взгляд выражал большой ум, а его высокий стройный силуэт и лёгкий шаг напоминали мне чей-то знакомый облик. Он был окружён людьми и, казалось, был знаком большинству обитателей лагеря. Я поинтересовался, кто он такой. «Так это же Рене Блюм!» — ответили мне, снисходительно посмеиваясь над моим невежеством.

«А чем так известен этот Рене Блюм?» — настаивал я. — «Он руководитель „Балета Монте-Карло“, младший брат Леона Блюма!».

Благодаря присутствию большого числа интеллектуалов и крупных специалистов во всех областях знаний, были быстро организованы публичные лекции. Мы собирались в разных комнатах, чтобы слушать эти беседы. В один из вечеров известный драматург расска-

зывал нам о поэтах Плеяды, в другой раз ассистент Медицинского факультета — о современном состоянии проблемы диабета. Лекции эти были замечательны своей посещаемостью, компетентностью лекторов и видом «аудитории»: обледеневшая комната, освещённая тусклой лампочкой. В ней находилась сотня почти невидимых слушателей, лежащих в темноте на соломе. Нам было запрещено иметь книги. Бумага и карандаши были большой редкостью, и все лекции проводились без каких–либо записей. Драматург почти час читал нам Ронсара, не имея текста перед глазами.

Рене Блюм скоро стал одним из наиболее авторитетных лекторов. Его речь была удивительно ясной, элегантной и всегда утончённой, его мышление было глубоким, возвышенным и великодушным, а манеры полны простоты и благородства. Он любил декламировать басни Лафонтена и делал это очень талантливо, естественно, не имея под руками никаких текстов. Он охотно говорил о балете и подчёркивал роль, которую в течение полувека играли русские хореографы и танцовщики. Он, не колеблясь, высоко оценивал усилия русских в этой войне и был убеждён в неизбежном поражении немцев. Его друзья не сомневались, что среди нас много болванов, а может быть, даже стукачей, и умоляли его быть осторожнее. Он отвечал с улыбкой: «Вы опасаетесь, что меня арестуют?»

В момент разгрома в 1940 году он со своей балетной труппой был в Соединённых Штатах, где труппа находилась долгое время. Он счёл своим долгом француза вернуться во Францию, и после заключения перемирия возвратился в Париж. В 1941 году его друзья в трёх разных случаях умоляли его уехать из Парижа в свободную зону, но он отказался от этого: «Я слишком известен, принадлежу к слишком известной семье, чтобы мечтать убежать от немцев или искать покровительства людей из Виши».

К концу января ситуация в лагере стала более критической. Великодушная помощь, которую нам тайно оказывали заключённые из лагерей русских и коммунистов, не могла больше осуществляться: немцы ограничили количество и вес посылок в эти два лагеря, и строжайше запретили им вход в наш лагерь. Мы оказались почти полностью отрезанными от остального мира. До этого русские и коммунисты совершали чудеса во имя товарищества, чтобы облегчить наше нищенское положение. Несколько сотен из нас могли получать какие-то продуктовые посылки и ухитрялись давать о себе знать род-

ным только благодаря сочувствию и смелости наших соседей по лагерю. Великолепное братство, царившее между нами, помогло многим нашим заключённым использовать тайную отправку писем с помощью соседних лагерей. С 1 февраля всякая помощь стала невозможной, и мы были предоставлены своей горестной участи. В течение трёх месяцев в нашем лагере было около ста покойников, и если это число не было большим, то это заслуга наших великодушных соседей, которые в течение полутора месяцев тайно помогали нам.

В нашем лагере не было лазарета, и мы не имели права получать лекарства.

В феврале ситуация ухудшилась, недостаток пищи и страшные холода произвели большое опустошение. Мало кто был в состоянии сопротивляться. У большинства из нас были обмороженные руки и ноги, и все так ослабли, что количество гуляющих резко сократилось. Положение Рене Блюма было не лучше, чем у большинства наших товарищей. Он сильно похудел, но оставался таким же подтянутым и никогда не пропускал переклички, на которой старался развлечь и поддержать самых унылых. Он с трудом вставал с постели, превозмогая боль, которую причиняли ему опухшие ноги. Но он сберёг бодрость духа и сохранил живость ума, хотя люди в лагере буквально умирали от голода и холода, и положение становилось всё трагичнее с каждым днём.

По мере того как условия существования становились труднее, слабые натуры уступали чувству эгоизма. Группка из двадцати человек, пренебрегая чувством товарищества, пустилась на всякие злоупотребления: воровство на кухне, неправильное распределение еды, постыдная торговля редкими продуктами, которые всё ещё тайно попадали в лагерь. Крепко организованная, эта шайка торговцев встречала лишь слабое противодействие официального руководства — старосты лагеря, старост бараков, кухонного старосты, назначенных немцами. Большинство заключённых не имели ни сил, ни характера, чтобы противостоять этим действиям. Рене Блюм, больной, исхудавший, ослабевший, отёчный, взял на себя эту трудную и неблагодарную задачу. С тактом и решимостью, опираясь на моральный авторитет, созданный его скрупулёзной и безупречной честностью, он выдал наиболее активных торговцев и вынес горячие споры с теми, кто из выгоды или из слабости отказывался видеть эту гнусность. Благодаря ему были прекращены многие злоупотребле-

ния. И скоро он приобрёл репутацию человека с самой незапятнанной совестью в лагере.

12 марта, ровно через три месяца после нашего ареста, лагерь посетила многочисленная немецкая комиссия во главе с самим Даннекером. Через несколько часов нам объявили кучу новостей. Мы, наконец, получили право писать семьям и получать посылки, за исключением любой еды. Сотня тяжело больных была освобождена в течение ближайших четырёх дней. 19 марта ещё примерно 150 товарищей старше 55 должны были последовать за ними. Их, действительно, собрали с вещами, и к полудню они покинули лагерь. Среди них были Рене Блюм. За несколько минут до этого я пожал ему руку, и он обещал мне завтра же зайти к моей жене и рассказать ей обо мне.

Но тем же вечером мы узнали, что эту группу за воротами лагеря ждал большой отряд французской жандармерии, и они были взяты под стражу после того, как на них надели наручники. Рассказывали, что один из наших товарищей, Роже Масс, полковник французской армии, протестовал против подобного обращения. На его протест не обратили никакого внимания, и он был скован со своим старшим братом Пьером Массом, тогда сенатором, а некогда помощником военного министра при Клемансо. Ещё через несколько дней нам стало известно, что кое-кто из этой группы находится в Дранси, но мы не могли узнать, произошло ли это со всеми. Кроме того, у нас не было времени думать обо всём этом: мы получили приказ сбрить волосы, и 26 марта к двум часам дня нас собрали во дворе.

Нас было примерно 630 человек всех возрастов до 55 лет: слабые, большинство с обмороженными руками и ногами, но, как мы все хорошо осознавали, объединённые могучим чувством братства. Мы ожидали дальнейшего с достоинством и без малейшей нервозности. Вскоре появился Кюнтце. Он начал читать длинный список имён и собирал откликнувшихся отдельно, в стороне. Когда чтение окончилось, на месте осталось восемьдесят человек, женатых на «арийках». Я был среди них. 550 названных товарищей были мгновенно отделены от нас и помещены в бараки под охраной немцев. На следующий день 27 марта, к четырём часам дня они покинули лагерь. На вокзале в Компьене их ожидал поезд, в котором уже было 500 человек, доставленных из Дранси. Эти 1050 человек, половина из Компьеня и половина из Дранси, в тот же вечер были депортированы. Это была первая депортация евреев во Франции.

Это была также первая депортация, при которой я присутствовал. С тех пор я видел ещё полсотни, но об этой я сохранил особенно тяжёлое воспоминание.

3 апреля, вместе с остальными 80 уцелевшими, я покинул Компьень. Нас сковали попарно, и каждую пару стерёг жандарм. Вечером нас доставили в Дранси и сняли наручники. Тотчас я узнал, что мои товарищи старше 55, якобы «освобождённые» 19 марта в Компьене, находятся в Дранси. Там был, естественно, и Рене Блюм.

На следующее утро он сразу пришёл ко мне. Усевшись запросто на мою кровать, он быстро осведомился о моём самочувствии и с улыбкой признался, что опухшие ноги постоянно причиняют ему боль, а потом спросил: «Как это всё было?» И я понял, зная его умение глубоко чувствовать, что его преследует мысль о наших депортированных товарищах. Он хотел знать об этом в мельчайших подробностях. Совершенно потрясённый этой драмой, я рассказывал ему о депортации с волнением, которое, как я чувствовал, тотчас же охватило и его. Он слушал меня с напряжённым лицом, и его руки чуть вздрагивали под напором подавленного волнения. С таким другом, человечным, понимающим и глубоко взволнованным, мне хотелось говорить. Когда я закончил, он продолжал молчать, всё более погружаясь в задумчивость. После долгого молчания он очень серьёзно произнёс своим прекрасным голосом: «Есть преступления, которым нет названия. Я нахожу единственное утешение: эта мерзость — дело рук немцев. Французы никогда не будут способны совершить что-либо в этом духе. Немцы — гнусные люди, гораздо почётнее быть французом».

Я видел его каждый день и пользовался его маленькой библиотекой. Он часто оставался в постели из-за слабости и из-за отёков ног, нажитых в Компьене, но ум его оставался удивительно живым и разносторонним, а его мысли и чувства были проникнуты исключительной искренностью.

24 апреля я был вызван к врачу для обязательного медосмотра, с целью зачисления в списки на депортацию, как было положено в то время. Я был очень усталым, у меня были отёки на ногах, но никакими органическими заболеваниями я не страдал. Безо всякого осмотра врач отпустил меня, просто отметив в моей карточке — «здоров». Спустя два часа пришёл приказ подготовить очередную депортацию. На следующий день я узнал, что числюсь в списке депортируемых. Действительно, с медицинской точки зрения, я был среди «здоровых»,

а правило, относящееся к «мужьям ариек», было тогда в Дранси неизвестно.

Рене Блюм был огорчён этим куда больше, чем я сам. Он пошёл к тогдашнему старосте лагеря мсьё Франсуа Монтелю, потом к врачу. Наконец, он обратился к нашим общим друзьям по Компьеню — месье Пьеру Массу и его брату Роже Массу, к композитору Марселю Латте — все они считались людьми влиятельными в лагере. Все эти демарши ни к чему не привели. 27-го апреля я был острижен, а 28-го покинул свою комнату, взяв какие-то продукты, которыми меня наделили товарищи, устроив складчину.

Прежде всего, я отправился повидать Рене Блюма. Он был взволнован до слёз. «Это низко! Низко! — повторял он. — Стыдно оставаться беспомощным свидетелем таких ужасов. Если я когда–нибудь выйду отсюда живым, я поеду в Америку, в Россию, повсюду, чтобы рассказать, как обращались с людьми, которые никому не причиняли зла, которые, наоборот, сделали много добра в жизни. Держитесь и скажите всем, что нужно держаться и не отчаиваться. Всё-таки человечество не такая дрянь, как немцы!» Мы обнялись и расстались, я прошёл досмотр и попал на лестницу отъезда. Вечером я написал «последнее письмо» жене и детям. А утром, с товарищами по несчастью, я спустился во двор. Через окно я видел высокую фигуру Рене, он выражал мне свою поддержку знаками.

Вскоре прибыл Даннекер, и все лица друзей, которые глядели на нас из окон, мгновенно исчезли. Даннекер совершил обход лагеря, и мы неожиданно увидели четверых, которых быстро остригли, досмотрели и присоединили к нам, стоящим за колючей проволокой. Это был месье Франсуа Монтель, староста лагеря, месье Пьер Масс, его брат Роже Масс и месье Альбер Ульмо, трое последних были переведены из Компьеня пять недель назад.

Даннекер уехал, и я вновь увидел Рене Блюма в окне. Когда я покидал лагерь, он до последнего момента следовал за мной взглядом.

А потом был запломбированный вагон для скота, в котором с 45 товарищами мы ехали до 8 часов вечера. В пути неизбежные знатоки определили маршрут, который должен был привести нас в Седан. Вечером поезд остановился, и после получаса маневрирования вагон был открыт, и мы вышли в 500 метрах от вокзала. Прочесть название станции было невозможно. Через несколько минут Пьер Масс подошёл ко мне и сказал: «Вы узнаёте эту церковь?» Я признался, что не

знаю этого места, хотя церковь мне чтото напоминает. «Ну, так мы же в Компьене!» — вскричал он, улыбаясь. Это была правда. Я вернулся в Компьень, который покинул только три с половиной недели назад. Нас было всего 500, и в Компьене должны были устроить сбор, чтобы достичь роковой цифры 1000. Лагеря Питивьер и Бон-ла-Роланд должны были доставить другую половину.

Мы прибыли в лагерь, который я так хорошо знал: те же бараки, тот же Кюнтце, те же унтер-офицеры. Но сам лагерь больше не был лагерем строгого режима: мы могли время от времени писать письма, могли получать какие-то посылки, у нас был лазарет и лекарства. Посылки от В.О.Е.Ф. прибывали регулярно, и их не очень строго досматривали. Довольствие было много лучше прежнего, и появилась столовая.

Была весна, а, значит, тепло. Я провёл там два месяца, может быть, самые спокойные за всё время моей жизни в тюрьме. В один из майских дней немецкий унтер-офицер пришёл и увёл Пьера Масса: он утверждал, что Пьер Масс будет освобождён. Это была ложь. Пьера Масса отправили в тюрьму Санте, а в начале сентября перевели в Дранси, откуда он был депортирован 30 сентября 1942 года.

4 июня Кюнтце собрал всех во дворе и объявил, что, за исключением мужей «ариек», все остальные будут завтра депортированы. В их числе был и Роже Масс, один из моих товарищей с 12 декабря 1941 года. Во время войны этот питомец Политехнической школы воевал как полковник артиллерии, а в июне 1940 года стал военнопленным. Военнопленным был и его сын, а зять погиб на фронте в 1940 году. В августе 1941 года немцы освободили Роже Масса как ветерана двух войн. 12 декабря он был арестован и, в конце концов, депортирован. Позднее в Аушвице я узнал от общих товарищей, что Роже Масс умер от истощения вскоре после прибытия в Аушвиц. Это был человек очаровательный, простой, слегка застенчивый, очень искренний и очень прямой, одарённый спокойным мужеством. В момент отъезда в депортацию его последняя мысль была о семье.

Нас осталось около 120 мужей «ариек». 23 июня нас возвратили в Дранси, разумеется, в наручниках, скованными попарно, и в сопровождении жандармов.

Я навестил Рене Блюма, как только прибыл. Он выглядел много лучше, но лежал большую часть дня, его опухшие ноги были приподняты на тряпку, подвешенную поперёк кровати. Он был в хорошем настроении: «Вы видели юных „друзей евреев“, которые сейчас



Лагерь в Компьене (гравюра по дереву работы Жака Готко). *Из коллекции Ж. Веллера*

с нами? Ещё нет? Вы должны их повидать: это очень порядочные, великодушные, пылкие люди, настоящие французы. Я занимаюсь с ними, и всегда с большим удовольствием. Они часто приходят ко мне, и вы хорошо сделаете, если, со своей стороны, дадите им уроки по вашей специальности. Это юные студенты и лицеисты. Ах, они хорошо показали Даннекеру, что французы совсем не то, что немцы!» Он явно был очень восприимчив к благородству и смелости своих юных друзей и, в широком смысле, горд за всех французов.

Через несколько дней лагерь получил приказ приготовиться к приёму 3000 новичков. На меня свалились самые разные дела, тем более что я был назначен старостой блока и был очень занят организацией комнат. Рене Блюма я видел редко, но каждый раз, когда я навещал его, он интересовался новостями: «Кого ждут? Откуда? Что с ними сделают?» Я ничего этого не знал, но легко ощущал глубокую тоску этого человека, великодушная восприимчивость которого к чужим бедам всегда была активной.

16 июля 1942 года мы присутствовали при первом акте драмы огромного размаха: за один день в Дранси доставили 4000 человек, в основном женщин. Это были иностранцы, жившие в Париже, здоровые и больные, молодые и пожилые, некоторые были ветеранами, и среди них были люди, награждённые орденами. С момента прибытия мужчины были отделены от женщин. Под палящим солнцем эта плотная толпа часами ждала момента, когда их впишут в лагерные списки. Время от времени кто-нибудь из женщин подходил к человеку с нарукавной повязкой и робко просил таблетку аспирина для матери или кусок ваты для сестры. «Ваша сестра ранена?» — «На самом деле, нет. Но она теряет много крови…вы понимаете?» И несчастная проделывала необходимую процедуру, стоя посреди двора, окружённая соседками.

С 19 июля начались регулярные депортации: три в неделю. И трижды в неделю тысяча новых жертв прибывала в лагерь, чтобы обеспечить депортацию. Как и все мои коллеги, я был занят 18–20 часов в сутки, и две недели не видел Рене Блюма. В один из дней я, тем не менее, нашёл четверть часа, чтоб зайти в его комнату. Он лежал с ногами, поднятыми выше головы, его лицо осунулось. Увидев, что я подхожу к его кровати, он быстро отложил маленький томик Корнеля, который читал: «А, вот, наконец, и вы! Ну, расскажите же мне, что происходит!» Я ответил, что он это знает не хуже, чем я, что мне, в принципе, не о чём особенно рассказывать, но я хотел бы знать, как он себя чувствует и почему плохо выглядит. — «Будьте серьёзны, дружище! Мы присутствуем при душераздирающей трагедии, а вы толкуете о моём здоровье!» — «Ладно, но чего вы не знаете и хотите, чтобы я вам рассказал? Сюда тысячами доставляют несчастных людей, депортируют их в спешке, разлучают с жёнами и детьми. Кажется, в Бон-ла-Роланд депортировали родителей, отрывая от них маленьких детей. Никакие болезни в расчёт не принимаются, депортируемых грабят при досмотре, капитан Вьё и лейтенант Бараль бьют хлыстами женщин и детей. Вы сами можете видеть женщин, выходящих из досмотрового барака полураздетыми, больных, которых несут на носилках, вы слышите рыдания по ночам и крики тех, кто выбрасывается в окна. Что же ещё я могу вам рассказать?» — «Разумеется, я всё это вижу и слышу. Но вы, вы видите всех этих людей. Скажите мне, что они рассказывают, о чём они говорят?» — «Хорошо. Одни рассказывают, что к ним пришла полиция и предложила явиться в Комис-

сариат для простой проверки бумаг. После проверки их доставили в Дранси, так что у большинства нет ни одежды, ни продуктов. Другие говорят, что были арестованы на улице, у выхода из метро, в магазинах или у приятелей, просто при виде их звёзды или документов со штампом „еврей“. Они говорят, что без помощи французской полиции немцы были бы не в состоянии арестовать и четверти тех, кого они схватили и ещё схватят. Они говорят, что французы их продали, и уезжают очень озлобленными».— «Это-то и ужасно! Подумайте, из-за прислужников Виши позор падает на всю Францию, и десятки тысяч голосов обвиняют её необоснованно. И, однако, это совершенная ложь».— Он задыхался, он ужасно страдал.— «Надо им объяснить, что люди из Виши не представляют Францию, что это шайка проходимцев, что настоящие французы всей душой с ними, что они тоже проданы и осмеяны теми же предателями!»— Он приподнялся на кровати, волнение окрасило его бледное лицо, капельки пота блестели на его высоком лбу.— «Послушайте, найдите мне какое-нибудь место: в детской столовой, в социальной службе, всё равно где».— «Дорогой месье Блюм, вы же прекрасно знаете, что вы не можете делать этого: вы слишком известны, и сами по себе, и как брат Леона Блюма, который „принёс столько вреда Франции“, чтобы ваше присутствие в любой должности могло быть не замечено жандармами, полицейскими или даже Рётке или Хайнрихсоном, когда тот или другой приедет в лагерь. Делайте всё что можете, чтобы о вас забыли. Некоторые жандармы и полицейские проявляют большое рвение в работе, а вы слишком заметны».

И снова несколько дней у меня не было времени навестить его. Незадолго до этого из Бон-ла-Роланд прибыли 4000 детей, оторванных от родителей. Я приложил все силы, чтобы заниматься только ими, но вскоре меня охватило чувство беспомощности перед зверством такого масштаба. И однажды, теряя мужество, я испытал необходимость повидать Рене Блюма. Он был в своей комнате, ещё сильнее исхудавший. Когда я изложил ему часть своих забот, он живо прервал меня:— «Вы можете взять меня с собой, когда будете в блоке у детей, оторванных от родителей»?— «Да, могу. Но зачем вам это нужно»?— «Я хочу видеть их своими глазами и хочу говорить с этими детьми». В тот же вечер, пользуясь отсутствием полицейских в лагере, я зашёл за Рене Блюмом. Мы пересекли двор к блоку № 2, я предъявил жан-

дарму свой пропуск, объяснив ему, что Рене Блюм состоит в одной из моих команд и сопровождает меня по служебной надобности. Мы поднялись на второй этаж.

В комнате находилось 110 детей от 2 до 12 лет. Несколько женщин из команды наставниц-волонтёров стирали холодной водой и без мыла испачканное детское бельё. Другие старались успокоить плачущих малышей. Они слегка приводили в порядок их рваную и грязную одежду, мыли холодной водой струпья на нарывах, покрывавших маленькие тельца, и не давали расчёсывать до крови бесчисленные укусы клопов и вшей. Крики и плач заполняли помещение. Дурной запах был удушающим.

Мальчик лет семи–восьми, с растрёпанными локонами, одетый в кокетливую курточку, порванную на грязных плечах и без пуговиц, стоял неподвижно у двери, на правой ноге у него был хороший башмак, а левая была босой. Мы повернулись к нему. «Как тебя зовут, дружок?» — спросил его Рене Блюм. — «Жак Стерн, месье». — «А сколько тебе лет»? — «Семь, месье». — «О, ну, ты уже большой мальчик! Ты живёшь в Париже?» — «Да, месье, на улице…» — «Чем занимаются твои родители, дружок?» Взгляд мальчика был очень чистосердечным, и он, казалось, получал удовольствие от этого разговора. «Папа ходит в контору, а мама… мама играет на пианино. Знаете, она очень хорошо играет», — он улыбнулся, и на его грязных щеках появились две очаровательные ямочки. — «Месье, когда мы уедем отсюда?» — «Как? Ты хочешь скоро уехать?» — «О да, я хотел бы быть уже с мамой». Рене Блюм удивлённо глянул на меня. — «Не волнуйся, дружок, — ответил я, — ты поедешь к маме послезавтра». — «А это далеко, месье? Посмотрите, что я приберёг для мамы», и он показал нам маленький солдатский сухарь, который утром детям раздавали в виде лакомства.

С четырёх углов сухарь был откушен, но остальное хранилось в кармане его курточки. Рене Блюм положил руку на лицо ребёнка и наклонился к нему. Я думаю, что он хотел поцеловать его, но мальчик внезапно разрыдался, и высокая фигура Рене Блюма застыла, склонённая над ним.

В нескольких шагах от этого места, на тюфяке, брошенном на землю, устроились две сестры. Старшей было лет 12, второй 4 или 5. Она спала, положив голову на тюфяк, измазанный экскрементами. «Здравствуй! Как тебя зовут?» — спросил Рене Блюм у старшей. Малышка подняла голову и быстро глянула на нас живыми глазёнками,

при виде наших звёзд её взгляд стал менее диким. «Вы евреи? Посмотрите, что они пишут в газетах». Быстрым движением, но так, чтобы не разбудить сестрёнку, она вытащила из-под тюфяка газетный лист. Я не знаю, каким образом он попал к ней, по-моему, это был «Глас народа» за 28 или 29 августа 1942 года. В статье, которую она показывала, официально и категорически опровергались, как типично еврейская инсинуация, слухи о разделении родителей и несовершеннолетних детей. Рене Блюм пробежал газету и отметил:

«Ты же знаешь, что это немецкая газета, моя маленькая. А ведь ты француженка, правда?» «Я больше не хочу быть француженкой! Французы злые, злые, я их ненавижу!» — она кричала это со слезами в голосе, но глаза её оставались сухими и блестящими. «Не надо говорить так, — мягко ответил Рене Блюм. — Ты же знаешь, что вытворяют всё это немцы»... Девочка перебила его с той же живостью: «Это неправда! Это неправда! За нами пришли именно французы. Они всюду искали мою сестричку, потому что мама спрятала её. Они её нашли, потому что она заплакала. А потом они пришли за мной в школу. В Бон-ла-Роланд это французы-таможенники держали маму и папу, а нас забрали, сестру и меня. А здесь нас стерегут жандармы».

«Бедное моё дитя, ты достаточно взрослая, чтобы понимать, что все эти французы — плохие французы, что они продались немцам, что они сами стали как немцы, хуже немцев. Настоящие французы возмущены так же, как ты и я. Просто сейчас они не могут ничего сделать».

«Почему это они ничего не могут сделать? Они могли бы не искать мою сестру! Они могли бы оставить нас с родителями! Они злые, отвратительные!»

«Ты не хочешь понять, что это не настоящие французы», — терпеливо и мягко возразил Рене Блюм. Возбуждение ребёнка неожиданно спало. Глубокая усталость появилась на её бледном личике, она вытянулась на тюфяке и, закрывая глаза, безразлично сказала нам:

«Оставьте меня в покое! Я хочу спать».

Мы побывали в четырёх комнатах второго блока. Спустя три четверти часа мы вышли во двор. Воздух пыльного двора показался нам сладостно чистым, двор мы пересекли молча, обходя колючую проволоку в центре, и оказались у блока 18, в котором жил я. Остановились, и я сказал ему: «Вот, месье Блюм, полагаю, вам достаточно этого визита, чтобы представить себе происходящее. Если захотите ещё,

скажите мне. Постараюсь увидеться с вами вечером». Рене Блюм молчал. Но мне показалось, что он что-то хотел сказать. Я заметил, что его челюсть дрожала, и он был ужасающе бледен. Не ответив ни слова, он протянул мне ледяную руку и пошёл к блоку 16, в котором он жил. Никогда больше он не изъявлял желания посетить блоки детей без родителей.

В начале сентября было решено отправить всех французов в лагерь Питивьер. Нехватка места в Дранси была ужасной, а французы с 16 июля стали считаться недепортабельными. Питивьер стал чем-то вроде дачи для 2000 французов, которые переполняли Дранси. Исключение было сделано для французов, занимавших важные посты в еврейской администрации. Я мог бы легко сложить с себя свои обязанности и уехать, но один из моих друзей занимал видное положение, и вопрос о его переводе не стоял. Я решил остаться в Дранси с ним. Рене Блюм пытался разубедить меня: «Дружище, поедем! Нам всем необходимо срочно сменить атмосферу. Дранси с его депортациями — это ад. Вы скверно выглядите. Стали нервным и раздражительным. Товарищество — замечательная штука, но не стоит пересаливать. Тем более что вы тоже едете с друзьями». Но я всё-таки остался в Дранси.

Двумя группами, по тысяче в каждой, французы покидали Дранси, счастливые своей удачей и окружённые завистью иностранцев.

21 сентября в Дранси прибыла сотня французов из Питивьера и среди них группа из 23 человек с приказом о немедленной депортации. Это был остаток тех 2000 товарищей, которые тремя неделями раньше покинули Дранси, как не подлежащие депортации. Они рассказали нам, что 14 сентября немцы явились в Питивьер и депортировали 1000 французов. Через три дня за ними последовала и вторая половина. Оставшиеся были мужьями «ариек» или полуевреями. Группа из 23, предназначенных для немедленной депортации, состояла из «важных личностей», которых префект Луары перехватил у шефа Питивьера между двумя депортациями и отправил в Бон-ла-Роланд, чтоб спасти. Немцы, которые, разумеется, узнали об этом манёвре, поехали в Бон-ла-Роланд и отправили этих 23 протеже в Дранси для немедленной депортации. Среди них был и Рене Блюм.

Прямо из автобуса его с товарищами отвели в блок 2. Их путешествие из Бон-ла-Роланд в Дранси было изнурительным, они не спали и не ели четыре дня. Черты Рене Блюма вытянулись, его прекрасное

лицо было покрыто пылью, пальто порвано. Но он был в хорошем настроении: шутил по поводу своей участи и очень спокойно выражал уверенность, что депортация означает для него смерть в 66 лет.

…На рассвете следующего дня я увидел его во дворе, за колючей проволокой. Когда началась перекличка отправляемых, я отошёл от него и расположился рядом со столом, мимо которого проходили депортируемые. Наконец, настала очередь Рене Блюма. Инспекторы и жандармы знали, о ком идёт речь. Когда прозвучало его имя, я со всех сторон услышал шёпот: «Это Блюм», «брат Леона Блюма». Двадцать пар глаз следовали за высокой фигурой Рене Блюма и смотрели, как он подходит к столу. Моя долгая привычка к депортации не избавила меня от бурных эмоций. Он подошёл ко мне, и мы обнялись. Потом он медленным, но твёрдым шагом продолжил путь к выходу, держась прямо и с улыбкой на губах. Перешёптывание присутствующих сопровождало его до самого автобуса.

Позднее, в Аушвице, товарищи рассказали мне, что как только Рене Блюм сошёл с поезда, немцы отправили только его одного в Биркенау, и они никогда больше ничего не слышали о нём.

Окончание — в следующем номере



Сана Красикова

Репатрианты | 604 стр. — мягк. пер.

В октябре 2020 г. в издательстве M•Graphics вышел в свет роман молодой американской писательницы Саны Красиковой «Репатрианты» (оригинальное английское название *The Patriots*). Роман рассказывает о соотечественниках, чья молодость пришлась на период великой депрессии 1930-х годов. Многие тогда потеряли работу и надежды на лучшее будущее в Америке — и в результате стали жертвами советской пропаганды, обещавшей им всё то, о чём они мечтали: достойно оплачиваемую работу, социальные гарантии, отсутствие расовой и национальной дискриминации в «первой в мире стране победившего социализма». Столкнувшись с действительностью по прибытии в СССР, они быстро узнали цену этим обещаниям, но… путь назад был закрыт. Очень немногим удалось выжить в Советском Союзе и вернуться на родину, большинство из них сгинуло в застенках и каторжных лагерях сталинского режима.

В романе (основанном на реальных исторических фактах и архивных материалах следственного дела НКВД) прослеживается судьба молодой американки из Бруклина, прельстившейся идеей строительства коммунизма и увлекшейся молодым советским инженером. Автор заставляет читателя пройти вместе с героиней через все круги ада — от Магнитки до ГУЛАГа, мастерски описывая жизнь и взаимоотношения трёх поколений. Автор задаётся многими моральными вопросами и предлагает читателю задуматься, как вольнодумная, образованная и интеллигентная молодая американская женщина, оказавшись в жестоких условиях советской действительности, превратилась в послушного, слепо верящего в ИДЕЮ человека, готового ради этой идеи совершать и оправдывать свои предательские поступки. И даже в конце жизни, репатриировав с семьей сына в Америку и, таким образом, замкнув свой жизненный путь, она не смогла признать совершённые ею роковые ошибки, не смогла или не захотела переоценить своё отношение к стране, которая искалечила не только её жизнь, но и жизни близких ей людей — мужа и сына.

«Это дебютное произведение поражает глубиной и зрелостью, присущими серьёзному историческому роману: оно погружает нас в мало нам знакомое время и место и раскрывает его глазами героев, чьи идеи и предубеждения характерны и специфичны для того времени».

— Library Journal

По соглашению с издательством Random House книга издается ограниченным тиражом и доступна для приобретения только на сайте издательства *mgraphics-publishing.com*

С ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ: mgraphics.books@gmail.com / info@mgraphics-publishing.com
www.mgraphics-publishing.com 781-990-8778 (9 AM–4 PM)

…Мы всё сделаем сами и быстро. Лагеря полны заключённых. Из миллионов пленных, преданных Сталиным и его комиссарами, треть украинцы. Для красных они изменники, для немцев даже не люди. Те, кому мы спасём жизнь, кого вытащим, должны стать нашими, основой нашей будущей армии. Но Сталин предал не только пленных, беззащитны все, кто остался под немцами. Сейчас для украинцев один закон — приказ немецкого солдата, другого нет, и никто, кроме нас, не может их защитить…

Алексей Никитин

…Роман дергается, стонет, и жена, почти не просыпаясь, дует ему на лоб — так она дула на детские лбы, когда сыновьям снились кошмары. Роман успокаивается, сон меняется: все ракеты на месте, в идеальном порядке, готовые к пуску. Вздрагивает земля, из желтоватого дыма, опираясь на короткие огненные столбы, взлетают баллистические ракеты и скрываются в темном небе, как постепенно гаснущие звезды.

От вверенной Роману базы через Северный полюс до США им лететь двадцать минут сорок секунд. Ну и бабахнет там сейчас!..

Анна Агнич

Замечая всех прекрасных киевлянок,
не особо отягченных одеяньем,
он сказал — не строй с приездом планов –
здесь зимой случатся злодеянья…
Я привык к его метафорам и слову,
но пророчеством, видать, был озадачен.
Он промолвил — всё здесь будет по-другому…
Я впервые увидал — учитель плачет…

Гари Лайт

…Вместе с XX веком закончился и «Золотой век Магнитиздата», но это уже не имеет никакого значения для авторской песни. Замечательным российским бардам уже ничего и никому не надо доказывать — гитарная поэзия не только вошла в историю, гитарная поэзия сделала историю, вытеснив официальную, так называемую массовую песню…

Владимир Ковнер

Я никогда не умирала прежде,
что это будет, мне не угадать,
не станет места даже призрачной надежде,
замкнет уста секретная печать.
Как пересечь ужасную границу,
вслед за которой полное ничто?
Перевернув последнюю страницу,
уйти в небытие — а это что?

Ольга Кучкина